

Джером Д. Сэлинджер Повести о Глассах

Перевод: Рита Райт-Ковалева

Фрэнни

Несмотря на ослепительное солнце, в субботу утром снова пришлось, по погоде, надевать теплое пальто, а не просто куртку, как все предыдущие дни, когда можно было надеяться, что эта хорошая погода продержится до конца недели и до решающего матча в Йельском университете.

Из двадцати с лишком студентов, ждавших на вокзале своих девушек с поездом 10.52, только человек шесть-семь остались на холодном открытом перроне. Остальные стояли по двое, по трое, без шапок, в прокуренном, жарко натопленном зале для пассажиров и разговаривали таким безапелляционно-догматическим тоном, словно каждый из них сейчас раз и навсегда разрешал один из тех проклятых вопросов, в которые до сих пор весь внешний, внеакадемический мир веками, нарочно или нечаянно, вносил невероятную путаницу.

Лейн Кутель в непромокаемом плаще, под который он, конечно, подстегнул теплую подкладку, стоял на перроне вместе с другими мальчиками, вернее, и с ними и не с ними. Уже минут десять, как он нарочно отошел от них и остановился у киоска с бесплатными брошюрками «христианской науки», глубоко засунув в карманы пальто руки без перчаток. Коричневое шерстяное кашне выбилось из-под воротника, почти не защищая его от ветра. Лейн рассеянно вынул руку из кармана, хотел было поправить кашне, но передумал и вместо этого сунул руку во внутренний карман и вытащил письмо. Он тут же стал его перечитывать, слегка приоткрыв рот.

Письмо было написано, вернее, напечатано на бледно-голубой бумаге. Вид у этого листка был такой измятый, не новый, как будто его уже вынимали из конверта и перечитывали много раз.

"Кажется, четверг.

Милый-милый Лейн!

Не знаю, разберешь ли ты все, потому что шум в общежитии неописуемый, даже собственных мыслей не слышу. И если будут ошибки, будь добр, пожалуйста, не замечай их. Кстати, по твоему совету, стала часто заглядывать в словарь, так что, если пишу дубовым стилем, ты сам виноват. Вообще же я только что получила твое чудесное письмо, и я тебя люблю безумно, страстно и так далее и жду не дожусь субботы. Жаль, конечно, что ты меня не смог устроить в Крофт-Хауз, но в общем мне все равно, где жить, лишь бы тепло, чтобы не было психов и чтобы я могла тебя видеть время от времени, вернее – все время. Я совсем того, то есть просто схожу по тебе с ума. Влюбилась в твое письмо. Ты чудно пишешь про Элиота. А мне сейчас что-то все поэты, кроме Сафо, ни к чему. Читаю ее как сумасшедшая – и пожалуйста, без глупых намеков. Может быть, я даже буду делать по ней курсовую, если решу добиваться диплома с отличием и если разрешит кретин, которого мне назначили руководителем. «Хрупкий Адонис гибнет, Китерия, что нам делать? Бейте в грудь себя, девы, рвите одежды с горя!» Правда, *изумительно*? Она ведь и на самом деле рвет на себе одежду! А ты меня любишь? Ты ни разу этого не сказал в твоём чудовищном письме, ненавижу, когда ты притворяешься таким сверхмужественным и сдержанным (два "н"?). Вернее, не то что ненавижу, а просто мне органически противопоказаны «сильные и суровые мужчины». Нет, конечно, это ничего, что ты тоже сильный, но я же не о том, сам понимаешь. Так шумят, что не слышу собственных мыслей. Словом, я тебя люблю и, если только найду марку в этом бедламе, pošлю письмо *срочно*, чтобы ты получил это заранее. Люблю тебя, люблю, люблю. А ты знаешь,

что за одиннадцать месяцев мы с тобой танцевали всего два раза? Не считаю тот вечер, когда ты так напился в «Вангарде». Наверно, я буду ужасно стесняться. Кстати, если ты кому-нибудь про это скажешь, я тебя убью! Жду субботы, мой цветик.

Очень тебя люблю. Фрэнни.

P.S. Папе принесли рентген из клиники, и мы обрадовались: опухоль есть, но не злокачественная. Вчера говорила с мамой по телефону. Кстати, она шлет тебе привет, так что можешь успокоиться – я про тот вечер, в пятницу. По-моему, они даже не слышали, как мы вошли в дом.

P.P.S. Пишу тебе ужасно глупо и неинтересно. Почему? Разрешаю тебе проанализировать это. Нет, давай лучше проведем с тобой время как можно веселее. Я хочу сказать – если можно, хоть раз в жизни не надо все, особенно меня, разбирать по косточкам до одурения. Я люблю тебя.

Фрэнни (ее подпись)".

На этот раз Лейн успел перечитать письмо только наполовину, когда его прервал – помешал, влез – коренастый юнец по имени Рэй Соренсен, которому понадобилось узнать, понимает ли Лейн, что пишет этот проклятый Рильке. И Лейн, и Соренсен, оба проходили курс современной европейской литературы – к нему допускались только старшекурсники и выпускники, и к понедельнику им задали разбор четвертой элегии Рильке, из цикла «Дуинезские элегии».

Лейн знал Соренсена мало, но испытывал хотя и смутное, но вполне определенное отвращение к его физиономии и манере держаться и, спрятав письмо, сказал, что он не уверен, но, кажется, все понял.

– Тебе повезло, – сказал Соренсен, – счастливый ты человек. – Он сказал это таким безжизненным голосом, словно подошел к Лейну исключительно от скуки или от нечего делать, а вовсе не для того, чтобы по-человечески поговорить. – Черт, до чего холодно, – сказал он и вынул пачку сигарет из кармана. На отвороте верблюжьего пальто у Соренсена Лейн заметил полустертый, но все же достаточно заметный след губной помады. Казалось, что этому следу уже несколько недель, а может быть, и месяцев, но Лейн слишком мало знал Соренсена и сказать постеснялся, а кстати, ему было наплевать. К тому же подходил поезд. Оба они повернулись к путям. И тут же распахнулись двери в ожидлку, и все, кто там грелся, выбежали встречать поезд, причем казалось, что у каждого в руке, по крайней мере, три сигареты.

Лейн тоже закурил, когда подходил поезд. Потом, как большинство тех людей, которым надо было бы только после долгого испытательного срока выдавать пропуска на встречу поездов, Лейн постарался согнать с лица все, что могло бы просто и даже красиво передать его отношение к приехавшей гостье.

Фрэнни одна из первых вышла из дальнего вагона в северном конце платформы. Лейн увидел ее сразу, и, что бы он ни старался сделать со своим лицом, его рука так вскинулась кверху, что сразу все стало ясно. И Фрэнни это поняла и горячо замахала ему в ответ. На ней была шубка из стриженного енота, и Лейн, идя к ней навстречу быстрым шагом, но с невозмутимым лицом, вдруг подумал, что на всем перроне только ему одному *по-настоящему* знакома шубка Фрэнни. Он вспомнил, как однажды, в чьей-то машине, целуясь с Фрэнни уже с полчаса, он вдруг поцеловал отворот ее шубки, как будто это было вполне естественное, желанное продолжение ее самой.

– Лейн! – Фрэнни поздоровалась с ним очень радостно: она была не из тех, кто скрывает радость.

Закинув руки ему на шею, она поцеловала его. Это был перронный поцелуй – сначала непринужденный, но сразу затормозившийся, словно они просто стукнулись лбами.

– Ты получил мое письмо? – спросила она и тут же сразу добавила: – Да ты совсем замерз, бедняжка! Почему не подождал внутри? Письмо мое получил?

– Какое письмо? – спросил Лейн, поднимая ее чемодан. Чемодан был синий, обшитый бе-

лой кожей, как десяток других чемоданов, только что снятых с поезда.

– Не получил? А я опустила в *среду*! Господи! Еще сама отнесла на почту!

– А-а-а, ты о том письме... Да, да. Это все твои вещи? А что за книжка?

Фрэнни взглянула на книжку, она держала ее в левой руке – маленькую книжечку в светло-зеленом переплете.

– Это? Так, ничего... – Открыв сумку, она сунула туда книжечку и пошла за Лейном по длинному перрону к остановке такси. Она взяла его под руку и всю дорогу говорила не умолкая. Сначала про платье – оно лежит в чемодане, и его необходимо погладить. Сказала, что купила чудесный маленький уютжок, совсем игрушечный, но забыла его привезти. В вагоне она встретила только трех знакомых девочек – Марту Фаррар, Типпи Тиббет и Элинора, как ее там, она с ней познакомилась бог знает когда, еще в пансионе, не то в Экзетере, не то где-то еще. А по всем остальным в поезде сразу было видно, что они из Смита, только две – абсолютно вассаровского типа, а одна – явно из Лоуренса или Веннингтона. У этой беннингтон-лоуренсовской был такой вид, словно она все время просидела в туалете и занималась там рисованием или скульптурой, в общем чем-то художественным, а может быть, у нее под платьем было балетное трико. Лейн шел слишком быстро и на ходу извинился, что не смог устроить ее в Крофт-Хаузе – это было безнадежно, но он устроил ее в очень хороший, уютный отель. Маленький, но чистый, и все такое. Ей понравится, сказал он, и Фрэнни сразу представила себе белый дощатый барак. Три незнакомые девушки в одной комнате. Кто первый попадет в комнату, тот захватит горбатый диванчик, а двум другим придется спать вместе на широкой кровати с совершенно неопишемым матрасом.

– Чудно! – сказала она восторженным голосом. До чертиков трудно иногда скрывать раздражение из-за полной неприспособленности мужской половины рода человеческого, и особенно это касалось Лейна. Ей вспомнился дождливый вечер в Нью-Йорке, сразу после театра, когда Лейн, стоя у обочины, с подозрительно преувеличенной вежливостью уступил такси ужасно противному типу в смокинге. Она не особенно рассердилась; конечно, это ужас – быть мужчиной и ловить такси в дождь, но она помнила, каким злым, прямо-таки враждебным взглядом Лейн посмотрел на нее, вернувшись на тротуар. И сейчас, чувствуя себя виноватой за эти мысли и за все другое, она с притворной нежностью прижалась к руке Лейна. Они сели в такси. Синий с белым чемодан поставили рядом с водителем.

– Забросим твой чемодан и все лишнее в отель, где ты остановишься, просто швырнем в двери и пойдем позавтракаем, – сказал Лейн. – Умираю, есть хочу! – Он наклонился к водителю и дал ему адрес.

– Как я рада тебя видеть, – сказала Фрэнни, когда такси тронулось. – Я *так* соскучилась! – Но не успела она выговорить эти слова, как поняла, что это неправда. И снова, почувствовав вину, она взяла руку Лейна и тесно, тепло переплела его пальцы со своими.

Примерно через час они уже сидели в центре города за сравнительно изолированным столиком в ресторане Сиклера – любимом прибежище студентов, особенно интеллектуальной элиты – того типа студентов, которые, будь они в Йеле или Принстоне, непременно уводили бы своих девушек подальше от Мори или Кронина. У Сиклера, надо отдать ему должное, никогда не подавали бифштексов «вот такой толщины» – указательный и большой пальцы разводятся примерно на дюйм. У Сиклера либо оба – и студент, и его девушка – заказывали салат, либо оба отказывались из-за того, что в подливку клали чеснок. Фрэнни и Лейн пили мартини.

С четверть часа назад, когда им подали коктейль, Лейн отпил глоток, сел поудобнее и оглядел бар с почти осязаемым чувством блаженства оттого, что он был именно там, где надо, и именно с такой девушкой, как надо, – безукоризненной с виду и не только необыкновенно хорошенькой, но, к счастью, и не слишком спортивного типа – никакой тебе фланелевой юбки, шерстяного свитера. Фрэнни заметила это мелькнувшее выражение самодовольства и правильно его истолковала, не преувеличивая и не преуменьшая. Но по крепко укоренившейся внутренней привычке она сразу почувствовала себя виноватой за то, что увидела, подглядела это выражение и тут же вынесла себе приговор: слушать то, что рассказывал Лейн, с выражением особого, напряженного внимания.

А Лейн говорил как человек, уже минут с пятнадцать овладевший разговором и уверенный,

что он попал именно в тот тон, когда все, что он изрекает, звучит абсолютно правильно.

– Грубо говоря, – продолжал он, – про него можно сказать, что ему не хватает нужных желез. Понимаешь, о чем я? – Он выразительно наклонился к своей внимательной слушательнице, Фрэнни, и положил руки на стол, около бокала с коктейлем.

– Не хватает чего? – переспросила Фрэнни. Ей пришлось откашляться, потому что она так долго молчала. Лейн запнулся.

– Мужественности, – сказал он.

– Нет, ты сначала сказал не так.

– Ну, словом, это была, так сказать, основная мотивировка, и я старался ее подчеркнуть как можно ненавязчивее, – сказал Лейн, совершенно поглощенный собственной речью. – Понимаешь, какая штука. Честно говоря, я был уверен, что это мое сочинение пойдет ко дну, как свинцовое грузило, и, когда мне его вернули и вниз, вот эдакими буквами, футов в шесть вышиной, – «отлично», я чуть не упал, клянусь честью!

Фрэнни снова откашлялась. Очевидно, она уже полностью отбыла наложенное на себя наказание – слушать с неослабевающим интересом.

– Почему? – спросила она.

Лейн слегка удивился, что его перебили.

– Что «почему»?

– Почему ты решил, что оно пойдет ко дну, как свинцовое грузило?

– Да я же тебе объяснил. Я тебе только что рассказал, какой дока этот Брауман по Флоберу. По крайней мере, я так думал.

– А-а-а, – сказала Фрэнни. Она улыбнулась. Она отпила немного martini. – Как вкусно, – сказала она, глядя на бокал. – Хорошо, что некрепкий. Ненавижу, когда джина слишком много. Лейн кивнул.

– Кстати, это треклятое сочинение лежит у меня на столе. Если выкроим минутку, я тебе прочитаю.

– Чудно, с удовольствием послушаю. Лейн снова кивнул.

– Понимаешь, не то чтобы я сделал какое-то потрясающее открытие, вовсе нет. – Он сел поудобнее. – Не знаю, но, по-моему, то, что я подчеркнул, *почему* он с такой неврастенической одержимостью ищет *le mot juste*¹, было правильно. Я хочу сказать – в свете того, что мы теперь знаем. Не только психоанализ и всякая такая штука, но в каком-то отношении и это. Ты меня понимаешь. Я вовсе не фрейдист, ничего похожего, но есть вещи, которые нельзя просто окрестить фрейдизмом с большой буквы и выкинуть за борт. Я хочу сказать, что в каком-то отношении я имел полнейшее право написать, что ни один из этих настоящих, ну, первоклассных авторов – Толстой, Достоевский, наконец, Шекспир, черт подери! – никогда не ковырялся в словах до потери сознания. Они просто *писали* – и все. Ты меня понимаешь? – И Лейн выжидающе взглянул на Фрэнни. Ему казалось, что она слушает его с особенным вниманием.

– Будешь есть оливку или нет?

Лейн мельком взглянул на свой бокал martini, потом на Фрэнни.

– Нет, – холодно сказал он. – Хочешь съесть?

– Если ты не будешь, – сказала Фрэнни. По выражению лица Лейна она поняла, что спросила невпопад. И что еще хуже, ей совершенно не хотелось есть оливку, и она сама удивилась – зачем она ее попросила. Но делать было нечего: Лейн протянул бокал, и пришлось выловить оливку и съесть ее с показным удовольствием. Потом она взяла сигарету из пачки Лейна, он дал ей прикурить и закурил сам.

После эпизода с оливкой за их столиком наступило молчание. Но Лейн нарушил его – не такой он был человек, чтобы лишать себя возможности первым подать реплику после паузы.

– Знаешь, этот самый Брауман считает, что я должен был бы напечатать свое сочиненьишко, – сказал он отрывисто. – А я и сам не знаю.

И, как будто безумно устав, вернее, обессилев от требований, которые ему предъявляет

¹ Точное слово (фр.).

жадный мир, жаждущий вкушать от плодов его интеллекта, Лейн стал поглаживать щеку ладонью, с неумышленной бестактностью протирая сонный глаз.

– Ты понимаешь, таких эссе про Флобера и всю эту компанию написано чертова уйма. – Он подумал, помрачнел. – И все-таки, по-моему, ни одной по-настоящему глубокой работы о нем за последнее время...

– Ты разговариваешь совсем как ассистент профессора. Ну точь-в-точь...

– Прости, не понял? – сказал Лейн размеренным голосом.

– Ты разговариваешь точь-в-точь, как ассистент профессора. Извини, но так похоже. Ужасно похоже.

– Да? А как именно разговаривает ассистент профессора, разреши узнать?

Фрэнни поняла, что он обиделся, и очень! – но сейчас, разозлившись наполовину на него, наполовину на себя, она никак не могла удержаться:

– Не знаю, какие они тут, у вас, но у нас ассистенты – это те, кто замещает профессора, когда тот в отъезде, или возится со своими нервами, или ушел к зубному врачу, да мало ли что. Обыкновенно их набирают из старшекурсников или еще откуда-нибудь. Ну, словом, идут занятия, например, по русской литературе. И приходит такой чудик, все на нем аккуратно, рубашечка, галстучек в полоску, и начинает с полчасика терзать Тургенева. А потом, когда тебе Тургенев из-за него совсем опротивел, он начинает распространяться про Стендаля или еще про кого-нибудь, о ком он писал диплом. По нашему университету их бегают человек десять, портят все, за что берутся, и все они до того талантливые, что рта открыть не могут – прости за противоречие. Я хочу сказать, если начнешь им возражать, они только глянут на тебя с таким снисхождением, что...

– Слушай, в тебя сегодня прямо какой-то бес вселился! Да что это с тобой, черт возьми?

Фрэнни быстро стряхнула пепел с сигаретки, потом пододвинула к себе пепельницу.

– Прости. Я сегодня плохая, – сказала она. – Я всю неделю готова была все изничтожить. Это ужасно. Я просто гадкая.

– По твоему письму этого никак не скажешь...

Фрэнни серьезно кивнула. Она смотрела на маленького солнечного зайчика величиной с покерную фишку, игравшего на скатерти.

– Я писала с большим напряжением, – сказала она.

Лейн что-то хотел сказать, но тут подошел официант, чтобы убрать пустые бокалы. – Хочешь еще выпить? – спросил Лейн у Фрэнни.

Ответа не было. Фрэнни смотрела на солнечное пятнышко с таким упорством, будто собиралась лечь на него.

– Фрэнни, – сказал Лейн терпеливым голосом, ради официанта. – Ты хочешь мартини или что-нибудь еще? Она подняла глаза.

– Извини, пожалуйста. – Она взглянула на пустые бокалы в руках официанта. – Нет. Да. Не знаю.

Лейн засмеялся, тоже специально для официанта.

– Ну, так как же? – спросил он.

– Да, пожалуйста. – Она немного оживилась.

Официант ушел. Лейн посмотрел ему вслед, потом взглянул на Фрэнни. Чуть приоткрыв губы, она медленно стряхивала пепел с сигареты в чистую пепельницу, которую поставил официант. Лейн посмотрел на нее с растущим раздражением. Очевидно, его и обижали, и пугали проявления отчужденности в девушке, к которой он относился всерьез. Во всяком случае, его, безусловно, беспокоило то, что блажь, напавшая на Фрэнни, может изгадить им весь конец недели. Он вдруг наклонился к ней, положив руки на стол, – надо же, черт побери, наладить отношения, – но Фрэнни заговорила первая.

– Я сегодня никуда не гожусь, – сказала она, – совсем скисла.

Она посмотрела на Лейна, как на чужого, вернее, как на рекламу линолеума в вагоне метро. И опять ее укололо чувство вины, предательства – очевидно, сегодня это было в порядке вещей, и, потянувшись через стол, она накрыла ладонью руку Лейна. Но, тут же отняв руку, она взялась

за сигарету, лежавшую в пепельнице.

– Сейчас пройдет, – сказала она, – обещаю.

Она улыбнулась Лейну, пожалуй вполне искренне, и в эту минуту ответная улыбка могла бы хоть немного смягчить все, что затем произошло. Но Лейн постарался напустить на себя особое равнодушие и улыбкой ее не удостоил. Фрэнни затянулась сигареткой.

– Если бы раньше сообразить, – сказала она, – и если бы я, как дура, не влипла в этот дополнительный курс, я б вообще бросила английскую литературу. Сама не знаю. – Она стряхнула пепел. – Мне до визгу надоели эти педанты, эти воображалы, которые все изничтожают... – Она взглянула на Лейна. – Прости. Больше не буду. Честное слово... Просто, не будь я такой трусихой, я бы вообще в этом году не вернулась в колледж. Сама не знаю. Понимаешь, все это жуткая комедия.

– Блестящая мысль. Прямо блеск. – Фрэнни приняла сарказм как должное.

– Прости, – сказала она.

– Может, перестанешь без конца извиняться? Вероятно, тебе не приходит в голову, что ты делаешь совершенно дурацкие обобщения. Если бы все преподаватели английской литературы так все изничтожали, было бы совсем другое...

Но Фрэнни перебила его еле слышным голосом. Она смотрела поверх его серого фланелевого плеча незрячим далеким взглядом.

– Что? – переспросил Лейн.

– Я сказала – знаю. Ты прав. Я просто не в себе. Не обращай на меня внимания.

Но Лейн никак не мог допустить, чтобы спор окончился не в его пользу.

– Фу ты, черт, – сказал он, – в любой профессии есть мазилы. Это же элементарно. И давай забудем про этих идиотов-ассистентов хоть на минуту. – Он посмотрел на Фрэнни. – Ты меня слушаешь или нет?

– Слушаю.

– У вас там, на курсе, два лучших в стране преподавателя, черт возьми. Мэнлиус. Эспозито. Бог мой, да если бы их сюда, к нам. По крайней мере, они-то хоть поэты, и поэты без дураков.

– Вовсе нет, – сказала Фрэнни. – Это-то самое ужасное. Я хочу сказать – вовсе они не поэты. Просто люди, которые пишут стишки, а их печатают, но никакие они не *поэты*. – Она растерянно замолчала и погасила сигарету. Стало заметно, что она все больше и больше бледнеет. Вдруг даже помада на губах стала светлее, словно она промакнула ее бумажной салфеткой. – Давай об этом не будем, – сказала она почти беззвучно, растирая сигарету в пепельнице. – Я совсем не в себе. Испорчу тебе весь праздник. А вдруг под моим стулом люк, и я исчезну?

Официант подошел быстрым шагом и поставил второй коктейль перед каждым. Лейн сплел пальцы, очень длинные, тонкие – и это было очень заметно, – вокруг ножки бокала.

– Ничего ты не испортишь, – сказал он спокойно. – Мне просто интересно узнать, что ты понимаешь под всей этой чертовщиной. Разве нужно непременно быть какой-то *богемой* или помереть к чертям собачьим, чтобы считаться *настоящим поэтом*? Тебе кто нужен – какой-нибудь шизик с длинными кудрями?

– Нет. Только давай не будем об этом. Прошу тебя. Я так гнусно себя чувствую, и меня просто...

– Буду счастлив бросить эту тему, буду просто в восторге. Только ты мне раньше скажи, если не возражаешь, что же это за штука – настоящий поэт? Буду тебе очень благодарен, ей-богу, очень!

На лбу у Фрэнни выступила легкая испарина, может быть, оттого, что в комнате было слишком жарко, или она съела что-то не то, или коктейль оказался слишком крепким. Во всяком случае, Лейн как будто ничего не заметил.

– Я сама не знаю, что такое *настоящий поэт*. Пожалуйста, перестань, Лейн. Я серьезно. Мне ужасно не по себе, как-то нехорошо, и я не могу...

– Ладно, ладно, успокойся, – сказал Лейн. – Я только хотел...

– Одно я только знаю, – сказала Фрэнни. – Если ты поэт, ты создаешь красоту. Понимаешь, поэт должен оставить в нас что-то прекрасное, какой-то след на странице. А те, про кого ты го-

воришь, ни одной-единственной строчки, никакой *красоты* в тебе не оставляют. Может быть, те, что чуть получше, как-то проникают, что ли, в твою голову и что-то от них остается, но, все равно, хоть они и проникают, хоть от них что-то и остается, это вовсе не значит, что они пишут *настоящие стихи*, господи боже мой! Может быть, это просто какие-то очень увлекательные синтаксические фокусы, испражнения какие-то – прости за выражение. И этот Мэнлиус, и Эспозито, все они такие.

Лейн повременил и затянулся сигаретой, прежде чем ответить.

– А я-то думал, что тебе нравится Мэнлиус. Кстати, с месяц назад, если память мне не изменяет, ты говорила, что он *прелесть* и что тебе...

– Да нет же, он очень приятный. Но мне надоели люди просто приятные. Господи, хоть бы встретить человека, которого можно *уважать*... Прости, я на минутку. – Фрэнни вдруг встала, взяла сумочку. Она страшно побледнела.

Лейн тоже встал, отодвинув стул.

– Что с тобой? – спросил он. – Ты плохо себя чувствуешь? Что случилось?

– Я сейчас вернусь.

Она вышла из зала, никого не спрашивая, как будто завтракала тут не раз и отлично все знает.

Лейн, оставшись в одиночестве, курил и понемножку отпивал мартини, чтобы осталось до возвращения Фрэнни. Ясно было одно: то чувство удовлетворения, которое он испытывал полчаса назад, оттого что завтракал там, где полагается, с такой девушкой, как надо – во всяком случае, с виду все было как надо, – это чувство теперь испарилось начисто. Он взглянул на шубку стриженного меха, косо висевшую на спинке стула Фрэнни, – на шубку, которая так взволновала его на вокзале чем-то удивительно знакомым, – и в его взгляде мелькнуло что-то, определенно похожее на неприязнь. Почему-то его особенно раздражала измятая шелковая подкладка. Он отвел глаза от шубки и уставился на бокал с коктейлем, хмурясь, словно его несправедливо обидели. Ясно было только одно: вечер начинался довольно странно – чертовщина какая-то... Но тут он случайно поднял глаза и увидел вдали своего однокурсника с девушкой. Лейн сразу выпрямился и старательно переделал выражение лица – с обиженного и недовольного на обыкновенное выражение, с каким человек ждет свою девушку, которая, по обычаю всех девиц, ушла на минуту в туалет, и ему теперь только и осталось, что курить со скучающим видом да еще выглядеть при этом как можно привлекательнее.

Дамская комната у Сиклера была почти такая же по величине, как и сам ресторан, и в каком-то отношении почти такая же уютная. Никто ее не обслуживал, и, когда Фрэнни вошла, там больше никого не было. Она постояла на кафельном полу, словно кому-то назначила тут свидание. Бисерные капельки пота выступили у нее на лбу, рот чуть приоткрылся, и она побледнела еще больше, чем там, в ресторане.

И вдруг, сорвавшись с места, она забежала в самую дальнюю, самую неприметную кабинку – к счастью, не надо было бросать монетку в автомат, – захлопнула дверь и с трудом повернула ручку. Не замечая, по-видимому, своеобразие окружающей обстановки, она сразу села, вплотную сдвинув колени, как будто ей хотелось сжаться в комок, стать еще меньше. И, подняв руки вверх, она крепко-накрепко прижала подушечки ладоней к глазам, словно пытаясь парализовать зрительный нерв, погрузить все образы в черную пустоту. Хотя ее пальцы дрожали, а может быть, именно от этой дрожи они казались особенно тонкими и красивыми. На миг она застыла напряженно в этой почти утробной позе – и вдруг разрыдалась. Она плакала целых пять минут. Плакала громко и неудержимо, судорожно всхлипывая, – так ребенок заходится в слезах, когда дыхание никак не может прорваться сквозь зажатое горло. Но вдруг она перестала плакать – остановилась сразу, без тех болезненных, режущих, как нож, выдохов и вдохов, какими всегда кончается такой приступ. Казалось, она остановилась оттого, что у нее в мозгу что-то моментально переключилось, и это переключение сразу успокоило все ее существо. С каким-то отсутствующим выражением на залитом слезами лице она подняла с пола свою сумку и, открыв ее, вытащила оттуда книжечку в светло-зеленом матерчатом переплете. Она положила ее на колени,

вернее, на одно колено и уставилась на нее не мигая, словно только тут, именно тут, на ее колене, и должна была лежать маленькая книжка в светло-зеленом матерчатом переплете. Потом она схватила книжку, подняла ее и прижала к себе решительно и быстро. И, спрятав ее в сумку, встала и вышла из кабинки. Вымыв лицо холодной водой, она взяла с полки чистое полотенце, вытерла лицо, подкрасила губы, причесалась и вышла из дамской комнаты.

Она была прелестна, когда шла по залу ресторана к своему столику, очень оживленная, как и полагалось, в предвкушении веселого университетского праздника. Улыбаясь на ходу, она подошла к своему месту, и Лейн медленно встал, не выпуская салфетку из рук.

– Ты уж прости, пожалуйста, – сказала Фрэнни. – Наверно, решил, что я умерла?

– Как это я мог подумать? *Умерла...* – сказал Лейн. Он отодвинул для нее стул. – Просто не понял, что случилось, – Он вернулся на место. – Кстати, времени у нас в обрез. – Он сел. – Ты в порядке? Почему глаза красные? – Он присмотрелся поближе: – Нездоровится, что ли?

Фрэнни закурила.

– Нет, сейчас все чудесно. Но меня никогда в жизни так не шатало. Ты заказал завтрак?

– Тебя ждал, – сказал Лейн, не сводя с нее глаз. – Все-таки что с тобой было? Животик?

– Нет. То есть и да и нет. Сама не знаю. – Она взглянула на меню у себя на тарелке и прочла, не беря листок в руки. – Мне только сэндвич с цыпленком и стакан молока... А себе заказывай что хочешь. Ну, всяких там улиток и осьминожек. Прости, осьминогов. А я совсем не голодна.

Лейн посмотрел на нее, потом выпустил себе в тарелку очень тоненькую и весьма выразительную струйку дыма.

– Ну и праздничек у нас, просто прелесть! – сказал он. – Сэндвич с цыпленком, мать божья!

– Прости, Лейн, но я совсем не голодна, – с досадой сказала Фрэнни. – Ах, боже мой... Ты закажи себе, что хочешь, непременно, и я с тобой немножко поем. Но не могу же я ради тебя вдруг развить бешеный аппетит.

– Ладно, ладно! – И Лейн, вытянув шею, кивнул официанту. Он тут же заказал сэндвич и стакан молока для Фрэнни, а для себя улиток, лягушачьи ножки и салат. Когда официант отошел, Лейн взглянул на часы: – Нам надо попасть в Тенбридж в час пятнадцать, в крайнем – в половине второго. Не позже. Я сказал Уолли, что мы зайдем что-нибудь выпить, а потом все вместе отправимся на стадион в его машине. Согласна? Тебе ведь нравится Уолли?

– Понятия не имею, кто он такой.

– Фу, черт, да ты его видела раз двадцать. Уолли Кэмбл, ну? Да ты его сто раз видела...

– А-а, вспомнила. Ради бога, не злись ты, если я сразу не могу кого-то вспомнить. Ведь они же и с виду все одинаковые, и одеваются одинаково, и разговаривают, и делают все одинаково.

Фрэнни оборвала себя: собственный голос показался ей придиричивым и ехидным, и на нее накатила такая ненависть к себе, что ее опять буквально вогнало в пот. Но помимо воли ее голос продолжал:

– Я вовсе не говорю, что он противный и вообще... Но четыре года подряд, куда ни пойдешь, везде эти уолли кэмблы. И я заранее знаю – сейчас они начнут меня очаровывать, заранее знаю – сейчас начнут рассказывать самые подлые сплетни про мою соседку по общежитию. Знаю, когда спросят, что я делала летом, когда возьмут стул, сядут на него верхом, лицом к спинке, и начнут хвастать таким ужасно, ужасно равнодушным голосом или называть знаменитостей – тоже так спокойно, так небрежно. У них неписанный закон: если принадлежишь к определенному кругу – по богатству или рождению, – значит, можешь сколько угодно хвастать знакомством со знаменитостями, лишь бы ты при этом непременно говорил про них какие-нибудь гадости – что он сволочь, или эротоман, или всегда под наркотиками, – словом, что-нибудь *мерзкое*. Она опять замолчала. Повертев в руках пепельницу и стараясь не смотреть в лицо Лейну, она вдруг сказала:

– Прости меня. Уолли Кэмбл тут ни при чем. Я напала на него, потому что ты о нем заговорил. И потому что по нему сразу видно, что он проводит лето где-нибудь в Италии или вроде того.

– Кстати, для твоего сведения, он лето провел во Франции, – сказал Лейн. – Нет, нет, я тебя понимаю, – торопливо добавил он, – но ты дьявольски несправедли...

– Пусть, – устало сказала Фрэнни, – пусть во Франции. – Она взяла сигарету из пачки на столе. – Дело тут не в Уолли. Господи, да взять любую девочку. Понимаешь, если б он был девочкой, из моего общежития например, то он все лето писал бы пейзажики с какой-нибудь бродячей компанией. Или объезжал на велосипеде Уэльс. Или снял бы квартирку в Нью-Йорке и работал на журнал или на рекламное бюро. Понимаешь, все они такие. И все, что они делают, все это до того – не знаю, как сказать – не то чтобы *неправильно*, или даже скверно, или глупо – вовсе нет. Но все до того *мелко*, бессмысленно и так уныло. А хуже всего то, что, если стать богемой или еще чем-нибудь вроде этого, все равно это будет конформизм, только шиворот-навыворот. – Она замолчала. И вдруг тряхнула головой, опять побледнела, на секунду приложила ладонь ко лбу – не для того, чтобы стереть пот со лба, а словно для того, чтобы пощупать, нет ли у нее жара, как делают все мамы маленьким детям.

– Странное чувство, – сказала она, – кажется, что схожу с ума. А может быть, я уже свихнулась.

Лейн смотрел на нее по-настоящему встревоженно – не с любопытством, а именно с тревогой.

– Да ты бледная как полотно, – сказал он. – До того побледнела... Слышишь?

Фрэнни тряхнула головой:

– Пустяки, я прекрасно себя чувствую. Сейчас пройдет. – Она взглянула на официанта – тот принес заказ. – Ух, какие красивые улитки! – Она поднесла сигарету к губам, но сигарета потухла. – Куда ты девал спички? – спросила она.

Когда официант отошел, Лейн дал ей прикурить.

– Слишком много куришь, – заметил он. Он взял маленькую вилочку, положенную у тарелки с улитками, но, прежде чем начать есть, взглянул на Фрэнни. – Ты меня беспокоишь. Нет, я серьезно. Что с тобой стряслось за последние недели?

Фрэнни посмотрела на него и, тряхнув головой, пожала плечами.

– Ничего. Абсолютно ничего. Ты ешь. Ешь своих улит. Если остынут, их в рот не возьмишь.

– И ты поешь.

Фрэнни кивнула и посмотрела на свой сандвич. К горлу волной подкатила тошнота, и она, отвернувшись, крепко затянулась сигаретой.

– Как ваша пьеса? – спросил Лейн, расправляясь с улитками.

– Не знаю. Я не играю. Бросила.

– Бросила? – Лейн посмотрел на нее. – Я думал, ты в восторге от своей роли. Что случилось? Отдали кому-нибудь твою роль?

– Нет, не отдали. Осталась за мной. Это-то и противно. Ах, все противно.

– Так в чем же дело? Уж не бросила ли ты театральный факультет?

Фрэнни кивнула и отпила немного молока.

Лейн прожевал кусок, проглотил его, потом сказал:

– Но почему же, что за чертовщина? Я думал, ты в этот треклятый театр влюблена, как не знаю что... Я от тебя больше ни о чем и не слыхал весь этот...

– Бросила – и все, – сказала Фрэнни. – Вдруг стало ужасно неловко. Чувствую, что становлюсь противной, самовлюбленной, какой-то пуп земли. – Она задумалась. – Сама не знаю. Показалось, что это ужасно дурной вкус – играть на сцене. Я хочу сказать, какой-то эгоцентризм. Ох, до чего я себя ненавидела после спектакля, за кулисами. И все эти эгоцентрички бегают вокруг тебя, и уж до того они сами себе кажутся душевными, до того теплыми. Всех целуют, на них самих живого места нет от грима, а когда кто-нибудь из друзей зайдет к тебе за кулисы, уж они стараются быть до того естественными, до того приветливыми, ужас! Я просто себя возненавидела... А хуже всего, что мне как-то стыдно было играть во всех этих пьесах. Особенно на летних гастролях. – Она взглянула на Лейна. – Нет, роли мне давали самые лучшие, так что нечего на меня смотреть такими глазами. Не в том дело. Просто мне было бы стыдно, если бы кто-

нибудь, ну, например, кто-то, кого я уважаю, например мои братья, вдруг услышали бы, как я говорю некоторые фразы из роли. Я даже иногда писала некоторым людям, просила их не приезжать на спектакли. – Она опять задумалась. – Кроме Пэгин в «Повесе», я ее летом играла. Понимаешь, было бы очень неплохо, если б не этот сапог – он играл Повесу – испортил все на свете. Такую лирику развел – о господи, до чего он все рассусолил!

Лейн доел своих улиток. Он сидел, нарочно согнав всякое выражение с лица.

– Однако рецензии о нем писали потрясающие, – сказал он. – Ты же сама мне их послала, если помнишь. Фрэнни вздохнула:

– Ну, послала. Перестань, Лейн.

– Нет, я только хочу сказать, ты тут полчаса разглагольствуешь, будто ты одна на свете все понимаешь как черт, все можешь критиковать. Я только хочу сказать, если самые знаменитые критики считали, что он играл потрясающе, так, может, это верно, может быть, ты ошибаешься? Ты об этом подумала? Знаешь, ты еще не совсем доросла...

– Да, он играл потрясающе для человека просто *талантлив*ого. А для этой роли нужен *гений*. Да, гений – и все, тут ничего не поделаешь, – сказала Фрэнни. Она вдруг выгнула спину и, приоткрыв губы, приложила ладонь к макушке. – Странно, я как пьяная, – сказала она. – Не понимаю, что со мной.

– По-твоему, ты гений? Фрэнни сняла руку с головы.

– Ну, Лейн. Не надо. Прошу тебя. Не надо так со мной.

– Ничего я не...

– Одно я знаю: я схожу с ума, – сказала Фрэнни. – Надоело мне это вечное «я, я, я». И свое «я», и чужое. Надоело мне, что все чего-то добиваются, что-то хотят сделать выдающееся, стать кем-то интересным. Противно – да, да, противно! И все равно, что там говорят...

Лейн высоко поднял брови и откинулся на спинку стула, чтобы лучше дошли его слова.

– А ты не думаешь, что ты просто боишься соперничества? – спросил он нарочито спокойно. – Я в таких делах плохо разбираюсь, но уверен, что хороший психоаналитик – понимаешь, действительно знающий, – наверно, истолковал бы твои слова...

– Никакого соперничества я не боюсь. Наоборот. Неужели ты не понимаешь? Я боюсь, что я *сама* начну соперничать, – вот что меня пугает. Из-за этого я и ушла с театрального факультета. И тут никаких оправданий быть не может – ни в том, что я по своему характеру до ужаса интересуюсь чужими оценками, ни в том, что люблю аплодисменты, люблю, чтобы мной восхищались. Мне за себя стыдно. Мне все надоело. Надоело, что у меня не хватает мужества стать просто никем. Я сама себе надоела, мне все надоели, кто пытается сделать большой бум.

Она остановилась и вдруг взяла стакан молока и поднесла к губам.

– Так я и знала, – сказала она, ставя стакан на место. – Этого еще не было. У меня что-то с зубами. Так и стучат. Позавчера я чуть не прокусила стакан. Может, я уже сошла с ума и сама не понимаю.

Подошел официант с лягушачьими ножками и салатом для Лейна, и Фрэнни подняла на него глаза. А он взглянул на ее тарелку, на нетронутый сэндвич с цыпленком. Он спросил, не хочет ли барышня заказать что-нибудь другое. Фрэнни поблагодарила его, нет, не надо.

– Я просто очень медленно ем, – сказала она. Официант, человек пожилой, посмотрел на ее бледное лицо, на мокрый лоб, поклонился и отошел.

– Хочешь, возьми платок? – отрывисто сказал Лейн. Он протягивал ей белый сложенный платок. Голос у него был добрый, жалостливый, несмотря на упрямую попытку заставить себя говорить равнодушно.

– Зачем? Разве надо?

– Ты вспотела. То есть не вспотела, но лоб у тебя в испарине.

– Да? Какой ужас! Извини, пожалуйста! – Фрэнни подняла сумочку и стала в ней рыться. – Где-то у меня был «клинекс».

– Да возьми ты мой платок, бога ради. Какая разница, господи боже ты мой!

– Нет, такой чудный платок, зачем я его буду портить, – сказала Фрэнни. Сумочка была битком набита. Чтобы разобраться, она стала выкладывать на стол всякую всячину рядом с не-

тронутым сэндвичем, – Ага, вот оно! – Она открыла пудреницу с зеркальцем и быстрым легким движением промакнула лоб бумажной салфеточкой. – Бог мой, я похожа на привидение. Как ты терпишь меня?

– Это что за книга? – спросил Лейн. Фрэнни буквально вздрогнула. Она посмотрела на кучку вещей, выложенную из сумки на скатерть.

– Какая книга? – сказала она. – Ты про эту? – Она взяла книжечку в светло-зеленом переплете и сунула в сумку. – Просто захватила почитать в вагоне.

– Ну-ка дай взглянуть. Что за книжка? Фрэнни как будто ничего не слышала. Она открыла пудреницу и еще раз взглянула в зеркало.

– Господи! – сказала она. Потом собрала все со стола: пудреницу, кошелек, квитанцию из прачечной, зубную щетку, коробочку аспирина и золоченую мешалку для пунша. Все это она спрятала в сумочку. – Сама не знаю, зачем я таскаю с собой эту золоченую идиотскую штуку, – сказала она. – Мне ее подарил в день рождения один мальчишка, ужасный пошляк, я еще была на первом курсе. Решил, что это красивый и оригинальный подарок, смотрел на меня во все глаза, пока я разворачивала пакетик. Все хочу выбросить ее и никак не могу. Наверно, так и умру с этой дрянью. – Она подумала. – Он все хихикал мне в лицо и говорил, что мне всегда будет везти, если я не расстанусь с этой штукой.

Лейн уже взялся за одну из лягушачьих ножек.

– А все-таки что это за книжка? – спросил он. – Или это тайна, какая-нибудь чертовщина? – спросил он.

– Ты про книжку в сумке? – сказала Фрэнни. Она смотрела, как он разрезает лягушачью ножку. Потом вынула сигарету из пачки, закурила. – Как тебе сказать, – проговорила она. – Называется «Путь странника». – Она опять посмотрела, как Лейн ест лягушку. – Взяла в библиотеке. Наш преподаватель истории религии, я у него прохожу курс в этом семестре, нам про нее сказал. – Она крепко затянулась. – Она у меня уже давно. Все забываю отдать.

– А кто написал?

– Не знаю, – небрежно бросила Фрэнни. – Очевидно, какой-то русский крестьянин. – Она все еще внимательно смотрела, как Лейн ест. – Он себя не назвал. Он ни разу за весь рассказ не сказал, как его зовут. Только говорит, что он крестьянин, что ему тридцать три года и что он сухорукий. И что жена у него умерла. Все это было в тысяча восемьсот каких-то годах.

Лейн уже занялся салатом.

– И что же, книжка хорошая? О чем она?

– Сама не знаю. Она необычная. Понимаешь, это ведь прежде всего книжка религиозная. Даже можно было бы сказать – книжка фанатика, только это к ней как-то не подходит. Понимаешь, она начинается с того, что этот крестьянин, этот странник, хочет понять, что это значит, когда в Евангелии сказано, что надо молиться неустанно. Ну, ты знаешь – не переставая. В Послании к Фессалоникийцам или еще где-то. И вот он начинает странствовать по всей России, ищет кого-нибудь, кто ему объяснит – как это «молиться неустанно». И что при этом говорить. – Фрэнни снова посмотрела, как Лейн расправляется с лягушачьей ножкой. Она заговорила, не сводя глаз с его тарелки. – А с собой у него только торба с хлебом и солью. И тут он встречает человека – он называет его «старец» – это такие очень-очень просвещенные в религии люди, – и старец ему рассказывает про такую книгу – называется «Филокалия». И как будто эту книгу написали очень-очень образованные монахи, которые как-то распространяли этот невероятный способ молиться!

– Не прыгай! – сказал Лейн лягушачьей ножке.

– Словом, этот странник научается молиться, как требуют эти таинственные монахи, – понимаешь, он молится и достигает в своей молитве совершенства, и всякое такое. А потом он странствует по России и встречает всяких замечательных людей и учит их, как молиться этим невероятным способом. Ну вот, понимаешь, вся книжка об этом.

– Не хочется говорить, но от меня будет нести чесноком, – сказал Лейн.

– А во время своих странствий он встречает ту пару – мужа с женой, и я их люблю больше всех людей на свете, никогда в жизни я еще про таких не читала, – сказала Фрэнни. – Он шел по

дороге, где-то мимо деревни, с мешком за плечами и вдруг видит – за ним бегут двое малюсеньких ребятишек и кричат: «Нищий странничек, нищий странничек, пойдем к нашей маме, пойдем к нам домой! Она нищих любит!» И вот он идет домой к этим ребятишкам, и эта чудная женщина, их мать, выходит из дома, хлопочет, усаживает его, непременно хочет сама снять с него грязные сапоги, поит его чаем. А тут и отец приходит, и он, видно, тоже любит нищих и странников, и все садятся обедать. А странник спрашивает, кто эти женщины, которые сидят с ними за столом, и отец говорит – это наши работницы, но они всегда едят с нами, потому что они наши сестры во Христе. – Фрэнни вдруг смутилась, села прямее. – Понимаешь, мне так понравилось, что странник спросил, кто эти женщины. – Она посмотрела, как Лейн мажет хлеб маслом. – Словом, после обеда странник остается ночевать, и они с хозяином дома допоздна обсуждают, как надо молиться не переставая. И странник ему все объясняет. А утром он уходит и опять идет странствовать. И встречает разных-разных людей – понимаешь, книга про это и написана, – и он им объясняет, как надо по-настоящему молиться.

Лейн кивнул головой, ткнул вилкой в салат.

– Хоть бы у нас в эти дни время осталось, чтобы ты заглянула в мое треклятое сочинение, я тебе уже говорил про него, – сказал он. – Сам не знаю. Может, я с ним ни черта и не сделаю – там напечатать его и вообще, – но хочется, чтобы ты хоть просмотрела, пока ты тут.

– С удовольствием, – сказала Фрэнни. Она смотрела, как он намазывает второй ломтик хлеба. – Может, тебе эта книжка и понравилась бы, – вдруг сказала она. – Она такая простая, понимаешь?

– Наверно, интересно. Ты масла есть не будешь?

– Нет, нет, бери все. Я не могу тебе дать ее, потому что все сроки давным-давно прошли, но ты можешь достать ее тут, в библиотеке. Уверена, что сможешь.

– Слушай, да ты ни черта не ела, даже не дотронулась! – сказал Лейн. – Ты это знаешь?

Фрэнни посмотрела на свою тарелку, как будто ее только что поставили перед ней.

– Сейчас, погоди, – сказала она. Она замолчала, держа сигарету в левой руке, но не затягиваясь и крепко обхватив правой рукой стакан с молоком. – Хочешь послушать, какой особой молитве старец научил этого странника? – спросила она. – Нет, правда, это очень интересно, очень.

Лейн разрезал последнюю лягушачью ножку. Он кивнул.

– Конечно, – сказал он, – конечно.

– Ну, вот, как я уже говорила, этот странник, совсем простой мужик, пошел странствовать, чтобы узнать, что значат евангельские слова про неустанную молитву. И тут он встречает этого старца, это такой очень-очень ученый человек, богослов, помнишь, я про него уже говорила, тот самый, который изучал «Филокалию» много-много лет подряд. – Фрэнни вдруг замолчала, чтобы собраться с мыслями, сосредоточиться. – И тут этот старец первым делом рассказал ему про молитву Христову: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя!» Понимаешь, такая молитва. И старец объясняет страннику, что лучше этих слов для молитвы не найти. Особенно слово «помилуй», потому что это такое огромное слово и так много значит. Понимаешь, оно значит не только «помилование».

Фрэнни снова остановилась, подумала. Она уже смотрела не в тарелку Лейна, а куда-то через его плечо.

– Словом, старец говорит страннику, – продолжала она, – что если станешь повторять молитву снова и снова – сначала хотя бы одними губами, – то в конце концов само собой выходит, что молитва сама начинает действовать. Что-то потом случается. Сама не знаю что, но что-то случается, и слова попадают в такт твоему сердцебиению, и ты уже молишься непрерывно. И это как-то мистически влияет на все твои мысли, мировоззрение. Понимаешь, вся суть более или менее именно в *этом*. Ты молишься – и мысли очищаются, и ты совершенно по-новому воспринимаешь и понимаешь все на свете.

Лейн доел свой завтрак. И когда Фрэнни замолчала, он сел поудобнее, закурил сигарету и посмотрел на ее лицо. Она все еще рассеянно глядела в никуда, через его плечо, как будто совсем забыв о нем.

– Но главное, самое главное чудо в том, что с самого начала тебе даже не надо *верить* в то,

что ты делаешь. Понимаешь, даже если тебе ужасно неловко, все это не имеет ровно никакого значения. Ты никого не обижаешь, и вообще все в порядке. Другими словами, с самого начала никто тебя и не заставляет ни во что верить. И старец учит, что тебе даже не надо думать о том, что ты твердишь. Сначала весь смысл в *количестве* повторений. А позже оно само переходит в качество. Собственной силой, так сказать. Он, старец, говорит, что любое имя господне – понимаешь, любое – таит в себе эту удивительную, самодействующую силу и само начинает действовать, когда ты его... ну, вот так повторяешь, что ли.

Лейн как-то развалился в кресле, покуривая и щуря глаза, и пристально всматривался в лицо Фрэнни. Она была очень бледна, но, с тех пор как они пришли, бывали минуты, когда она становилась еще бледнее.

– Кстати, все это абсолютно осмысленно, – сказала Фрэнни, – потому что буддисты из секты Нембутсу без конца повторяют «Наму Амида Бутсу», что значит «Хвала Будде Амитабхе»² или что-то вроде того, – и происходит *то же самое*. Точно такая же...

– Погоди. Погоди-ка, – сказал Лейн. – Во-первых, ты сию секунду обожжешь пальцы.

Фрэнни едва взглянула на левую руку и бросила дотлевающий окурочек в пепельницу.

– И то же самое происходит в «Облаке неведения». Со словом «Бог», понимаешь, надо только повторять слово «Бог». – Она посмотрела прямо в глаза Лейну – как не смотрела уже довольно давно. – И главное, разве ты когда-нибудь в жизни слышал такие потрясающие вещи? Пойми, ведь нельзя сказать: «Это просто совпадение» – и тут же выбросить из головы – вот что меня потрясает. Тут, по крайней мере, потрясающее... – Она вдруг оборвала себя. Лейну явно не сиделось на месте, а это его выражение – главным образом высоко поднятые брови – Фрэнни знала слишком хорошо.

– В чем дело? – спросила она.

– И ты на самом деле веришь во всю эту штуку, или как?

Фрэнни взяла пачку, вынула сигарету.

– Я не говорила, верю я или нет, я сказала – это меня потрясло. – Лейн дал ей прикурить. – Просто мне кажется, что это невероятное совпадение, очень странное, – сказала она, затянувшись, – везде тебе дают одно и то же наставление, понимаешь, все эти по-настоящему мудрые и абсолютно настоящие религиозные учителя упорно настаивают: если непрестанно повторять имя божье, то с тобой что-то произойдет. Даже в Индии – в Индии тебя учат медитации, сосредоточению на слове «ом», что, в сущности, одно и то же, и результат будет такой же самый. И я только хочу сказать – нельзя просто рассудком все это отвергнуть, даже не...

– Ты про какой результат? – отрывисто бросил Лейн.

– Что?

– Я спрашиваю, какого именно результата ты ждешь. От всей этой синхронизации, этого мумбо-юмбо? Инфаркта? Не знаю, сознаешь ли ты, но и ты, и вообще каждый может себе сделать столько вреда, что...

– Нет, ты увидишь Бога. Что-то происходит в какой-то совершенно нефизической части сердца – там, где, по учению индусов, поселяется Атман, если ты верующий, – и тебе является Бог, вот и все. – Она смутилась, сбросила пепел с сигареты мимо пепельницы. Пальцами она подобрала пепел и высыпала в пепельницу. – И не спрашивай меня, что есть Бог, кто он такой. Я даже не знаю, есть он или нет. Когда я была маленькая, я думала... – Она остановилась. Подошел официант – забрать тарелки, положить новое меню.

– Хочешь сладкого или кофе? – спросил Лейн.

– Нет, я просто допью молоко. А ты себе закажи, что хочешь, – сказала Фрэнни. Официант только что забрал ее тарелку с нетронутым сэндвичем. Она не посмела взглянуть на него.

Лейн посмотрел на часы:

– Черт! Времени в обрез. Счастье, если на матч не опоздаем. – Он посмотрел на официанта. – Мне кофе, пожалуйста. – Он проводил официанта глазами, потом наклонился вперед, поло-

² Речь идет об особом направлении буддизма, по которому один из будд, Амитабха, выступает в роли вселенского спасителя. (Примеч. пер.)

жив локти на стол, вполне довольный, сытый, в ожидании кофе. – Что ж... Во всяком случае, очень занятно. Вся эта штука... Но, по-моему, ты совершенно не оставляешь места для самой элементарной психологии. Видишь ли, я считаю, что у всех этих религиозных переживаний чрезвычайно определенная психологическая подоплека – ты меня понимаешь... Но все это очень интересно. Конечно, нельзя так, сразу, все отрицать. – Он посмотрел на Фрэнни и вдруг улыбнулся ей: – Ладно. Кстати, если я тебе забыл сказать... Я тебя люблю. Говорил или нет?

– Лейн, прости, я на минуту выйду! – сказала Фрэнни и уже поднялась с места.

Лейн тоже встал, не сводя с нее глаз.

– Что с тобой? – спросил он. – Тебе опять плохо, да?

– Как-то не по себе. Сейчас вернусь.

Она быстро прошла по залу, направляясь туда же, куда и раньше. Но в конце зала, у маленького бара, она вдруг остановилась. Бармен, вытиравший стаканчик для шерри, взглянул на нее. Она схватилась правой рукой за стойку, нагнула голову, низко склонилась и поднесла левую руку ко лбу, касаясь его кончиками пальцев. И, слегка покачнувшись, упала на пол в глубоком обмороке.

Прошло почти пять минут, прежде чем Фрэнни очнулась. Она лежала на диване в кабинете директора, и Лейн сидел около нее. Он наклонился над ней, его лицо необычно побледнело.

– Как ты себя чувствуешь? – спросил он тоном посетителя в больнице. – Тебе лучше?

Фрэнни кивнула. Она на минуту закрыла глаза от резкого света плафона, потом снова открыла их. – Кажется, мне полагается спросить: «Где я?» Ну, где я?

Лейн засмеялся:

– Ты в кабинете директора. Они там все бегают, ищут для тебя нашатырный спирт, докторов, не знаю, чего еще. Кажется, у них нашатырь кончился. Нет, серьезно, как ты себя чувствуешь?

– Хорошо. Глупо, но хорошо. А я вправду упала в обморок?

– Да еще как. Прямо с катушек долой, – сказал Лейн. Он взял ее руку. – А что с тобой, как ты думаешь? Ты была такая – ну, понимаешь, такая замечательная, когда мы говорили по телефону на прошлой неделе. Ты что – не успела сегодня позавтракать или как?

Фрэнни пожала плечами. Она обвела кабинет взглядом.

– До чего неловко, – сказала она. – Неужели пришлось меня нести сюда?

– Да, мы с барменом несли. Втащили тебя сюда. Напугала ты меня до чертиков. Ей-богу, не вру.

Фрэнни задумчиво, не мигая, смотрела в потолок, пока он держал ее руку. Потом повернулась и подняла свободную руку, как будто хотела отвернуть рукав Лейна и взглянуть на его часы. – Который час? – спросила она.

– Не важно, – сказал Лейн. – Нам спешить некуда.

– Но ты хотел пойти на вечеринку.

– А черт с ней!

– И на матч мы тоже опоздали? – спросила Фрэнни.

– Слушай, я же сказал, черт с ним со всем. Сейчас ты должна пойти в свою комнату – в этих, как их там, Голубых Ставеньках – и отдохнуть как следует, это самое главное, – сказал Лейн. Он подсел к ней поближе, наклонился и быстро поцеловал. Потом обернулся, посмотрел на дверь и снова наклонился к Фрэнни. – Будешь отдыхать до вечера. Отдыхать – и все. – Он погладил ее руку. – А потом, попозже, когда ты хорошенько отдохнешь, я, может быть, проберусь к тебе, наверх. Черт его знает, как будто там есть черный ход. Я разведую.

Фрэнни промолчала. Она все еще смотрела в потолок.

– Знаешь, как давно мы не виделись? – сказал Лейн. – Когда это мы встретились, в ту пятницу? Черт знает когда – в начале того месяца. – Он покачал головой: – Не годится так. Слишком большой перерыв от рюмки до рюмки, грубо говоря. – Он пристальнее взгляделся в лицо Фрэнни. – Тебе и вправду лучше?

Она кивнула. Потом повернулась к нему лицом.

– Ужасно пить хочется, и все. Как, по-твоему, можно мне достать стакан воды? Не трудно?

– Конечно, нет, чушь какая! Слушай, а что, если я оставлю тебя на минутку? Знаешь, что я сейчас сделаю? Фрэнни отрицательно помотала головой.

– Пришлю кого-нибудь сюда с водой. Потом найду главного, скажу, что нашатыря не надо, и, кстати, заплачу по счету. Потом пригоню сюда такси, чтобы не бегать за ним. Придется немного обождать, все машины, наверно, везут народ на матч. – Он выпустил руку Фрэнни и встал. – Хорошо? – спросил он.

– Очень хорошо.

– Ладно. Скоро вернусь. Не вставай! – И он вышел из комнаты.

Оставшись в одиночестве, Фрэнни лежала не двигаясь, все еще глядя в потолок. Губы у нее беззвучно зашевелились, безостановочно складывая слова.

Выше стропила, плотники

Перевод: Рита Райт-Ковалева

Лет двадцать тому назад, когда в громадной нашей семье вспыхнула эпидемия свинки, мою младшую сестренку Фрэнни вместе с колясочкой перенесли однажды вечером в комнату, где я жил со страшим братом Симором и где предположительно микробы не водились. Мне было пятнадцать, Симору – семнадцать.

Часа в два ночи я проснулся от плача нашей новой жилицы. Минуту я лежал, прислушиваясь к крику, но соблюдая полный нейтралитет, а потом услышал – вернее, почувствовал, что рядом на кровати зашевелился Симор. В то время на ночном столике между нашими кроватями лежал электрический фонарик – на всякий пожарный случай, хотя, насколько мне помнится, никаких таких случаев не бывало. Симор щелкнул фонариком и встал.

– Мама сказала – бутылочка на плите, – объяснил я ему.

– А я только недавно ее кормил, – сказал Симор, – она сыта.

В темноте он подошел к стеллажу с книгами и медленно стал шарить лучом фонарика по полкам.

Я сел.

– Что ты там делаешь? – спросил я.

– Подумал, может, почитать ей что-нибудь, – сказал Симор и снял с полки книгу.

– Слушай, балда, ей же всего десять месяцев! – сказал я.

– Знаю, – сказал Симор, – но уши-то у них есть. Они все слышат.

В ту ночь при свете фонарика Симор прочел Фрэнни свой любимый рассказ – то была даосская легенда. И до сих пор Фрэнни клянется, будто помнит, как Симор ей читал:

"Князь Му, повелитель Цзинь, сказал Бо Лэ: «Ты обременен годами. Может ли кто-нибудь из твоей семьи служить мне и выбирать лошадей вместо тебя?» Бо Лэ отвечал: «Хорошую лошадь можно узнать по ее виду и движениям. Но несравненный скакун – тот, что не касается праха и не оставляет следа, – это нечто таинственное и неуловимое неосоздаемое, как утренний туман. Таланты моих сыновей не достигают высшей ступени: они могут отличить хорошую лошадь, посмотрев на нее, но узнать несравненного скакуна они не могут. Однако есть у меня друг, по имени Цзю Фангао, торговец хворостом и овощами, – он не хуже меня знает толк в лошадях. Призови его к себе».

Князь так и сделал. Вскоре он послал Цзю Фангао на поиски коня. Спустя три месяца тот вернулся и доложил, что лошадь найдена. «Она теперь в Шаю», – добавил он. «А какая это лошадь?» – спросил князь. «Гнедая кобыла», – был ответ. Но когда послали за лошадью, оказалось, что это черный, как ворон, жеребец.

Князь в неудовольствии вызвал к себе Бо Лэ.

– Друг твой, которому я поручил найти коня, совсем осрамился. Он не в силах отличить жеребца от кобылы! Что он понимает в лошадях, если даже масть назвать не сумел?

Бо Лэ вздохнул с глубоким облегчением:

– Неужели он и вправду достиг этого? – воскликнул он. – Тогда он стоит десяти тысяч таких, как я. Я не осмелюсь сравнить себя с ним. Ибо Гао проникает в строение духа. Постигая сущность, он забывает несущественные черты; прозревая внутренние достоинства, он теряет представление о внешнем. Он умеет видеть то, что нужно видеть, и не замечать ненужного. Он смотрит туда, куда следует смотреть, и пренебрегает тем, что смотреть не стоит. Мудрость Гао столь велика, что он мог бы судить и о более важных вещах, чем достоинства лошадей.

И когда привели коня, оказалось, что он поистине не имеет себе равных".

Я привел этот отрывок не только потому, что я всегда неизменно и настойчиво рекомендую родителям и старшим братьям десятимесячных младенцев чтение хорошей прозы как успокоительное средство, но и по совершенно другой причине. Сейчас вы прочтете рассказ об одной свадьбе, которая состоялась в 1942 году. По моему мнению, это вполне законченный рассказ – в нем есть свое начало, свой конец и даже предчувствие смерти. Так как мне известны дальнейшие факты, считаю себя обязанным сообщить, что сейчас, в 1955 году, жениха уже нет в живых. Он покончил с собой в 1948 году, когда отдыхал с женой во Флориде... Но главным образом мне хочется сказать вот что: с тех пор как жених навсегда сошел со сцены, я не нахожу ни одного человека, которому я мог бы вместо него доверить поиски скакуна.

В мае 1942 года мы все семеро – потомство Леса и Бесси (урожденной Галлахер) Гласс, бывших комических актеров странствующей труппы, – были, говоря пышным слогом, разбросаны во все концы Соединенных Штатов. Например, я, второй по старшинству, лежал в военном госпитале в Форт-Беннинге, штат Джорджия, с плевритом – памяткой трехмесячного обучения пехотной премудрости. Близнецы Уолт и Уэйкер разлучились еще год назад: Уэйкера посадили в лагерь отказчиков в Мэриленде, а Уолт воевал на Тихом океане или направлялся туда с частями полевой артиллерии. (Мы никогда точно не знали, где находится Уолт. Писать письма он не любил, а после его смерти мы очень мало, почти что ничего о нем не узнали. Он погиб по нелепейшей случайности в Японии в 1945 году.)

Моя старшая сестра Бу-Бу (хронологически она приходится между мной и близнецами) служила мичманом в женских морских вспомогательных частях на военно-морской базе в Бруклине. Всю весну и лето того года сестра прожила в маленькой нью-йоркской квартирке, которая все еще числилась за мной и Симором после призыва в армию. Двое младших ребят, Зуи (мальчик) и Фрэнни (девочка), жили с нашими родителями в Лос-Анджелесе, где отец выискивал талантливых актеров для киностудии. Зуи было тринадцать, а Фрэнни – восемь. Каждую неделю они оба выступали по радио в детской передаче вопросов и ответов под типичными для американского радио ироническим названием «Умный ребенок». Пожалуй, здесь надо сказать, что почти все время – вернее, из года в год – все дети нашей семьи выступали в качестве платных «гостей» в программе «Умный ребенок». Мы с Симором выступали первыми – в 1927 году, когда ему было десять, а мне – восемь, и «вещали» мы из гостиной старого отеля «Маррихилл». Мы все семеро, начиная с Симора и кончая Фрэнни, выступали под псевдонимами. Может быть, это покажется в высшей степени противоречивым: ведь мы как-никак дети эстрадных актеров, людей ни в коей мере не пренебрегающих рекламой, но моя мать однажды прочла в журнале статью о том, какой крест вынуждены нести маленькие профессионалы, как они изолированы от обыкновенных детей, чье общество, очевидно, весьма для них полезно, – и она с железной непоколебимостью поставила на своем и ни разу, ни одного-единственного разу не отступила. (Здесь совсем не место разбираться, нужно ли объявить вне закона всех или большинство детей-"профессионалов", окружить их жалостью или без всяких сантиментов просто изничтожить как нарушителей общественного спокойствия. Замечу только что наш общий заработок в программе «Умный ребенок» дал шестерым из нас возможность окончить колледж, да и седьмой учиться на те же средства.)

Наш старший брат Симор – а о нем главным образом здесь и пойдет речь – служил капра-лом в войсках, которые тогда, в 1942 году, еще назывались военно-воздушные силы. Жил он на базе бомбардировщиков Б-17 в Калифорнии – насколько мне известно, он исполнял обязанности

ротного писаря. Добавлю мимоходом, хотя это и важно, что из всех нас он меньше всего любил писать письма. Кажется, за всю жизнь он мне не написал и пяти писем.

В то утро, двадцать второго, а может быть двадцать третьего мая (наша семья никогда не ставила число на письмах), мне положили в ноги на койку военного госпиталя в Форт-Беннинге, письмо от моей сестры Бу-Бу – в то время мне стягивали диафрагму липким пластырем (это мероприятие медики обычно проделывают над больными плевритом – по-видимому, для того, чтобы они не рассыпались на кусочки от кашля). Когда прекратили это мучение, я прочел письмо Бу-Бу. Оно сохранилось, и я привожу его дословно:

Милый Бадди!

Собираюсь в дорогу и страшно тороплюсь, поэтому пишу тебе кратко, но внушительно. Адмирал Щипозад решил, что ему для победы над врагами необходимо уехать к черту на рога в неизвестном направлении и взять с собой свою секретаршу (если я буду вести себя хорошо). Я страшно расстроена. Не говоря уже о Симоре, придется мерзнуть в палатках, выносить глупые приставания наших доблестных бойцов и травить на самолете в эти гнусные бумажные мешки. Но главное вот что: Симор женится – понимаешь, *женится!* – так что, прошу тебя, отнесись к этому внимательно. Я приехать не могу. Уезжаю неизвестно на сколько, от полутора до двух месяцев. Невесту я видела. По-моему, она пустое место, но хороша собой необычайно. Конечно, я не знаю, такое ли она ничтожество, как мне показалось. Она и двух слов не сказала в тот вечер. Сидит, улыбается, курит, так что, может быть, я к ней несправедлива. Об их романе ничего не знаю, кажется, они познакомились прошлой зимой, когда часть Симора была расквартирована в Монмауте. Но мамаша у нее – дальше ехать некуда: ковыряется во всех искусствах и дважды в неделю ходит к известному психоаналитику, ученику Юнга; в тот вечер, когда мы познакомились, она два раза спросила меня, подвергалась ли я психоанализу. Сказала, что ей хотелось бы, чтобы Симор был больше похож на других людей. Но тут же заявила, что он все-таки ей ужасно нравится и так далее и тому подобное и что она благоговейно слушала его все годы, когда он выступал по радио. Вот все что я о них знаю, но самое главное – тебе непременно надо быть на свадьбе. Я тебе никогда не прощу, если не поедешь, честное слово! Маме и папе приехать с побережья никак нельзя. Кроме всего, у Фрэнни корь. Кстати, слыхал ли ты ее по радио на прошлой неделе? Она долго и красиво рассказывала, как она в четыре с половиной года летала по своей квартире, когда никого не было дома. Новый комментатор куда хуже Гранта, пожалуй, он даже хуже тогдашнего Салливена, если только можно быть хуже. Он сказал, что ей, наверное, *приснилось*, как она летала. Но наша кроха с ангельским терпением стояла на своем. Она сказала – нет, она *знает* точно, что умеет летать, потому что, когда она спускалась, пальцы у нее всегда были в пыли от электрических лампочек. Ужасно хочу ее видеть. И тебя тоже. Во всяком случае, на свадьбу ты должен попасть *непременно*. Дезертируй, если надо, только поезжай, очень тебя прошу. Свадьба в три часа, четвертого июня. Очень светская и современная, на квартире у ее бабушки, на Шестидесят третьей улице. Венчают их какой-то судья. Номера дома не помню, но это через два дома от той квартиры, где Карл и Эми утопали в роскоши и богатстве. Уолту дам телеграмму, но, кажется, его транспорт уже ушел. Пожалуйста, поезжай туда, Бадди! Он похож на заморенного котенка, лицо восторженное, говорить с ним невыносимо. Может быть, все обойдется, но я ненавижу сорок второй год и, должно быть, буду из принципа ненавидеть до самой смерти. Целую тебя крепко, увидимся, когда вернусь.

Бу-Бу"

Дня через три после получения письма меня выписали из госпиталя, выдав, так сказать на поруки трем метрам липкого пластыря, обхватившего мои ребра. Потом началась напряженнейшая недельная кампания – надо было получить отпуск на свадьбу. Наконец я добился своего путем настойчивого заискивания перед командиром роты, человеком по его собственному определению, книжным, чей любимый писатель, к счастью, оказался и моим любимцем: это был некий Л. Меннинг Вайнс. Нет, кажется, Хайндс. Но, несмотря на столь прочные духовные узы, связывавшие нас, я добился всего лишь трехдневного отпуска, то есть в лучшем случае времени хва-

тало только на то, чтобы доехать поездом до Нью-Йорка, побыть на свадьбе, наспех где-то пообедать и вернуться в Джорджию в поту и в мыле.

В «сидячих» вагонах поездов сорок второго года вентиляция, насколько помнится, была чисто условная, все было битком набито военной охраной, пахло апельсиновым соком, молоком и скверным виски. Всю ночь я прокашлял, сидя над комиксом, который кто-то дал мне почитать из жалости. Когда поезд подошел к Нью-Йорку в десять минут третьего, в день свадьбы, я был весь искашлявшийся, измученный, потный и мятый, кожа под липким пластырем зверски зудела. Жара в Нью-Йорке стояла неопишуемая. Зайти на квартиру было некогда, и свой багаж, состоявший из весьма неприглядного парусинового саквояжика на «молнии», я оставил в стальном шкафчике на Пенсильванском вокзале. И как нарочно, в ту минуту, как я брел мимо магазинов готового платья, ища такси, младший лейтенант службы связи, которому я, очевидно, забыл отдать честь, переходя Седьмую авеню, вдруг вынул самописку и под любопытными взглядами кучки прохожих записал мою фамилию, номер части и адрес.

В такси я совсем размяк. Водителю я дал указание довезти меня хотя бы до дома, где когда-то «утопали в роскоши» Карл и Эмит. Но когда мы доехали до этого квартала, все оказалось очень просто. Надо было только идти вслед за толпой. Там был даже полотняный балдахин. Через несколько минут я вошел в огромный старый каменный дом, где меня встретила очень красивая дама с бледно-лиловыми волосами, которая спросила, чей я знакомый – жениха или невесты. Я сказал – жениха.

– О-о, – сказала она, – знаете, тут у нас все перемешалось. – Она засмеялась слишком громко и указала на складной стул – последний свободный стул в огромной, переполненной до отказа гостиной.

В моей памяти за тринадцать лет произошло полное затмение – подробностей, касающихся этой комнаты, я не помню. Кроме того, что она была битком набита и что было невыносимо жарко, я припоминаю только две детали: орган играл прямо за моей спиной, а женщина, сидевшая справа, обернулась ко мне и восторженным театральным шепотом сказала: "*Я Элен Силсберн!*" По расположению наших мест я понял, что это не мать невесты, но на всякий случай я заулыбался, и закивал изо всех сил, и уже собрался было представиться ей, но она церемонно приложила палец к губам и мы оба посмотрели вперед. Было приблизительно три часа. Я закрыл глаза и стал несколько настороженно ждать, пока органист не перестанет играть разные разности и не загремит свадебным маршем из «*Лоэнгрина*».

Я очень ясно представляю себе, как прошел следующий час с четвертью, кроме того важного факта, что марш из «*Лоэнгрина*» так и не загремел. Помню, что какие-то незнакомые люди то и дело оборачивались отовсюду, чтобы взглянуть исподтишка, кто это так кашляет. Помню, что женщина справа еще раз заговорила со мной тем же несколько приподнятым шепотом.

– Очевидно, какая-то задержка, – сказала она. – Вы когда-нибудь видели судью Ренкера? У него лицо *святого*!

Помню, как органная музыка неожиданно и даже в каком-то отчаянии вдруг перешла с Баха на раннего Роджерса и Харта. Но главным образом я как бы сочувственно стоял над собственной больничной койкой, жалея себя за то, что приходилось подавлять припадки кашля. Все время, пока я сидел в этой гостиной, изредка мелькала трусливая мысль, что, несмотря на корсет из липкого пластыря, у меня хлынет горлом кровь или вот-вот лопнет ребро.

В двадцать минут пятого, или, грубо говоря, через двадцать минут после того, как последняя надежда исчезла, невенчанная невеста, опустив голову неверным шагом под двусторонним конвоем родителей проследовала вниз по длинной каменной лестнице на улицу. Там, словно передавая с рук на руки, ее наконец поместили в первую из лакированных черных машин, ожидавших двойными рядами у тротуара. Момент был чрезвычайно живописный – настоящая иллюстрация из журнала, – и, как полагается на таких иллюстрациях, в нее попало положенное число свидетелей: свадебные гости (в том числе и я), хотя и пытаюсь соблюдать приличия, уже стали толпами высыпать из дому и жадно, чтобы не сказать, выпучив глаза, уставились на невесту. И если что-то хоть немного смягчило картину, то благодарить за это надо было погоду. Июньское

солнце палило и жгло с беспощадностью тысячи фотовспышек, так что лицо невесты, в полуобмороке спускавшейся с каменной лестницы, плыло в каком-то мареве, а это было весьма кстати.

Когда свадебный экипаж, так сказать, физически исчез со сцены, выжидательное напряжение на тротуаре – особенно под самым полотняным балдахином, где околачивался и я, – превратилось в обычную толчею, и если бы этот дом был церковью, а день – воскресеньем, можно было подумать, что просто прихожане, толпясь, расходятся после службы. Внезапно с подчеркнутой настойчивостью стали передавать якобы от имени невестино дяди Эла, что машины поступают в *распоряжение* гостей, даже если прием не состоится и планы изменятся. Судя по реакции окружающих меня людей, это было принято как «beau geste». Но при этом было сказано, что машины поступят «в распоряжение» только после того, как внушительный отряд весьма почтенных людей, называемых «ближайшие родственники невесты», будет вполне обеспечен всем транспортом, который окажется необходим, чтобы и они могли сойти со сцены. И после несколько непонятной, как мне показалось, толкотни (во время которой меня зажали как в тиски и приковали к месту) вдруг действительно начался исход «ближайших родственников»: они размещались по шесть-семь человек в машине, хотя иногда садились и по трое и по четверо. Зависело это, как я понял, от возраста, посещения и ширины бедер первого, кто садился в машину.

Вдруг по чьему-то указанию, брошенному вскользь, но весьма четко, я очутился у обочины, около балдахина, и стал подсаживать гостей в машины.

Не мешало бы поразмыслить, почему на эту ответственную должность выбрали именно меня. Насколько я понял, неизвестный пожилой деятель, распорядившийся мною таким образом, не имел ни малейшего понятия о том, что я брат жениха. Поэтому логика подсказывает, что выбрали меня по другим, гораздо менее лирическим причинам. Шел сорок второй год. Мне было двадцать три года, я только что попал в армию. Убежден, что лишь мой возраст, военная форма и тускло-защитная аура несомненной услужливости, исходившая от меня, рассеяли все сомнения в моей полной пригодности для роли швейцара.

Но я был не только двадцатитрехлетним юнцом, но и сильно отстал для своих лет. Помню, что, подсаживая людей в машины, я не проявлял даже самой элементарной ловкости. Напротив, я проделывал это с какой-то притворной школьнической старательностью, создавая видимость выполнения важного долга. Честно говоря, я уже через несколько минут отлично понял, что приходится иметь дело с поколением гораздо более старшим, хорошо упитанным и низкорослым, и моя роль поддерживателя под локоток и закрывателя дверей свелась к чисто показным проявлениям дутой мощи. Я вел себя как исключительно светский, полный обаяния юных великан, одержимый кашлем.

Но страшная духота, мягко говоря, угнетала меня, и никакая награда за мои старания не маячила впереди. И хотя толпа «ближайших родственников» едва только начинала редеть, я вдруг втиснулся в одну из свежезагруженных машин, уже трогавшуюся со стоянки. При этом я с громким стуком (как видно, в наказание) ударился головой о крышу. Среди пассажиров машины оказалась та самая шептунья, Элен Силсберн, которая тут же стала выражать мне свое неограниченное сочувствие. Грохот удара, очевидно, разнесся по всей машине. Но в двадцать три года я принадлежал к тому сорту молодых людей, которые, претерпев на людях увечье, кроме разбитого черепа, издают лишь глухой, нечеловеческий смешок.

Машина пошла на запад и словно въехала прямо в раскаленную печь предзакатного неба. Так она проехала два квартала, до Мэдисон-авеню, и резко повернула на север. Мне казалось, что только необычная ловкость какого-то безвестного, но опытного водителя спасла нас от гибели в раскаленном солнечном горне.

Первые четыре или пять кварталов по Мэдисон-авеню на север мы проехали под обычный обмен фразами, вроде: «Я вас не очень стесняю?», или: «Никогда в жизни не видала такой жары!» Дама, никогда в жизни не выдавшая такой жары, оказалась, как я подслушал, еще стоя у обочины, невестинной подружкой. Это была мощная особа, лет двадцати четырех или пяти, в розовом шелковом платье, с венком искусственных незабудок на голове. В ней явно чувствовалось нечто атлетическое, словно год или два назад она сдала экзамен в колледже на инструктора по

физическому воспитанию. Даже букет гардений, лежавший у нее на коленях, походил на опавший волейбольный мяч. Она сидела сзади, зажатая между своим мужем и крошечным старичком во фраке и цилиндре, с незажженной гаванской сигаретой светлого табака в руке. Миссис Силсберн и я, непорочно касаясь друг друга коленями, занимали откидные места. Дважды без всякого предложения, просто из чистого восхищения я оглядывался на крошечного старичка. В ту первую минуту, когда я только начал загружать машину и открыл перед ним дверцу, у меня мелькнуло желание подхватить его на руки и осторожно всадить через открытое окошко. Он был такой маленький, ростом никак не больше четырех фунтов и девяти-десяти дюймов, и, однако, не казался ни карликом, ни лилипутом. В машине он сидел прямо и весьма сурово глядел вперед. Обернувшись во второй раз, я заметил, что у него на лацкане фрака было пятно, очень похожее на застарелые следы жирного соуса. Заметил я также, что его цилиндр не доходил до крыши машины дюйма на четыре, а то и на все пять... Однако в первые минуты нашей поездки меня больше всего интересовало состояние собственного моего здоровья. Кроме плеврита и шишки на голове, меня донимало пессимистическое предчувствие начинающейся ангины. Тайком я пытался завести язык как можно дальше и обследовать подозрительные места в глотке. Помню, что я сидел, уставившись прямо в затылок водителя, который представлял собой рельефную карту шрамов от залеченных фурункулов, как вдруг моя соседка по откидной скамеечке спросила меня:

– А как поживает ваша милая мамочка? Ведь вы Дикки Бриганза, да?

Язык у меня в эту минуту был занят обследованием мягкого неба и завернут далеко назад. Я его развернул, проглотил слюну и посмотрел на соседку. Ей было лет под пятьдесят, одета она была модно и элегантно. На лице толстым блином лежал густой грим.

Я ответил, что – нет, я не он.

Она, слегка прищурившись, посмотрела на меня и сказала, что я как две капли воды похож на сына Селии Бриганза. Особенно рот. Я попытался выражением лица показать что людям, мол свойственно ошибаться. И снова уставился в затылок водителю. В машине наступило молчание. Для разнообразия я посмотрел в окно.

– Вам нравится служить в армии? – спросила миссис Силсберн мимоходом, лишь бы что-то сказать.

Но именно в эту минуту на меня напал кашель. Когда приступ прошел, я обернулся к ней и со всей доступной мне бодростью сказал, что у меня в армии много товарищей. Ужасно трудно было поворачиваться к ней, – очень давил на диафрагму липкий пластырь.

Она закивала.

– Я считаю, что вы все просто чудо! – сказала она несколько двусмысленно. – Скажите, а вы друг невесты или жениха? – вдруг в упор спросила она.

– Видите ли, я не то чтобы друг...

– Лучше *молчите*, если вы друг жениха! – прервал меня голос невестины подружки за спиной. – Ох, попадись он мне в руки хоть на две минуты. Всего на две минутки – больше мне не потребуется!

Миссис Силсберн обернулась круто, в полный оборот, чтобы улыбнуться говорившей. И снова – полный поворот на месте. Мы с ней крутнулись почти одновременно. Поворот был мгновенный. И улыбка, которой она одарила невестину подружку, была чудом эквилибристики. В живости этой улыбки выражалась симпатия ко всему молодому поколению во всем мире и особенно к данной представительнице этой молодежи – такой смелой, такой откровенной, – впрочем, она еще мало с ней знакома.

– Кровожадное существо! – сказал со смешком мужской голос.

Миссис Силсберн и я опять обернулись. Заговорил муж невестины подружки. Он сидел прямо за моей спиной слева от жены. Мы с ним обменялись беглым недружелюбным взглядом, каким в тот недоброй памяти в 1942 год могли обменяться только офицер с простым солдатом. На нем, старшем лейтенанте службы связи, была очень забавная фуражка летчика военно-воздушных сил – с огромным козырьком и тульей, из которой была вынута проволока, что обычно придавало владельцу фуражки какой-то, очевидно заранее задуманный, беззаветно-храбрый вид. Но в данном случае фуражка своей роли никак не выполняла. Она главным обра-

зом работала на то, чтобы мой собственный, положенный по форме и несколько великоватый для меня головной убор выглядел как шутовской колпак, впопыхах вытасченный кем-то из мусоропровода.

Вид у лейтенанта был болезненный и загнанный. Он ужасно потел – откуда только бралось столько влаги на лбу, на верхней губе, даже на кончике носа, – говорят, в таких случаях и надо принимать солевые таблетки.

– Женат на самом кровожадном существе во всем штате! – сказал он миссис Силсберн с мягким смешком, явно рассчитанным на публику. Из автоматического почтения к его чину я тоже чуть было не издал что-то вроде смешка – и этот коротенький, бессмысленный смешок чужака и младшего чина ясно показал бы, что и я на стороне лейтенанта и всех пассажиров такси и вообще я не против, а за.

– Нет, я не шучу! – сказала невестина подружка. – На две минутки, братцы, мне бы на две минутки! Ох, я бы собственными своими ручками...

– Ладно, ладно, не шуми, не волнуйся! – сказал ее муж, очевидно обладавший неиссякаемым запасом семейного долготерпения. – Не волнуйся – дольше проживешь.

Миссис Силсберн снова обернулась назад и одарила невестину подружку почти ангельской улыбкой.

– А кто-нибудь видел его родных на свадьбе? – спросила она мягко и вполне воспитанно, подчеркивая личное местоимение.

В ответе невестиной подружки была взрывчатая сила.

– Нет! Они все не то западном побережье, не то еще где-то. Да, хотела бы я на них посмотреть!

Ее муж опять засмеялся.

– А что бы ты сделала, милочка? – спросил он и беззастенчиво подмигнул мне.

– Не знаю, но что-нибудь я бы *обязательно* сделала, – сказала она. Лейтенант засмеялся громче. – Обязательно! – настойчиво повторила она. – Я бы им все сказала! И вообще, боже мой! – Она говорила со все возрастающим апломбом, словно решив, что не только ее муж, но все остальные слушатели восхищаются ее прямоотой, ее несколько вызывающим чувством справедливости, пусть даже в нем есть что-то детское, наивное. – Не знаю, что я им сказала бы. Наверно, несла бы всякую чепуху. Но господи ты боже! Честное слово, не могут видеть, как людям спускают форменные *преступления*! У меня кровь кипит!

Она подавила благородное волнение ровно настолько, чтобы миссис Силсберн успела поддержать ее взглядом, выражающим нарочито подчеркнутое сочувствие. Мы с миссис Силсберн уже окончательно и свехобщительно обернулись назад. – Да, вот именно, преступление! – продолжала невестина подружка. – Нельзя с ходу врезаться в жизнь, ранить людей, так, походя, оскорблять их лучшие чувства.

– К сожалению, я мало что знаю про этого молодого человека, – мягко сказала миссис Силсберн. – Я не видела его никогда. Только услышала, что Мюриель обручена...

– *Никто* его не видел, – резко бросила невестина подружка. – Даже я и то с ним незнакома. Два раза мы репетировали свадебную церемонию, и каждый раз бедному папе Мюриель приходилось заменять его только из-за того, что его идиотский самолет не мог вылететь. А во вторник он должен был вечером прилететь сюда на каком-то идиотском военном самолете, но в каком-то идиотском месте, не то в Аризоне, не то в Колорадо, случилось какое-то идиотство, снег пошел, что ли, и он прилетел только вчера в *час ночи*! И в такой час он как сумасшедший вызывает Мюриель по телефону откуда-то с Лонг-Айленда и просит встретиться с ним в холле какой-то жуткой гостиницы – ему, видите ли, надо с ней *поговорить*. – Невестина подружка красноречиво передернула плечами. – Но вы же знаете Мюриель, с таким ангелом каждый встречный-поперечный может выкомаривать что ему вздумается. Меня это просто бесит. Таких, как она, всегда обижают... И представьте, она одевается, мчится в такси и сидит в каком-то жутком холле, разговаривает до *половины пятого* утра! – Невестина подружка выпустила из рук букет и сжала оба кулака на коленях: – Ох, я просто взбесилась!

– А в какой гостинице? – спросил я ее. – Вы не знаете в какой?

Я старался говорить небрежно, как будто трест гостиниц принадлежит, скажем, моему отцу и я с понятным сыновним интересом хочу узнать, где же останавливаются в Нью-Йорке приезжие. Но, в сущности, мой вопрос ничего не значил. Я просто думал вслух. Мне показался любопытным самый факт, что брат просил свою невесту приехать к нему в какую-то гостиницу, а не в свою пустую квартиру. Правда, с моральной стороны такое приглашение было вполне в его характере, но все-таки мне было любопытно.

– Не знаю, в какой гостинице, – раздраженно сказала невестина подружка. – В какой-то гостинице – и все. – Она вдруг пристально посмотрела на меня: – А вам-то зачем? Вы его приятель, что ли?

В ее взгляде была явная угроза. Казалось, в ней одной воплотилась целая толпа женщин и в другое время при случае она сидела бы с вязаньем у самой гильотины. А я всю жизнь больше всего боялся толпы.

– Мы с ним выросли вместе, – сказал я еле внятно.

– Смотри, какой счастливчик!

– Ну, ну, не надо! – сказал ее муж.

– Ах, виновата! – сказала невестина подружка, обращаясь к нему, хотя относилось это ко всем нам. – Но вы не видели, как эта бедная девочка битых два часа плакала, не осушая глаз. Ничего смешного тут нет – не думайте, пожалуйста! Слыхали мы про струсивших женихов. Но не в последнюю же минуту! Понимаете, так не поступают, не ставят в неловкое положение целое общество, нельзя порядочных людей доводить чуть ли не до припадка и доводить чуть ли не до припадка и сводить девочку с ума. Если он передумал, почему он ей не написал, почему не порвал с ней, как джентльмен, скажите ради бога? Заранее, пока не заварил всю эту кашу!

– Ну ладно, успокойся, успокойся! – сказал ее муж. Он все еще посмеивался, но смех звучал довольно натянуто.

– Нет, я серьезно! Почему он не мог ей написать и все объяснить как *мужчина*, предупредить эту трагедию, и все такое? – Она метнула в меня взглядом. – Кстати, вы случайно не знаете, где он? – спросила она с металлом в голосе. – Если вы друзья *детства*, вы бы должны...

– Да я всего два часа как приехал в Нью-Йорк, – сказал я робко. Теперь не только невестина подружка, но и ее муж, и миссис Силсберн уставились на меня. – Я даже до телефона не успел добраться.

Помню, что именно в эту минуту на меня напал приступ кашля. Кашель был вполне неприличный, но должен сознаться, что я не приложил никаких усилий, чтобы его унять или ослабить.

– Вы лечились от кашля, солдат? – спросил лейтенант, когда я перестал кашлять.

Но тут у меня снова начался кашель и, как ни странно, опять без всякого притворства. Я все еще сидел в пол – или в четверть оборота к задней скамье, но старался отвернуться так, чтобы кашлять по всем правилам приличия и гигиены.

Может быть, я нарушу порядок повествования, но мне кажется, что тут надо сделать небольшое отступление, чтобы ответить на некоторые заковыристые вопросы. И первый из них: почему я не вышел из машины? Кроме всяких побочных соображений, я точно знал, что машина везет всю компанию на квартиру к родителям невесты. И если бы я даже мог получить какие-то ценные сведения через убитую горем невенчанную невесту или через ее обеспокоенных (и наверняка разгневанных) родителей, ничто не могло бы загладить неловкость моего появления в их квартире. Почему же я сиднем сидел в машине? Почему не выскочил, скажем, тогда, когда машина останавливалась перед светофором? И наконец, самое непонятное: почему я вообще сел в эту машину?..

Возможно, что найдется с десятков ответов на все эти вопросы, и все они хотя бы в общих чертах будут вполне удовлетворительны. Но мне кажется, что можно ответить на все сразу, напомнив, что шел 1942 год, что мне было двадцать три года, и я только что был призван в армию, только что обучен стадному чувству необходимости держаться скопом, и, что важнее всего, мне было очень одиноко. А в таких случаях, как я понимаю, человек просто прыгает в маши-

ну к другим людям и уже оттуда не вылезает.

Но, возвращаясь к изложению событий, я вспоминаю, что в то время, как все трое – невестина подружка, ее супруг и миссис Силсберн – не отрываясь смотрели, как я кашляю, я сам поглядывал назад, на маленького старичка. Он по-прежнему сидел, уставившись вперед. С чувством какой-то благодарности я заметил, что его ножки не доходят до полу. Мне они показались старыми добрыми друзьями.

– А чем этот человек вообще занимается? – спросила меня невестина подружка, когда окончился приступ кашля.

– Вы про Симора? – сказал я. Сначала по ее тону мне померещилось, что она подозревает его в чем-то особенно подлом. Но вдруг – чисто интуитивно – я сообразил, что, может быть, она тайне собрала самые разнообразные биографические данные о Симоре, то есть все те мелкие, к сожалению весьма драматические, факты, дающие, по моему мнению, в самой своей основе ложное представление о нем. Например, что он лет шесть, еще мальчишкой, был знаменитым по всей стране радиогероем. Или, с другой стороны, что он поступил в Колумбийский университет, едва только ему исполнилось пятнадцать лет.

– Вот именно, про Симора, – сказала невестина подружка. – Чем он занимался до военной службы?

И снова во мне искоркой вспыхнуло интуитивное ощущение, что она знала про него куда больше, чем по каким-то причинам считала нужным открыть. По всей вероятности, ей, например, отлично было известно, что до призыва Симор преподавал английский язык, что он был преподавателем, да, преподавателем колледжа. И в какой-то момент, взглянув на нее, я испытал неприятное ощущение: а может быть, ей даже известно, что я брат Симора. Но думать об этом не стоило. И я только взглянул на нее исподлобья и сказал:

– Он был мозольным оператором. – И тут же, резко отвернувшись, стал смотреть в окошко. Машина стояла уже несколько минут, но я только сейчас услышал воинственный грохот барабанов, который доносился издали, со стороны Лексингтонской или Третьей авеню.

– Парад! – сказала миссис Силсберн. Она тоже обернулась.

Мы оказались в районе Восьмидесятых улиц. Посреди Мэдисон-авеню стоял полисмен и задерживал все движение и на север, и на юг. Насколько я мог понять, он его просто останавливал, не направляя ни на восток, ни на запад. Три или четыре машины и один автобус ждали, пока их пропустят на юг, но наша машина была единственной направлявшейся в северную часть города. На ближнем углу и на видимой мне из машины боковой улице, ведущей к Пятой авеню, люди столпились на тротуаре и у обочины, очевидно выжидая, пока отряд солдат, или сестер милосердия, или бойскаутов, или еще кого двинется со сборного пункта на Лексингтон-авеню и промарширует мимо них.

– О боже! Этого еще не хватало! – сказала невестина подружка.

Я обернулся, и мы чуть не стукнулись лбами. Она наклонилась вперед, почти что втиснувшись между мной и миссис Силсберн. Та с выражением сочувственного огорчения тоже повернулась к ней.

– Мы тут можем проторчать целый месяц! – сказала невестина подружка, вытягивая шею, чтобы поглядеть в ветровое стекло. – А мне надо быть там *сейчас*. Я сказала Мюриель и ее маме, что приеду в одной из первых машин, буду у них через пять минут. О боже! Неужели ничего нельзя сделать?

– И мне надо быть там поскорее! – торопливо сказала миссис Силсберн.

– Да, но я ей *обещала*. В квартиру набьются всякие сумасшедшие дяди и тетки, всякий посторонний народ, и я ей обещала, что стану на страже, выставлю десять штыков, чтобы дать ей хоть немножко побыть одной, немного... – Она перебила себя: – О боже! Какой ужас!

Миссис Силсберн натянуто засмеялась.

– Боюсь, что я одна из этих сумасшедших теток, – сказала она. Она явно обиделась.

Невестина подружка покосилась на нее.

– Ах, простите! Я не про вас, – сказала она. Потом откинулась на спинку заднего сиденья. – Я только хотела сказать, что у них квартирка такая тесная, и, если туда начнут переть все кому не лень, – сами понимаете!

Миссис Силсберн промолчала, а я не смотрел на нее и не мог судить, насколько серьезно ее обидело замечание невестинной подружки. Помню только, что на меня произвел какое-то особое впечатление тон, с каким невестина подружка извинилась за свою неловкую фразу про «сумасшедших дядей и теток». Извинилась она искренне, но без всякого смущения, больше того, без всякой униженности, и у меня внезапно мелькнуло чувство, что несмотря на показную строптивость и наигранный задор, в ней действительно было что-то прямое, как штык, что-то почти вызвавшее восхищение. (Скажу сразу и с полной откровенностью, что мое мнение в данном случае малого стоит. Слишком часто меня неумеренно влечет к людям, которые не рассыпаются в извинениях.) Но вся суть в том, что в эту минуту во мне впервые зашевелилось некоторое предубеждение против жениха, правда, самое маленькое, едва заметный зародыш порицания за его необъяснимое злонамеренное отсутствие.

– Ну-ка, попробуем что-нибудь сделать, – сказал муж невестинной подружки. Это был голос человека, сохраняющего спокойствие и под огнем неприятеля. Я почувствовал, как он собирается с силами у меня за спиной, и вдруг его голова просунулась в довольно ограниченное пространство между мной и миссис Силсберн. – Водитель! – сказал он властным голосом и умолк в ожидании ответа. Водитель не замедлил откликнуться, после чего голос лейтенанта стал куда покладистей и демократичнее: – Как по-вашему, долго нас тут будут задерживать?

Водитель обернулся.

– А кто его знает, Мак, – сказал он и снова стал смотреть вперед. Он был весь поглощен тем, что происходило на перекрестке. За минуту до того какой-то мальчуган с наполовину опавшим красным воздушным шариком выскочил в запретную зону, очищенную от прохожих. Его только что поймал отец и потащил по тротуару, ткнув его раза два в спину кулаком. Толпа в справедливом негодовании встретила это поступок криками.

– Вы видели, как этот человек обращается с *ребенком*? – спросила миссис Силсберн, взывая ко всем. Никто ей не ответил.

– Может быть, спросить полисмента, сколько нас тут продержат? – сказал водителю лейтенант. Он все еще сидел, наклонясь далеко вперед. Очевидно, его не удовлетворил лаконичный ответ водителя на его первый вопрос: – Видите ли, мы все несколько торопимся. Не могли бы вы спросить у него, надолго ли нас тут задержат?

Не оборачиваясь, водитель дерзко передернул плечами. Но все же он выключил зажигание и вышел из машины, грохнув тяжелой дверцей лимузина. Он был неряшлив, хамоват с виду, в неполной шоферской форме: в черном костюме, но без фуражки.

Медленно и весьма независимо, чтобы не сказать – нахально, он прошел несколько шагов до перекрестка, где дежурный полисмен управлял движением. Они стали переговариваться бесконечно долго. Я услышал, как невестина подружка застонала позади меня. И вдруг оба, полисмен с шофером, разразились громовым хохотом. Можно было подумать, что они ни о чем не беседовали, а просто накоротке обменивались непристойными шутками. Потом наш водитель, все еще смеясь про себя, дружески помахал полисмену рукой и очень медленно пошел к машине. Он сел, грохнув дверцей, вытащил сигарету из пачки, лежавшей на полочке над распределительным щитком, засунул сигарету за ухо и потом, только потом обернулся к нам и доложил.

– Он сам не знает, – сказал он. – Надо ждать, пока пройдет парад. – Он мельком оглядел всех нас: – Тогда можно и ехать. – Он отвернулся, вытащил сигарету из-за уха и закурил.

С задней скамьи послышался горестный вздох. Это невестина подружка таким образом выразила обиду и разочарование. Наступила полная тишина. Впервые за последние несколько минут я взглянул на маленького старичка с незажженной сигарой. Задержка в пути явно не трогала его. Очевидно, он установил для себя твердые нормы поведения на заднем сиденье машины – все равно какой: стоящей, движущейся, а может быть, даже – кто его знает? – летящей с моста в реку. Все было чрезвычайно просто. Надо только сесть очень прямо, сохраняя расстояние от верхушки цилиндра до потолка примерно в четыре-пять дюймов, и сурово смотреть вперед, на вет-

ровое стекло. И если Смерть – а она, по всей вероятности, все время сидела впереди, на капоте, – так вот, если Смерть каким-то чудом проникнет сквозь стекло и придет за тобой, то ты встаешь и пойдешь за ней сурово, но спокойно. Не исключалось, что можно будет взять с собой сигару, если это светлая гавана.

– Что же мы будем делать? Просто *сидеть* тут, и все? – спросила невестина подружка. – Я умираю от жары.

Миссис Силсберн и я обернулись как раз вовремя, чтобы поймать ее взгляд, брошенный мужу впервые за все время, что они сидели в машине. – Неужели ты не можешь хоть чуть-чуть подвинуться? – сказала она ему. – Я просто задыхаюсь, так меня сдавили.

Лейтенант засмеялся и выразительно развел руками.

– Да я уже сижу чуть ли не на крыле, Заинька! – сказал он.

Она перевела взгляд, полный негодования и любопытства, на другого соседа: тот, словно ему хотелось хотя бы немного поднять мое настроение, занимал гораздо больше места, чем ему требовалось. Между его правым бедром и низом подлокотника было добрых два дюйма. Невестина подружка, несомненно, видела это, но, несмотря на весь металл в голосе, она все же никак не могла решиться попрекнуть этого устрашающего своим видом маленького человечка. Она опять повернулась к мужу.

– Ты можешь достать сигареты? – раздраженно спросила она. – Мне до моих никак не добраться, до того меня сдавили.

При слове «сдавили» она повернула голову и метнула беглый, но чрезвычайно красноречивый взгляд на маленького виновника преступления, захватившего пространство, которое по праву должно было принадлежать ей. Но тот оставался в высшей степени неуязвимым. Подружка невесты посмотрела на миссис Силсберн, в свою очередь, выразила на лице полное понимание и сочувствие. Тем временем лейтенант перенес всю тяжесть тела на левую, ближайшую к окну ягодицу и вытащил из правого кармана парадных форменных брюк пачку сигарет и картоночку спичек. Его жена взяла сигарету, и он тут же дал ей прикурить. Миссис Силсберн и я смотрели, как зажглась спичка, словно зачарованные каким-то необычным явлением.

– О, простите! – сказал лейтенант и протянул пачку миссис Силсберн.

– Очень вам благодарна, но я не курю! – торопливо проговорила миссис Силсберн почти с сожалением.

– А вы, солдат? – И лейтенант после едва заметного колебания протянул пачку и мне. Скажу откровенно, что хотя мне и понравилось, как он заставил себя предложить сигарету и как в нем простая вежливость победила кастовые предрассудки, но все-таки сигарету я не взял.

– Можно взглянуть на ваши спички? – спросила миссис Силсберн необыкновенно нежным, почти как у маленькой девочки, голосом.

– Эти? – сказал лейтенант. Он с готовностью передал картонку со спичками миссис Силсберн.

Миссис Силсберн стала рассматривать спички, и я тоже посмотрел на них с выражением интереса. На откидной крышке золотыми буквами по красному фону были напечатаны слова: «Эти спички украдены из дома Боба и Эди Бервик».

– Преле-е-стно! – протянула миссис Силсберн, качая головой. – Нет, правда, *прелестно*!

Я попытался выражением лица показать, будто не могу прочесть надпись без очков, и бесстрастно прищурился. Миссис Силсберн явно не хотелось возвращать спички их хозяину. Когда она их отдала и лейтенант спрятал их в нагрудный карман, она сказала:

– По-моему, я такого никогда не видела. – И, сделав почти полный оборот на своем откидном сиденье, она с нежностью стала разглядывать нагрудный карман лейтенанта.

– В прошлом году мы заказали их целую кучу! – сказал лейтенант. – Вы не поверите, как это экономит спички.

Но тут жена посмотрела – вернее, надвинулась на него.

– Мы не для того их заказывали! – сказала она и, бросив на миссис Силсберн взгляд, говорящий «Ох, уж эти мне мужчины!», добавила: – Не знаю, мне просто показалось, что это занято. Пошло, но все-таки занято. Сама не знаю...

– Нет, это прелестно. По-моему, я нигде...

– В сущности, это и не оригинально. Теперь все так делают. Кстати, эту мысль мне подали родители Мюриель, ее мама с папой. У них в доме всегда такие спички. – Она глубоко затянувшись сигаретой и, продолжая говорить, выпускала маленькие, как будто односложные клубочки дыма: – Слушайте, они потрясающие люди! Оттого меня просто *убивает* вся эта история. Почему такие вещи не случаются со всякой швалью, нет, непременно попадаются *порядочные* люди! Вот чего я не могу понять! – И она посмотрела на миссис Силсберн, словно ожидая разъяснения.

Улыбка миссис Силсберн была одновременно загадочной, светской и печальной, насколько я помню, это была улыбка как бы некой Джоконды Откидного Сиденья.

– Да, я и сама часто думала... – вполголоса произнесла она. И потом несколько двусмысленно добавила: – Ведь мать Мюриель – младшая сестрица моего покойного мужа.

– А-а! – с интересом сказала невестина подружка. – Значит, вы все сами знаете! – И, протянув неестественно длинную левую руку через своего мужа, она стряхнула пепел сигареты в пепельницу у дверцы. – Честное слово, таких по-настоящему *блестящих* людей я за всю свою жизнь почти не встречала. Понимаете, она читала *все* на *свете*! Бог мой, да если бы я могла прочесть хоть десятую часть того, что эта женщина прочла и забыла, это было бы для меня счастье! Понимаете, она *преподавала*, она и в газете работала, она *сама* шьет себе платья, она все хозяйство ведет сама! Готовит она как бог! Нет, честно скажу, по-моему, она просто чудо, черт возьми!

– А она одобряла этот брак? – перебила миссис Силсберн. – Понимаете, я спрашиваю только потому, что я несколько месяцев пробыла в Детройте. Моя золовка внезапно скончалась, и я...

– Она слишком хорошо воспитана, чтобы вмешиваться, – сухо объяснила невестина подружка. – Поймите меня, она слишком – ну, как бы это сказать? – деликатна, что ли. – Она немного помолчала. – В сущности, только сегодня утром я впервые услышала, как она возмутилась по этому поводу. Да и то лишь потому, что очень расстроилась из-за бедняжки Мюриель.

Она снова протянула руку и стряхнула пепел с сигареты.

– А что она говорила сегодня утром? – с жадностью спросила миссис Силсберн.

Невестина подружка, казалось, что-то припоминала.

– Да в общем ничего особенного, – сказала она, – я хочу сказать, ничего злого или по-настоящему обидного, словом, ничего такого! Она только сказала, что, по ее мнению, этот Симор – потенциальный гомосексуалист и что он, в сущности, испытывает страх перед браком. Понимаете, в ее словах не было никакой злобы или еще чего-нибудь. Она просто высказалась, вы понимаете, мудро. Понимаете, она сама проходит курс психоанализа вот уже много-много лет подряд. – Невестина подружка взглянула на миссис Силсберн: – Никакого секрета тут нет. Я знаю, что миссис Феддер сама рассказала бы вам, так что я ничьих секретов не выдаю!

– Знаю, знаю, – торопливо сказала миссис Силсберн. – Она ни за что на свете...

– Понимаете, – продолжала невестина подружка, – не тот она человек, чтобы говорить такие вещи наобум, она знает что говорит. И никогда, *никогда* она не сказала бы ничего подобного, если бы бедняжка Мюриель не была в таком состоянии: просто как убитая, понимаете. – Она мрачно тряхнула головой. – Бог мой, вы бы видели эту несчастную крошку!

Несомненно, надо бы мне тут прервать рассказ и описать, как я мысленно отреагировал на основные высказывания невестинной подружки. Но, пожалуй, лучше пока что об этом промолчать, и, надеюсь, читатель на меня не обидится.

– А что она еще говорила? – спросила миссис Силсберн. – Что говорила Рэа? Она еще что-нибудь сказала?

Я не смотрел на нее – я не сводил глаз с невестинной подружки, но мне вдруг на миг показалось, что миссис Силсберн готова всей тяжестью навалиться на нее.

– Да нет. Пожалуй, нет. Почти ничего. – Невестина подружка раздумчиво покачала головой. – Понимаете, как я уже говорила, она *вообще* ничего бы не сказала, особенно при таком количестве людей, если бы бедняжка Мюриель не была бы так безумно расстроена... – Она снова стряхнула пепел с сигаретки. – Она только добавила, что этот Симор, безусловно, шизоидный

тип и что если правильно воспринимать события, то для Мюриель даже лучше, что все так обернулось. Конечно мне это вполне понятно, но не уверена, что Мюриель тоже так понимает. Он до такой степени ее *охмурил*, что она не понимает, на каком она свете. Вот почему это меня так...

Но тут ее прервали. Прервал я. Насколько помню, голос у меня дрожал – так со мной бывает всегда, когда я серьезно расстроен.

– Что же привело миссис Феддер к выводу, что Симор – потенциальный гомосексуалист и шизоидный тип?

Все взгляды, нет, все прожекторы – взгляд невестиной подружки, взгляд миссис Силсберн, даже взгляд лейтенанта – сразу скрестились на мне.

– Что? – спросила невестина подружка резко, пожалуй даже враждебно. И снова у меня мелькнуло неопределенное смутное чувство: она знает, что я брат Симора.

– Почему миссис Феддер думает, что Симор – потенциальный гомосексуалист и шизоидный тип?

Невестина подружка уставилась на меня, потом выразительно фыркнула. Она обернулась и воззвала к миссис Силсберн с подчеркнутой иронией:

– Как по-вашему, может нормальный человек выкинуть такую штуку, как он сегодня? – Она подняла брови и подождала ответа. – Как по-вашему? – переспросила она тихо-тихо. – Только честно. Я вас спрашиваю. Пусть этот джентльмен слышит.

Ответ миссис Силсберн был сама деликатность, сама честность.

– По-моему, нет, конечно! – сказала она.

Меня охватило внезапное безудержное желание выскочить из машины и броситься бегом, со всех ног куда попало. Но, насколько я помню, я все еще не двинулся с места, когда невестина подружка снова обратилась ко мне.

– Послушайте, – сказала она тем деланно терпеливым тоном, каким учительница говорила бы с ребенком не только умственно отсталым, но и вечно сопливым. – Не знаю, насколько вы разбираетесь в людях. Но какой человек в здравом уме накануне того дня, когда он собирается жениться, всю ночь не дает покоя своей невесте и без конца плетет какую-то чушь, что он, мол, слишком *счастлив* и потому венчаться не может и что ей придется *отложить* свадьбу, пока он не *успокоится*, не то он никак не сможет явиться. А когда невеста ему объясняет, как *ребенку*, что все уже договорено и устроено давным-давно, что ее отец пошел на *невероятные* расходы и хлопоты, чтобы устроить прием и все что полагается, что ее родственники и друзья съедутся со всех концов *страны*, он после этих объяснений заявляет ей, что страшно огорчен, но, пока он так безумно *счастлив*, свадьба состояться не может, ему надо успокоиться – словом, какой-то идиотизм! Вы сами подумайте, если только у вас голова работает. Похоже это на *нормального человека*? Похоже это на человека *в своем уме*? – В ее голосе уже появились визгливые нотки. – Или так поступает человек, которого надо бы засадить за решетку? – Она строго уставилась на меня, а когда я промолчал и не стал ни защищаться, ни сдаваться, она тяжело откинулась на спинку сиденья и сказала мужу: – Дай-ка мне еще сигаретку, пожалуйста. А то я сейчас обожгусь. – Она передала ему обгоревший окурочок, и он потушил его. Потом вынул пачку.

– Нет, ты сам раскури, – сказала она, – у меня сил не хватает.

Миссис Силсберн откашлялась:

– По-моему, это просто неожиданное счастье, что все вышло так...

– Нет, я вас спрашиваю, – со свежими силами обратилась к ней невестина подружка, беря из рук мужа зажженную сигарету. – Разве так, по-вашему, поступает нормальный человек, нормальный *мужчина*? Или это поступки человека совершенно *невзрослого*, а может быть, и буйно помешанного, форменного психопата?

– Господи, я даже не знаю, что сказать. По-моему, им просто повезло, что все так...

Вдруг невестина подружка резко выпрямилась и выпустила дым из ноздрей.

– Ну ладно, не в этом дело, замолчите на минуту, мне не до того, – сказала она. Обращалась она к миссис Силсберн, но на самом деле ее слова относились ко мне, так сказать, через посредника: – Вы когда-нибудь видели... в кино? – спросила она.

Она назвала театральный псевдоним уже и тогда известной, а теперь, в 1955 году, очень

знаменитой киноактрисы.

– Да, – быстро и оживленно сказала миссис Силсберн и выжидательно замолчала.

Невестина подружка кивнула.

– Хорошо, – сказала она, – а вы когда-нибудь случайно не замечали, что улыбается она чуть-чуть криво? Вроде как бы только одним углом рта? Это очень заметно, если внимательно...

– Да, да, замечала, – сказала миссис Силсберн.

Невестина подружка затянулась сигаретой и взглянула – совсем мельком – в мою сторону.

– Так вот, оказывается, это у нее что-то вроде частичного *паралича*, – сказала она, выпуская клубочки дыма при каждом слове. – А знаете отчего? Этот ваш *нормальный* Симор, говорят, ударил ее, и ей наложили девять швов на лицо. – Она опять протянула руку (возможно, ввиду отсутствия более удачных режиссерских указаний) и стряхнула пепел с сигареты.

– Разрешите спросить, где вы это слыхали? – сказал я. Губы у меня тряслись как два дурака.

– Разрешаю, – сказала она, глядя не на меня, а на миссис Силсберн. – Мать Мюриель случайно упомянула об этом часа два назад, когда Мюриель чуть глаза не заплакала. – Она взглянула на меня. – Вас это удовлетворяет? – И она вдруг переложила букет гардений из правой руки в левую. Это было единственное проявление нервозности, какое я за ней заметил. – Кстати, для вашего сведения, – сказала она, глядя на меня, – знаете, кто вы, по-моему, такой? По-моему, вы *брат* этого самого Симора. – Она сделала коротенькую паузу, а когда я промолчал, добавила: – Вы даже *похожи* на него, если судить по его дурацкой фотографии, и я знаю что его брат должен был приехать на свадьбу. Кто-то, кажется его сестра, сказал об этом Мюриель. – Она не спускала с меня глаз. – Вы брат? – резко спросила она.

Голос у меня, наверно, сорвался, когда я отвечал.

– Да, – сказал я. Лицо у меня горело. Но в каком-то смысле я чувствовал себя куда больше самим собой, чем днем, в том состоянии обалдения, в каком я сошел с поезда.

– Так я и знала, – сказала невестина подружка. – Не такая уж я дура, уверяю вас. Как только вы сели в машину, я сразу поняла, кто вы. – Она обернулась к мужу. – Разве я не сказала, что он его брат в ту самую минуту, как он сел в машину? Не сказала?

Лейтенант уселся поудобнее.

– Да, ты сказала, что он должно быть... да, да, сказала, – проговорил он... Да, ты сказала.

Даже не глядя на миссис Силсберн, можно было понять, как внимательно она следит за ходом событий. Я мельком взглянул мимо нее, назад, на пятого пассажира, маленького старичка, проверяя, остается ли он все таким же безучастным. Нет, ничего не изменилось. Редко безучастность человека доставляла мне такое удовольствие.

Но тут невестина подружка снова взялась за меня:

– Кстати, для вашего сведения, я знаю также, что ваш братец вовсе не мозольный оператор. И нечего острить. Я прекрасно знаю, что он лет с т о подряд играл роль Билли Блэка в программе «Умный ребенок».

Тут миссис Силсберн внезапно вмешалась в разговор.

– Это ведь на радио? – спросила она, и я почувствовал, что она смотрит и на меня с новым, более глубоким интересом.

Невестина подружка ей не ответила.

– А вы кем были? – спросила она меня. – Наверно, вы – Джорджи Блэк? – Смесь любопытства и грубой прямоты в ее голосе показалась мне не только забавной – меня она совсем обезоруживала.

– Нет, Джорджи Блэком был мой брат Уолт, – сказал я, отвечая только на второй ее вопрос.

Она обратилась к миссис Силсберн:

– Кажется, это *секрет*, что ли, но этот человек и его братец Симор выступали по радио под вымышленными именами. Семейство Блэк!

– Успокойся, детка, успокойся, – сказал лейтенант с некоторой тревогой.

Его жена обернулась к нему.

– Нет, не успокоюсь! – сказала она, и опять вопреки рассудку где-то во мне зашевелилось

нечто похожее на восхищение – такой у нее был металл в голосе, не важно, какой он пробы. – Братец у него, говорят, умен как дьявол, – сказала она, – поступил в университет чуть ли не в четырнадцать лет. Но если считать его умным после всего, что он сделал сегодня с этой девочкой, так я – Махатма Ганди! Тут меня не собьешь! Это возмутительно – и все!

Мне стало еще больше не по себе. Кто-то пристально изучал левую, наименее защищенную сторону моей физиономии. Это была миссис Силсберн. Она подалась назад, когда я сердито взглянул на нее.

– Скажите, пожалуйста, это вы были Бадди Блэк? – спросила она, и по уважительной нотке в ее голосе мне показалось, что сейчас она протянет мне авторучку и маленький альбом для автографов в сафьяновом переплете. От этой мысли мне стало неловко, особенно потому, что был сорок второй год и прошло добрых десять лет после расцвета моей весьма прибыльной карьеры.

– Я спрашиваю только потому, что мой муж ни одного единственного разу не пропускал вашу передачу...

– А если хотите знать, – перебила ее невестина подружка, – для меня это была самая ненавистная радиопрограмма. Я таких вундеркиндов просто ненавижу. Если бы мой ребенок хоть раз...

Но конца этой фразы мы так и не услышали. Внезапно и решительно ее прервал самый пронзительный, самый оглушающий, самый фальшивый трубный вой в до мажоре, какой можно себе представить. Ручаюсь, что мы все разом подскочили в самом буквальном смысле слова. И тут показался духовой оркестр с барабанами, состоящий из сотни, а то и больше морских разведчиков, начисто лишенных слуха. С почти преступной развязностью они терзали национальный гимн «Звездное знамя». Миссис Силсберн сразу нашлась – она заткнула уши.

Казалось, уже целую вечность длится это невыразимый грохот. Только голос невестинной подружки смог бы его перекрыть, да, никто другой, пожалуй, не осмелился бы. А она осмелилась, и всем показалось, что она кричит нам что-то во весь голос бог знает откуда, из-под трибун стадиона «Янки».

– Я больше не могу! – крикнула она. – Уйдем отсюда, поищем телефон. Я должна позвонить Мюриель, сказать, что мы задержались, не то она там с ума сойдет!

Миссис Силсберн и я в это время смотрели, как наступает местный Армагеддон, но тут мы снова повернулись на наших откидных сиденьях, лицом к нашему вождю, а может быть, и спасителю.

– На Семьдесят девятой есть кафе Шрафта, – заорала она в лицо миссис Силсберн. – Пойдем выпьем содовой, я оттуда позвоню, там хоть вентиляция есть.

Миссис Силсберн восторженно закивала и губами изобразила слово «да».

– И вы тоже! – крикнула мне невестина подружка.

Помнится, я с необъяснимой, неожиданной для себя готовностью крикнул ей в ответ непривычное для меня слово:

– Чудесно!

(Мне до сих пор не ясно, почему она включила меня в список покидающих корабль. Может быть, ею руководила естественная любовь прирожденного вождя к порядку. Может, она чувствовала смутную, но настойчивую необходимость высадить на берег всех без исключения. Мое непонятно быстрое согласие на это приглашение можно объяснить куда проще. Хочется думать, что это был обыкновенный религиозный порыв. В некоторых буддийских монастырях секты Дзен есть нерушимое и, пожалуй, единственное непреложное правило поведения: если один монах крикнет другому: «Эй!», тот должен без размышлений отвечать «Эй!»)

Тут невестина подружка обернулась и впервые за все время заговорила с маленьким старичком. Я буду век ему благодарен за то, что он по-прежнему смотрел вперед, словно для него вокруг ничто ни на йоту не изменилось. И по-прежнему он двумя пальцами держал незажженную гаванскую сигару. Оттого ли, что он явно не замечал, какой страшный грохот издает проходящий оркестр, оттого ли, что нам заведомо была известна непреложная истина: всякий старик после восьмидесяти либо глух как пень, либо слышит совсем плохо, – невестина подружка, почти касаясь губами его уха, прокричала ему, вернее в него:

– Мы сейчас выходит из машины! Поищем телефон, может быть, выпьем чего-нибудь. Ходите с нами?

Старичок откликнулся мгновенно и просто неподражаемо: он взглянул на невестину подружку, потом на всех нас и расплылся в улыбке. Улыбка ничуть не стала менее ослепительной оттого, что в ней не было не малейшего смысла, да и оттого, что зубы у старичка были явно и откровенно вставные. Он снова вопросительно взглянул на невестину подружку, чудом сохраняя все ту же неугасимую улыбку. Вернее, он посмотрел на нее, как мне показалось, с надеждой, словно ожидая, что она или кто-то из нас тут же мило передаст ему корзину со всякими яствами.

– По-моему, душенька, он тебя не слышит! – крикнул лейтенант.

Его жена кивнула и снова поднесла губы, как мегафон, к самому уху старичка. Громовым голосом, достойным всяких похвал, она повторила приглашение – вместе с нами выйти из машины. И снова, по всей видимости, старичок выразил полнейшую готовность на что угодно – хоть пробежаться к реке и немножко поплавать. Но все же создавалось впечатление, что он не единого слова не слышал. И вдруг он подтвердил это. Озарив нас всех широчайшей улыбкой, он поднял руку с сигарой и одним пальцем многозначительно похлопал себя сначала по губам, потом по уху. Жест был такой, будто дело шло о первоклассной шутке, которой он решил с нами поделиться.

В эту минуту миссис Силсберн чуть не подпрыгнула рядом со мной, показывая, что она все поняла. Она схватила невестину подружку за розовый шелковый рукав и крикнула:

– Я знаю, кто он такой! Он глух и нем! Это глухонемой дядя отца Мюриель!

Губы невестинной подружки сложились буквой «о». Она резко повернулась к мужу и заорала:

– Есть у тебя карандаш с бумагой?

Я тронул ее рукав и крикнул, что у меня есть. Торопясь, как будто по неизвестной причине нам была дорога каждая секунда, я достал из внутреннего кармана куртки маленький блокнот и огрызок чернильного карандаша, недавно реквизированный из ящика стола в ротной канцелярии форта Беннинг.

Преувеличенно четким почерком я написал на листке: «Парад задерживает нас на неопределенное время. Мы хотим поискать телефон и выпить чего-нибудь холодного. Не угодно ли с нами?» И, сложив листок, передал его невестинной подружке. Она развернула его, прочла и передала маленькому старичку. Он тоже прочел, заулыбался, посмотрел на меня и усиленно закивал головой. На миг я решил, что это вполне красноречивый и полный ответ, но он вдруг помахал мне рукой, и я понял, что он просит дать ему блокнот и карандаш. Я подал блокнот, не глядя на невестину подружку, от которой волнами шло нетерпение. Старичок очень аккуратно пристроил блокнот и карандаш на коленях, на минуту застыл все с той же неослабевающей улыбкой, подняв карандаш и явно собираясь с мыслями. Карандаш стал очень неуверенно двигаться. В конце концов появилась аккуратная точка. Затем блокнот и карандаш были возвращены мне лично, в собственные руки, сопровождаемые исключительно сердечным и теплым кивком. Еще не совсем просохшие буквы изображали два слова: «Буду счастлив». Невестина подружка, прочтя это через мое плечо, издала звук, похожий на фыркание, но я сразу посмотрел в глаза великому писателю, пытаясь изобразить на своем лице, насколько все мы, его спутники, понимаем, что такое истинная поэма и как мы бесконечно ему благодарны.

Поодиночке, друг за другом, мы высадились из машины – с покинутого корабля, посреди Мэдисон-авеню, в море раскаленного, размякшего асфальта. Лейтенант на минуту задержался, чтобы сообщить водителю о бунте команды. Отлично помню, что оркестр все еще продолжал маршировать и грохот не стихал ни на миг.

Невестина подружка и миссис Силсберн возглавляли шествие к кафе Шрафта. Они маршировали рядом, почти как передовые разведчики по восточной стороне Мэдисон-авеню, в южном направлении. Окончив свой доклад водителю, лейтенант догнал их. Вернее, почти догнал. Он немножко отстал, чтобы незаметно вынуть бумажник и проверить, сколько у него с собой денег.

Мы с дядюшкой невестинного отца замыкали шествие. То ли он интуитивно чувствовал, что я ему друг, то ли просто потому, что я был владельцем блокнота и карандаша, но он как-то под-

тянулся, а не подошел ко мне, и мы зашагали вместе. Донышко его превосходного шелкового цилиндра едва достигало мне до плеча. Я пошел сравнительно медленно, принаравливаясь к его коротким шажкам. Через квартал-другой мы значительно отстали от всех. Но, кажется, нас это не особенно беспокоило. Помню, как мы иногда смотрели друг на друга с идиотским выражением радости и благодарности за компанию.

Когда мы с моим спутником дошли наконец до вращающейся двери кафе Шрафта на Семьдесят девятой улице, лейтенант, его жена и миссис Силсберн уже стояли там. Они ждали нас, как мне показалось, тесно сплоченным и довольно воинственно настроенным отрядом. Когда наша не по росту подобранная пара подошла, они оборвали разговор. Не так давно, в машине, когда гремел военный оркестр, какое-то общее неудобство, я бы сказал, общая беда, создало в нашей маленькой компании видимость дружеской связи, как бывает в группе туристов Кука, попавших под страшный ливень на развалинах Помпеи. Но когда мы с маленьким старичком подошли к дверям кафе, мы с беспощадной ясностью поняли, что ливень кончился.

Мы обменялись взглядами, словно узнав друг друга, но никак не обрадовавшись.

– Закрыто на ремонт, – сухо объявила невестина подружка, глядя на меня. Неофициально, но вполне отчетливо она снова дала мне понять, что я тут чужой, лишний, и в эту минуту без всякой особой причины я вдруг испытал такое одиночество, такую оторванность от всех, какой еще не чувствовал за весь день. И тут же – об этом стоит сказать – на меня с новой силой напал кашель. Я вынул носовой платок из кармана. Невестина подружка повернулась к своему мужу и миссис Силсберн.

– Где-то тут кафе «Лонгшан», – сказала она, – но где, не знаю.

– Я тоже не знаю, – сказала миссис Силсберн. Казалось, она сейчас заплачет. Пот просочился даже сквозь толстый слой грима на лбу и на верхней губе. Лево́й рукой она прижимала к себе черную лакированную сумку. Она держала ее, как любимую куклу, и сама походила на очень несчастную, неумело накрашенную, напудренную девочку, убежавшую из дому.

– Сейчас ни за какие деньги не достать такси, – уныло сказал лейтенант. Он тоже здорово полинял. Его залихватская фуражка героя-летчика казалась жестокой насмешкой над бедной, потной, отнюдь не лихой физиономией, и я припоминаю, что у меня возникло побуждение сдернуть эту фуражку у него с головы или хотя бы поправить ее, придать ей не такой нахальный излом, – побуждение, вполне родственное тому, какое испытываешь на детском празднике, где обязательно попадаете ужасно некрасивый малыш в бумажном колпаке, из-под которого вылезают то одно, а то и оба уха.

– О боже, что за день! – во всеуслышание объявила невестина подружка. Веночек из искусственных незабудок уже совсем сбился набок, и она вся взмокла, но мне показалось, что по-настоящему пострадала только самая, так сказать, незначительная принадлежность ее особы – букет из гардений. Она все еще рассеянно держала его в руке. Но он явно не выдержал испытания. – Что же нам делать? – спросила она с несвойственным ей отчаянием. – Не идти же туда пешком. Они живут чуть ли не около Ривердейла. Может, кто-нибудь посоветует?

Она посмотрела сперва на миссис Силсберн, потом на мужа и, наконец, как видно с отчаяния, на меня.

– У меня тут неподалеку квартира, – сказал я вдруг, очень волнуясь. – Всего в каком-нибудь квартале отсюда, не больше.

Помнится, что я сообщил эти сведения чересчур громким голосом. Может быть, я даже кричал, кто его знает.

– Это квартира моя и брата. Пока мы в армии, там живет наша сестра, но сейчас ее нет дома. Она служит в женском морском отряде и куда-то уехала. – Я посмотрел на невестину подружку, вернее, мимо нее. – Можете оттуда позвонить, если хотите, – сказал я, – и там хорошая система вентиляции. Можно остыть, передохнуть.

Несколько оправившись от потрясения, все трое, лейтенант, его жена и миссис Силсберн, устроили что-то вроде переговоров – правда, только глазами, но никаких видимых результатов не последовало.

Первой решила действовать невестина подружка. Напрасно она пыталась узнать по глазам

мнение остальных. Пришлось обратиться прямо ко мне.

– Вы сказали, там есть телефон? – спросила она.

– Да. Если сестра не велела его выключить, только вряд ли она это сделала.

– А почему мы знаем, что там нет вашего *братца*? – сказала невестина подружка.

В моем воспаленном мозгу такая мысль и возникнуть не могла.

– Нет, не думаю, – сказал я. – Конечно, всякое бывает, ведь квартира и его тоже, только не думаю, что он там, не может этого быть.

Невестина подружка уставилась на меня: она глядела очень пристально, но, как ни странно, довольно вежливо, – если ребенок не спускает с тебя глаз, это нельзя считать невежливостью. Потом, обернувшись к мужу и миссис Силсберн, она сказала:

– Пожалуй, пойдем. Оттуда хоть позвонить можно.

Они кивнули в знак согласия. Миссис Силсберн, та даже припомнила правила из учебника хорошего тона – как отвечать на приглашения у дверей кафе. Сквозь расплывающийся под солнцем грим мне навстречу пробилась слабенькая улыбочка вполне хорошего тона. Помнится, что я ей очень обрадовался.

– Ну, пошли, уйдем от этого солнца! – сказала наша руководительница. – А что делать с этим? – И, не дожидаясь ответа, она подошла к обочине и без всяких сантиментов вышвырнула увядший букет гардений в канавку.

– Ладно, веди нас, Макдуфф, – сказала она мне. – Пойдем за вами. Одно только скажу: лучше бы его там не было. Не то я убью этого ублюдка. – Она поглядела на миссис Силсберн. – Простите, что я так выразилась, но я не шучу.

Повинуясь приказу, я почти весело пошел вперед. Через минуту в воздухе, слева около меня, и довольно низко, материализовался шелковый цилиндр, и мой личный, неофициальный, но постоянный спутник заулыбался мне снизу. В первый миг мне даже показалось, что сейчас он сунет ручонку мне в руку.

Трое моих гостей и мой единственный друг ждали на площадке, пока я бегло осматривал квартиру.

Все окна были закрыты. Оба вентилятора были выключены, и, когда я вдохнул воздух, показалось, что я глубоко дышу, сидя в кармане старой меховой шубы. Тишину нарушало только прерывистое мурлыканье престарелого холодильника, купленного нами по случаю. Моя сестрица Бу-Бу по своей девичьей, военно-морской рассеянности забыла его выключить. По беспорядку в квартире сразу было видно, что ее занимала молодая морячка. Нарядный синий кителек мичмана вспомогательной женской службы валялся подкладкой вниз на кушетке. На низком столике перед кушеткой стояла полупустая коробка шоколада. Из всех оставшихся конфет, очевидно ради эксперимента, начинка была понемножку выдавлена. На письменном столе, в рамке, красовалась фотография весьма решительного юноши, которого я никогда раньше не видел. И все пепельницы в доме расцвели пышным цветом, до отказа забитые окурками в губной помаде и мятыми бумажными салфетками. Я не стал заходить на кухню, в спальню и в ванную, а только быстро открывал двери, проверяя, не спрятался ли где-нибудь Симор. Во-первых, я разомлел и ослаб. Во-вторых, мне было некогда – пришлось поднять шторы, включить вентиляционную систему, опорожнить переполненные пепельницы. А кроме того, вся остальная компания тут же ввалилась за мной следом.

– Да тут жарче, чем на улице! – сказала вместо приветствия невестина подружка, заходя в комнату.

– Сейчас, одну минутку, – сказал я. – Никак не включу этот вентилятор.

Кнопку включения заело, и я никак не мог с ней справиться.

Пока я, даже не сняв, как помнится, фуражки, возился с вентилятором, остальные подозрительно осматривали комнату. Я искоса поглядывал на них. Лейтенант подошел к письменному столу и уставился на три с лишним фута стены над столом, где мы с братом из сентиментальных побуждений с вызовом прикрепили множество блестящих фотографий, восемь на десять. Миссис Силсберн села, как и следовало ожидать, подумал я, в то единственное кресло, которое облюбовал для сна моя покойный бульдожка; подлокотники, обитые грязным вельветом, были

насквозь прослунены и прожеваны во время ночных его кошмаров. Дядюшка невестинного папы, мой верный друг, куда-то скрылся без следа. И невестина подружка тоже исчезла.

– Сейчас я приготовлю что-нибудь выпить, – сказал я растерянно, все еще возясь с кнопкой вентилятора.

– Я бы выпила чего-нибудь холодного, – произнес знакомый голос. Я повернулся и увидел, что она растянулась на кушетке, а потом и пропала из моего поля зрения. – Сейчас я буду звонить по вашему телефону, – предупредила она меня, – но в таком состоянии я и рта раскрыть не могу. Все пересохло. Даже язык высох.

С жужжанием заработал вентилятор, и я прошел на середину комнату между кушеткой и креслом, в котором сидела миссис Силсберн.

– Не знаю, что тут есть выпить, – сказал я, – я еще не смотрел в холодильник, но я думаю, что...

– Несите *что угодно*, – прервала меня с кушетки наша неутомимая ораторша, – лишь бы мокрое. И холодное.

Каблуки ее туфель лежали на рукаве сестриног кителя. Руки она скрестила на груди, под голову примостила диванную подушку.

– Не забудьте лед, если есть, – сказала она и прикрыла глаза. Я бросил на нее короткий, но убийственный взгляд, потом нагнулся и как можно тактичнее вытащил китель Бу-Бу у нее из-под ног. Я уже хотел выйти по своим хозяйским обязанностям, но только я шагнул к дверям, со мной заговорил лейтенант, стоявший у письменного стола.

– Где достали картинки? – спросил он.

Я подошел к нему. На голове у меня все еще сидела огромная армейская фуражка с нелепым козырьком. Я как-то не догадался ее снять. Я встал рядом с лейтенантом, хотя и чуть позади него, и посмотрел на фотографии. Я объяснил, что по большей части это фотографии детей, выступавших в программе «Умный ребенок» в те дни, когда мы с Симором участвовали в этой передаче.

Лейтенант взглянул на меня:

– А что это за передача? Никогда не слыхал. Детская передача, что ли? Ответы на вопросы?

Я не ошибся: в его тон незаметно и настойчиво вкрался легкий оттенок армейского превосходства. И он слегка покосился на мою фуражку.

Я снял фуражку и сказал:

– Да нет, не совсем. – Во мне вдруг заговорила фамильная гордость: – Так было, пока мой брат Симор не принимал участия. И все стало примерно по-старому, когда он ушел с радио. Но при нем все было иначе, вся программа. Он вел ее как беседу ребят за круглым столом.

Лейтенант поглядел на меня с несколько повышенным интересом.

– А вы тоже участвовали? – спросил он.

– Да.

С другого конца комнаты из невидимого пыльного убежища на кушетке раздался голос его жены:

– Посмотрела бы я, как *моего* ребенка заставили бы участвовать в этом идиотизме, – сказала она, – или играть на сцене. Вообще выступать. Я бы скорее *умерла*, чем допустила, чтобы мой ребенок *выставлялся* перед публикой. У таких вся жизнь бывает исковеркана. Уж одно то, что они вечно на виду, вечно их рекламируют – да вы спросите любого психиатра. Разве тут может быть *нормальное* детство, я вас спрашиваю?

Ее голова, с веночком набекрень, вдруг вынырнула на свет божий. Словно отрубленная, она выскочила из-за спинки кушетки и уставилась на нас с лейтенантом.

– Вот и ваш братец такой, – сказала голова. – Если у человека детство начисто изуродовано, он никогда не становится по-настоящему взрослым. Он никогда не научится приспосабливаться к нормальным людям, к нормальной жизни. Миссис Феддер именно так и говорила там, в чьей-то дурацкой спальне. Именно так. Ваш братец никогда не научится приспосабливаться к другим людям. Очевидно, он только и умеет доводить людей до того, что им приходится накладывать швы на физиономии. Он абсолютно не приспособлен ни к браку, ни вообще к сколько-

нибудь нормальной жизни. Миссис Феддер *именно так* и говорила. – Тут голова сверкнула глазами на лейтенанта: – Права я, Боб? Говорила она или нет? Скажи правду!

Но тут подал голос не лейтенант, а я. У меня пересохло во рту, в паху прошиб пот. Я сказал, что мне в высокой степени наплевать, что миссис Феддер натрепала про Симора. И вообще, что про него треплют всякие профессиональные дилетантки или любительницы, вообще всякие сукины дочери. Я сказал, что с десяти лет Симора обсуждали все, от дипломированных Мыслителей и до Интеллектуальных служителей мужских уборных по всем штатам. Я сказал, что все это было бы законно, если бы Симор задирал нос оттого, что у него способности выше среднего. Но он ненавидел выставяться. Он и на эти выступления по средам ходил, как на собственные похороны. Едет с тобой в автобусе или в метро и молчит как проклятый, клянусь богом. Я сказал, что вся эта дешевка – разные критики и фельетонисты – только и знали, что похлопывать его по плечу, но ни один черт так и не понял, какой он на самом деле. А он поэт, черт их подери. Понимаете, настоящий *поэт*. Да если бы он ни строчки не написал, так и то он бы всех вас одной левой перекрыл, только бы захотел.

Тут я, слава богу, остановился. Сердце у меня колотилось, как не знаю что, и, будучи неврастеником, я со страхом подумал что именно «из таких речей рождаются инфаркты». До сих пор я понятия не имею, как мои гости реагировали на эту вспышку, на поток жестоких обвинений, которые я на них вылил. Первый звук извне, заставивший меня очнуться, был общепонятный шум спускаемой воды. Он шел с другого конца квартиры. Я внезапно осмотрел комнату, взглянул на моих гостей, мимо них, даже сквозь них.

– А где старик? – спросил я. – Где старичок? – Голос у меня стал ангельски-кротким.

Как ни странно, ответил мне лейтенант, а не его жена.

– По-моему, он в уборной, – сказал он. Он заявил это с особой прямоотой, как бы подчеркивая, что принадлежит к тем людям, которые без всякого стеснения говорят о гигиенических функция организма.

– А-а, – сказал я. В некоторой растерянности я обвел глазами комнату. Не помню, да и не хочу вспоминать, старался ли я нарочно не замечать грозных взглядов невестиной подружки или нет. На одном из стульев я обнаружил шелковый цилиндр дяди невестиного отца. Я чуть было не сказал ему вслух: «Привет!»

– Сейчас принесу выпить чего-нибудь холодного, – сказал я. – Одну минуту.

– Можно позвонить от вас по телефону? – вдруг спросила невестина подружка, когда я проходил мимо кушетки. И она опустила ноги на пол.

– Да, да, конечно, – сказал я. Тут же перевел взгляд на миссис Силсберн и лейтенанта. – Пожалуй, сделаю всем по «Тому Коллинзу», конечно, если найду лимоны или апельсины. Подходит?

Ответ лейтенанта удивил меня неожиданно компанейским тоном.

– Давай! Давай! – сказал он, потирая руки, как заправский пьянчуга.

Миссис Силсберн перестала рассматривать фотографии над столом, чтобы дать мне последние указания:

– Для меня, пожалуйста, только самую чуточку джина в питье, самую чуточку, пожалуйста! Одну капельку, если вам не трудно!

Как видно, за то короткое время, что мы провели в квартире, она уже немного отошла. По-видимому, тут помогло и то, что она стояла почти под самым вентилятором, который я включил, и на нее шел прохладный воздух. Я пообещал сделать питье, как она просила, и оставил ее у фотографий мелких «знаменитостей», выступавших по радио в тридцатых, даже в конце двадцатых годов, среди ушедших теней нашего с Симором отрочества. Лейтенант же не нуждался в моем обществе: заложив руки за спину, он с видом одинокого знатока-любителя уже направлялся к книжным полкам. Невестина подружка пошла за мной, громко зевнув во весь рот, и даже не сочла нужным ни подавить, ни прикрыть свой зевок.

А когда мы с ней подходили к спальне – телефон стоял там, – навстречу нам из дальнего конца коридора показался дядюшка невестиного отца. На лице его было то же суровое спокойствие, которое так обмануло меня в машине, но, приблизившись к нам, он сразу переменял мас-

ку: теперь его мимика выражала наивысшую приветливость и радость. Я почувствовал, что сам расплываюсь до ушей и киваю ему в ответ, как болванчик. Видно было, что он только что расчесал свои жиденькие седины, казалось, что он даже вымыл голову, найдя где-то в глубине квартиры карликовую парикмахерскую. Мы разминулись, но что-то заставило меня оглянуться, и я увидел, как он мне машет ручкой, таким широким жестом: мол, доброго пути, возвращайся поскорее! Мне стало весело до чертиков.

– Что это он? Спятил? – сказала невестина подружка. Я выразил надежду, что она права, и открыл перед ней двери спальни.

Она тяжело плюхнулась на одну из кроватей – кстати, это была кровать Симора. Телефон стоял на ночном столике посередине. Я сказал, что сейчас принесу ей выпить.

– Не беспокойтесь, я сама приду, – сказала она. – И закройте, пожалуйста, двери, если не возражаете... Я не потому, а просто не могу говорить по телефону при открытых дверях.

Я сказал, что этого я тоже не люблю, и собрался уйти. Но, проходя мимо кровати, я увидел на диванчике у окна парусиновый саквояжик. В первую минуту я подумал, что это мой собственный багаж, неизвестно как добравшийся своим ходом на квартиру с Пенсильванского вокзала. Потом я подумал, что его оставила Бу-Бу. Я подошел к саквояжику. «Молния» была расстегнута, и с одного взгляда на то, что лежало сверху, я понял, кто его законный владелец. Вглядевшись пристальней, я увидел поверх двух глаженных форменных рубашек то, что ни в каком случае нельзя было оставить в одной комнате с невестинной подружкой. Я вынул эту вещь, сунул ее под мышку, по-братски помахал рукой невестинной подружке, уже вложившей палец в первую цифру на диске в ожидании, когда я наконец уберусь, и закрыл за собой двери.

Я немного постоял за дверью в благословенном одиночестве, обдумывая, что же мне делать с дневником Симора, который, спешу сказать и бы предметом, обнаруженным в саквояжике. Первая конструктивная мысль была – надо его спрятать, пока не уйдут гости. Потом мне показалось, что правильнее отнести дневник в ванную и спрятать в корзину с грязным бельем. Однако серьезно обмозговав эту мысль, я решил отнести дневник в ванную, там почитать его, а уж *потом* спрятать в корзину с бельем.

Весь этот день, видит бог, был не только днем каких-то внезапных предзнаменований и символических явлений, но он был весь построен на широчайшем использовании письменности как средства общения. Ты прыгал в переполненную машину, а свадьба уже окольными путями позаботилась о том, чтобы у тебя нашелся блокнот и карандаш на тот случай, если один из спутников окажется глухонемым. Ты прокрадывался в ванную комнату и сразу смотрел, не появились ли высоко над раковиной какие-нибудь слегка загадочные или же ясные письма.

Много лет подряд все наше многочисленное семейство – семь человек детей при одной ванной комнате – пользовалось немного липким, но очень удобным способом общения – писать друг другу на зеркале аптечки мокрым обмылком. Обычно в нашей переписке содержались весьма выразительные поучения, а иногда и неприкрытые угрозы: «Бу-Бу, после ванны не смей швырять мочалку на пол. Целую. Симор». «Уолт, твоя очередь гулять с Зю и Фр. Я гулял вчера. Угадай – кто». «В среду – годовщина и свадьбы. Не ходи в кино, не торчи в студии после передачи, не нарвись на штраф. Бадди, это относится и к тебе». «Мама жаловалась, что Зуи чуть не съел все слабительное. Не оставляй всякие вредности на раковине, он может дотянуться и все съесть».

Это примеры из нашего детства, но и много позже, когда мы с Симором, во имя независимости, что ли, отпочковались и наняли отдельную квартиру, мы с ним только номинально отrekliлись от старых семейных обычаев. Я хочу сказать, что обмылков мы не выбрасывали.

Когда я забрался в ванную с дневником Симора под мышкой и тщательно запер за собой двери, я тут же увидел послание на зеркале. Но почерк был не Симора, это явно писала моя сестрица Бу-Бу. А почерк у нее был страшно мелкий, едва разборчивый, все равно – писала она обмылком или чем-нибудь еще. И тут она ухитрилась уместить на зеркале целое послание: «Выше стропила, плотники! Входит жених, подобный Арею, выше самых высоких мужей. Привет. Некто Сафо, бывший сценарист киностудии „Элизиум“. Будь счастлив, счастлив, счастлив со своей красавицей Мюриель. Это приказ. По рангу я всех вас выше».

Надо заметить, что «киносценарист», упомянутый в тексте, был любимым автором – в разное время и в разной очередности – всех юных членов нашего семейства главным образом из-за неограниченного влияния Симора в вопросах поэзии на всех нас. Я читал и перечитывал цитату, потом сел на край ванны и открыл дневник Симора.

Дальше идет точная копия тех страниц из дневника Симора, которые я прочел, сидя на краю ванны. Мне кажется что можно опустить день и число. Достаточно сказать, что все записи, по-моему, сделаны в форте Монмаут в конце 1941 года и в начале 1942 года, за несколько месяцев до того, как был назначен день свадьбы.

"Во время вечерней проверки было очень холодно и все-таки в одном только нашем взводе шестерым стало дурно, пока оркестр без конца играл «Звездное знамя». Должно быть, человеку с нормальным кровообращением непереносимо стоять в неестественной позе по команде «Смирно!», особенно если держишь винтовку на караул. У меня, наверно, нет ни кровообращения, ни пульса. В неподвижности я как дома. Темп «Звездного знамени» созвучен мне в высшей степени. Для меня это ритм романтического вальса.

После проверки получили увольнительные до полуночи. В семь часов встретился с Мюриель в отеле «Билтмор». Две рюмочки, два буфетных бутерброда с рыбой. Потом ей захотелось посмотреть какой-то фильм с участием Грир Гарсон. Смотрел на нее в темноте, когда самолет сына Грир Гарсон не вернулся на базу. Рот полуоткрыт. Поглощена, встревожена. Полное отождествление себя с этой метро-голдвин-майеровской трагедией. Мне было и радостно, и жутко. Как я люблю ее, как мне нужно ее бесхитростное сердце. Она взглянула на меня, когда дети в фильме принесли матери котенка. М. восхищалась котенком, хотела, чтобы я тоже восхищался им. Даже в темноте я чувствовал ее обычную отчужденность, это всегда так, когда я не могу беспрекословно восхищаться тем же, чем она. Потом, когда мы что-то пили в буфете на вокзале, она спросила меня: «Правда, котенок – прелесть?» Она уже больше не говорит «чудненький». И когда это я успел так напугать ее, что она изменила своей обычной лексике? А я, педант несчастный, стал объяснять, как Р.-Г. Блайтс определяет что такое сентиментальность: мы сентиментальны, когда уделяем какому-то существу больше нежности, чем ему уделил господь бог. И добавил (поучительно?), что бог, несомненно, любит котят, но, по всей вероятности, без калош на лапках, как в цветных фильмах. Эту художественную деталь он предоставляет сценаристам. М. подумала, как будто согласилась со мной, но ей эта «мудрость» была не очень-то по душе. Она сидела, помешивая ложечкой питье, и чувствовала себя отчужденной. Она тревожится, когда ее любовь ко мне то приходит, то уходит, то появляется, то исчезает. Она сомневается в ее реальности просто потому, что эта любовь не всегда весела и приятна, как котенок. Один бог знает, как мне это грустно. Как человек ухитряется словами обесценить все на свете".

"Обедал сегодня у Феддеров. Очень вкусно. Телятина, пюре, фасоль отличный свежий салат с уксусом и оливковым маслом. Сладкое Мюриель приготовила сама: что-то вроде пломбира со сливками и сверху малина. У меня слезы выступили на глазах. (Сайге пишет: «Не знаю почему? \ Но благодарность \ Всегда слезами светлыми течет».) Около меня на стол поставили бутылку кетчупа. Видно, Мюриель рассказала миссис Феддер, что я все поливаю кетчупом. Я готов отдать многое, лишь бы подслушать как Мюриель воинственно заявляет своей маме, что да, он даже зеленый горошек поливает кетчупом. Девочка моя дорогая...

После обеда миссис Феддер заставила нас слушать ту самую радиопередачу. Ее энтузиазм, ее увлечение этими передачами, особенно тоска по тем дням, когда выступали мы с Бадди, вызывает во мне чувство неловкости. Сегодня вечером программу передавали с какой-то морской базы, чуть-ли не из Сан-Диего. Слишком много педантичных вопросов и ответов. У Фрэнни голос насморочный. Зуи слегка рассеян, но блистателен. Конферансье заставил их говорить про жилищное строительство, и маленькая дочка Берков сказала, что она ненавидит одинаковые дома – она говорила про те длинные ряды стандартных домиков, какие строят по плану. Зуи сказал, что они «очень милые». Он сказал, что было бы очень мило прийти домой и оказаться не в том домике. И по ошибке пообедать не с теми людьми, и спать не в той кровати, и утром со всеми попрощаться, думая, что это твое семейство. Он сказал, что ему даже хотелось бы, чтобы все

люди на свете выглядели совершенно одинаково. Тогда каждый думал бы, что вон идет его жена, или его мама, или папа, и люди все время обнимались бы и целовались без конца, и это было бы «очень мило».

Весь вечер я был невыносимо счастлив. Когда мы сидели в гостиной, я восхищался простотой отношений Мюриель с матерью. Это так прекрасно. Они знают слабости друг друга, в особенности в светской беседе, и глазами подают друг другу знаки. Миссис Феддер предостерегает Мюриель взглядом, если она в разговоре проявляет не тот «литературный» вкус, а Мюриель следит, чтобы мать не слишком ударялась в многословие и пышный слог. Споры не грозят перейти в постоянный разлад, потому что они Мать и Дочь. Это такое потрясающее, такое прекрасное явление. Но бывают минуты, когда я сижу словно околдованный и вдруг начинаю мечтать, чтобы мистер Феддер тоже принял участие в разговоре. Подчас мне это просто необходимо. А то, когда я вхожу в их дом, мне, по правде сказать, иногда кажется, что я попал в какой-то светский женский монастырь на две персоны, где царит вечный беспорядок. Иногда перед уходом у меня появляется такое чувство, будто М. и ее мама напихали мне полные карманы всяких флакончиков, тюбиков с губной помадой, румяна, всяких сеточек для волос, кремов от пота и так далее. Я чувствую себя бесконечно им обязанным, но не знаю, что делать с этими воображаемыми дарами".

«Сегодня нам не сразу выдали увольнительные после вечерней поверки, потому что кто-то выронил винтовку, когда нас инспектировал приезжий британский генерал. Я пропустил поезд 5.52 и на час опоздал на свидание с Мюриель. Обед в китайском ресторане на Пяťдесят восьмой улице. Мюриель раздражена, весь обед чуть не плачет – видно, по-настоящему напугана и расстроена. Ее мать считает, что я шизоидный тип. Очевидно, она говорила обо мне со своим психоаналитиком, и он с ней полностью согласен. Миссис Феддер просила Мюриель деликатно осведомиться, нет ли в нашей семье психически больных. Думаю, что Мюриель была настолько наивна, что рассказала ей, откуда у меня шрамы на руках. Бедная моя, славная крошка. Однако из слов Мюриель я понял, что не это беспокоит ее мать, а совсем другое. Особенно три вещи. Одну я упоминать не стану – это даже рассказать невозможно. Другая – это то, что во мне, безусловно, есть какая-то „ненормальность“, раз я еще не соблазнил Мюриель. И наконец, третье: уже несколько дней миссис Феддер преследуют мои слова, что я хотел бы быть дохлой кошкой. На прошлой неделе она спросила меня за обедом, что я собираюсь делать после военной службы. Собираюсь ли я преподавать в том же колледже? Вернусь ли я к преподавательской работе вообще? Не думаю ли я вернуться на радио хотя бы в роли комментатора? Я ответил, что сейчас мне кажется, будто войне никогда не будет конца, и что я знаю только одно: если наступит мир, я хочу быть дохлой кошкой. Миссис Феддер решила, что это я сострил. Тонко сострил. По словам Мюриель, она меня считает тонкой штучкой. Она приняла мои серьезнейшие слова за одну их тех шуток, на которые надо ответить легким музыкальным смехом. А меня этот смех немного сбил с толку, и я забыл ей объяснить, что я хотел сказать. Только сегодня вечером я объяснил Мюриель, что в буддийской легенде секты Дзен рассказывается, как одного учителя спросили, что самое ценное на свете, и тот ответил – дохлая кошка, потому что ей цены нет. М. успокоилась, но я видел, что ей не терпится побежать домой и уверить мать в полной безопасности моих слов. Она подвезла меня на такси к вокзалу. Она была такая милая, настроение у нее стало много лучше. Она пыталась научить меня улыбаться и растягивала мне губы пальцами. Какой у нее чудесный смех! О господи, до чего я счастлив с ней! Только бы она была так же счастлива со мной. Я все время стараюсь ее позабавить, кажется, ей нравится мое лицо, и руки, и затылок, и она с гордостью рассказывает подружкам, что обручена с Билли Блэком, с тем самым, который столько лет выступал в программе „Умный ребенок“. По-моему, ее ко мне влечет и материнское, и чисто женское чувство. Но в общем дать ей счастье я, наверное, не смогу. Господи, господи, помоги мне! Единственное, довольно грустное утешение для меня в том, что моя любимая безоговорочно и навеки влюблена в самый институт брака. В ней живет примитивный инстинкт вечной игры в свое гнездышко. То, чего она ждет от брака, и нелепо, и трогательно. Она хотела бы подойти к клерку в каком-нибудь роскошном отеле, вся загорелая, красивая, и спросить, взял ли ее супруг почту. Ей хочется покупать занавески. Ей хочется покупать себе платья „для дамы в ин-

тересном положении“. Ей хочется, сознает она это или нет, уйти из родительского дома, несмотря на привязанность к матери. Ей хочется иметь много детей – красивых детей, похожих на нее, а не на меня. И еще я чувствую, что ей хочется каждый год открывать свою коробку с елочными украшениями, а не материнскую».

"Сегодня получил удивительно смешное письмо от Бадди, он только что отбыл наряд по камбузу. Пишу о Мюриель и всегда думаю о нем. Он презирал бы ее за то, из-за чего ей хочется выйти замуж, я про это уже писал. Но разве за это можно презирать? В каком-то отношении, вероятно, да, но мне все это кажется таким человеческим, таким прекрасным, что даже сейчас я не могу писать без глубокого, глубокого волнения. Бадди отнесся бы с неодобрением и к матери Мюриель. Она ужасно раздражает своей безапелляционностью, а Бадди таких женщин не выносит. Не знаю, понял ли бы он, какая она на самом деле. Она человек, навеки лишенный всякого понимания, всякого вкуса к главному потоку поэзии, который пронизывает все в мире. Неизвестно, зачем такие живут на свете. А она живет, забегает в гастрономический магазин, ходит к своему психоаналитику, каждый вечер проглатывает роман, затягивается в корсет, заботится о здоровье Мюриель, о ее благополучии. Я люблю Мюриель. Я считаю ее бесконечно мужественной.

"Вся рота сегодня без отпуска. Целый час стоял в очереди к телефону канцелярии, чтобы позвонить Мюриель. Она как будто обрадовалась, что я не приеду сегодня вечером. Меня это забавляет и восхищает. Всякая другая девушка, если бы даже она на самом деле хотела провести вечер без своего жениха, непременно выразила бы по телефону хотя бы сожаление. А когда я сказал Мюриель, что не могут приехать, она только протянула: «А-а!» Как я боготворю эту ее простоту, ее невероятную честность! Как я надеюсь на нее!

"3.30 утра. Сажу в дежурке. Не мог заснуть. Накинул шинель на пижаму и пришел сюда. Дежурит Эл Аспеци. Он спит на полу. Могу сидеть тут, если буду вместо него подходить к телефону. Ну и вечерок! К обеду явился психоаналитик миссис Феддер, допрашивал меня с перерывами до половины двенадцатого. Иногда очень хитро, очень неглупо. Раза два я ему даже поддался. По-видимому, он старый поклонник, мой и Бадди. Кажется, он лично и профессионально заинтересовался, почему меня в шестнадцать лет сняли с программы. Он сам слышал передачу о Линкольне, но у него создалось впечатление, будто я сказал в эфир, что геттисбергская речь Линкольна «вредна для детей». Это неправда. Я ему объяснил, что я сказал, что детям вредно заучивать эту речь наизусть в школе. У него еще создалось впечатление, будто я сказал, что это нечестная речь. Я ему объяснил, что под Геттисбергом было убито и ранено 51 112 человек и что если уж кому-то пришлось выступать в годовщину этого события, так он должен был выйти, погрозыть кулаком всем собравшимся и уйти, конечно, если оратор до конца честный человек. Он не возражал мне, но как будто решил, что у меня какой-то комплекс стремления к совершенству. Он много и вполне умно говорил о ценности простой, непритязательной жизни, о том, как надо принимать и свои, и чужие слабости. Я с ним согласен, но только теоретически. Я сам буду защищать всяческую терпимость до конца дней на том основании, что она залог здоровья, залог какого-то очень реального, завидного счастья. В чистом виде это и есть путь Дао – несомненной, самый высокий путь. Но человеку взыскательному для достижения таких высот надо было бы отречься от поэзии, уйти за поэзию. Потому что он никак не мог бы научиться или заставить себя отвлеченно *любить* плохую поэзию, уж не говорю – равнять ее с хорошей. Ему пришлось бы совсем отказаться от поэзии. И я сказал, что сделать это очень нелегко. Доктор Симс сказал, что я слишком резко ставлю вопрос – так, по его словам, может говорить только человек, ищущий совершенства во всем. А разве я это отрицаю?

Должно быть, миссис Феддер с тревогой рассказала ему, откуда у Шарлотты девять швов. Наверно, я необдуманно говорил с Мюриель про эти давно минувшие дела. Она тут же, по горячему следу, все выкладывает матери. Без сомнения, я должен был бы протестовать, но не могу. М., бедняжка, и меня слышит только тогда, когда все слышит ее мама. Но я не собрался переже-

вывать историю про Шарлоттины швы с мистером Симсом. Во всяком случае, не за рюмкой виски".

"Сегодня на вокзале я более или менее твердо обещал Мюриель, что обращусь на днях к психоаналитику. Симс говорил, что у нас на базе есть отличный врач. Очевидно, они с миссис Феддер не раз устраивали конференцию на эту тему. И почему это меня не злит? А вот не злит, и все. Очень странно. Наоборот, это меня как-то греет, неизвестно почему. Даже к традиционным тещам из юмористических журналов я чувствую смутную симпатию. Во всяком случае, меня не убудет, если я пойду к психоаналитику. К тому же тут, в армии, это бесплатно. М. любит меня, но никогда она не почувствует ко мне настоящую близость, никогда не будет со мной своей, *домашней*, легкомысленной, пока меня слегка не прочистят.

Но если я когда-нибудь и обращусь к психоаналитику, так дай бог, чтобы он заранее пригласил на консультацию дерматолога. Специалиста по болезням рук. У меня на руках остаются следы от прикосновения к некоторым людям. Однажды в парке, когда мы еще возили Фрэнни в колясочке, я положил руку на ее пушистое темечко и, видно, продержал слишком долго. И еще раз, когда я сидел с Зуи в кино на Семьдесят второй улице и там шел страшный фильм. Зуи было лет семь, и он спрятался под стул, чтобы не видеть какую-то жуткую сцену. Я положил руку ему на голову. От некоторых голов, от волос определенного цвета, определенной фактуры у меня навсегда остаются следы. И не только от волос. Один раз Шарлотта убежала от меня – это было около студии, – и я схватил ее за платице, чтобы она не убегала, не уходила от меня. Платице было светло-желтое, ситцевое, мне оно понравилось, потому что было ей сшито на вырост. И до сих пор у меня на правой ладони осталось светло-желтое пятно. Господи, если я и вправду какой-то клинический случай, то, наверно, я параноик наоборот. Я подозреваю, что люди вступают в сговор, чтобы сделать меня счастливым".

Помню, что я закрывал дневник, даже захлопнул его на слове «счастливым». Некоторое время я сидел, сунув дневник под мышку, пока не ощутил некоторое неудобство от долгого сидения на краю ванны. Я встал такой разгоряченный, словно вылез из ванны, а не просто посидел на ней. Я подошел к корзине с грязным бельем, поднял крышку и почти со злобой буквально швырнул дневник Симора в простыни и наволочки, лежавшие на самом дне. Потом, за отсутствием более конструктивных мыслей, я снова сел на край ванны. Минуту-другую я смотрел на зеркало аптечки, перечитывал послание Бу-Бу, потом встал и, выходя из ванной, так хлопнул дверью, будто можно было силой закрыть это помещение на веки веков.

Следующим этапом была кухня. К счастью, двери оттуда выходили в коридор, так что можно было попасть на кухню, не проходя мимо гостей. Пробравшись туда и закрыв двери, я снял куртку, то есть гимнастерку, и бросил ее на полированный столик. Казалось, вся моя энергия ушла на снятие куртки, и я постоял в одной рубашке, отдыхая перед геркулесовым подвигом приготовления коктейлей. Потом резким движением, словно за мной кто-то следил сквозь невидимый глазок в стене, я открыл шкаф и холодильник в поисках ингредиентов для коктейля «Том Коллинз». Все оказалось под рукой, вместо лимонов нашлись апельсины, и вскоре у меня было готов целый кувшин довольно приторного питья. Я взял из шкафа пять стаканов и стал искать поднос. А искать поднос – дело сложное, и я так завожился, что под конец уже с еле слышными тихими стонами открывал и закрывал всякие шкафы и шкафчики.

Но в тот момент, как я уже в куртке, неся поднос с кувшином и стаканами, выходил из кухни, над моей головой вдруг словно вспыхнула воображаемая электрическая лампочка – так на карикатурах изображают, что персонажу пришла в голову блестящая мысль. Я поставил поднос на пол. Я повернулся к шкафчику с напитками и взял початую бутылку виски. Я взял стакан и налил себе, пожалуй нечаянно, по крайней мере, пальца на четыре этого виски. Бросив на стакан молниеносный, хотя и укоризненный взгляд, я, как истинный прожженный герой ковбойского фильма, одним махом опрокинул стакан. Скажу прямо, что об этом деле я до сих пор без содрогания вспомнить не могу. Конечно, мне было всего двадцать три года, и я поступил так, как в данных условиях поступил бы любой другой здоровый балбес двадцати трех лет. Но суть вовсе

не в этом. Суть в том, что я, как говорится, *непьющий*. От одной унции виски меня либо начинает выворачивать наизнанку, либо я начинаю искать еретиков среди присутствующих. Бывало, что после двух унций я сваливался в заперство.

Но этот день был, выражаясь крайне мягко, не совсем обычным, и я помню, что когда я взял поднос и стал выходить из кухни, я никакой внезапной метаморфозы в себе не заметил. Казалось только, что в желудке данного субъекта начинается сверхъестественная генерация тепла, и все.

Когда я внес поднос в комнату, я не заметил никаких особых изменений и в поведении гостей, кроме ободряющего факта, что дядюшка невестиного отца присоединился к ним. Он утонул в глубоком кресле, когда-то облюбованном моим покойным бульдогом. Его маленькие ножки были скрещены, волосы прилизаны, жирное пятно на лацкане также заметно, и – чудо из чудес! – *его сигара дымилась*. Мы приветствовали друг друга еще более пылко, словно наши периодические расставания были слишком долгими, и терпеть их никакого смысла нет.

Лейтенант все еще стоял у книжной полки. Он перелистывал какую-то книжку и, по видимому, был совершенно поглощен ею. (Я так и не узнал, что это была за книга.) Миссис Силсберн уже явно пришла в себя, вид у нее был свежий, а толстый слой грима нанесен заново. Она сидела на кушетке, отодвинувшись в самый угол от дядюшки невестиного отца. Она перелистывала журнал.

– О, какая прелесть! – сказала она «гостевым» голосом, увидев поднос, который я только что поставил на столик. Она улыбнулась мне со светской любезностью.

– Я налил только чуточку джина, – соврал я, размешивая питье в кувшине.

– Тут стало так прохладно, так чудесно, – сказала миссис Силсберн. – Кстати, можно вам задать один вопрос?

И она отложила журнал, встала и, обойдя кушетку, подошла к письменному столу. Подняв руку, она коснулась кончиком пальца одной из фотографий. – Кто этот очаровательный ребенок? – спросила она.

Под мерным непрерывным воздействием кондиционированного воздуха, в свеженаложенном гриме она уже больше не походила на измученного заблудившегося ребенка, каким она казалась под жарким солнцем у дверей кафе на Семьдесят девятой улице. Теперь она разговаривала со мной с тем сдержанным изяществом, которое было ей свойственно, когда мы сели в машину около дома невестиной бабушки, тогда она еще спросила, не я ли Дикки Бриганза.

Я перестал мешать коктейль и подошел к ней. Она уперлась лакированным ноготком и в фотографию, вернее, в девочку из группы ребят, выступавших по радио в 1929 году. Мы, всемером, сидели у круглого стола; перед каждым стоял микрофон.

– В жизни не видела такого очаровательного ребенка, – сказала миссис Силсберн, – знаете, на кого она немножко похожа? Особенно глаза и ротик.

Именно в эту минуту виски – не все, а примерно с один палец – уже начало на меня действовать, и я чуть не ответил: «На Дикки Бриганзу», но инстинктивная осторожность взяла верх. Я кивнул головой и назвал имя той самой киноактрисы, о которой невестина подруга еще раньше упоминала в связи с девятью хирургическими швами.

Миссис Силсберн удивленно посмотрела на меня:

– Разве она тоже участвовала в программе «Умный ребенок?»

– Ну как же. Два года подряд. Господи боже, конечно участвовала. Только под настоящей своей фамилией. Шарлотта Мэйхью.

Теперь и лейтенант стоял позади меня, справа, и тоже смотрел на фотографию. Услышав театральный псевдоним Шарлотты, он отошел от книжной полки – взглянуть на фотографию.

– Но я не знала, что она в детстве выступала по радио! – сказала миссис Силсберн. – Совершенно не знала! Неужели она и в детстве была так талантлива?

– Нет, она больше шалила. Но пела не хуже, чем сейчас. И потом она удивительно умела подбадривать остальных. Обычно она сидела рядом с моим братом, с Симором, у стола с микрофонами, и как только ей нравилась какая-нибудь его реплика, она наступала ему на ногу. Вроде как пожимают руку, только она пожимала ногу.

Во время этого краткого доклада я опирался на спинку стула, стоявшего у письменного стола. И вдруг мои руки соскользнули – так иногда соскальзывает локоть, опирающийся на стол или на стойку в баре. Я потерял было равновесие, но сразу выпрямился, и ни миссис Силсберн, ни лейтенант ничего не заметили. Я сложил руки на груди.

– Случалось, что в те вечера, когда Симор был особенно в форме, он даже шел домой прихрамывая. Честное слово! Ведь Шарлотта не просто пожимала его ногу, она наступала ему на пальцы изо всей силы. А ему хоть бы что. Он любил, когда ему наступали на ноги. Он любил шаловливых девчонок.

– Ах, как интересно! – сказала миссис Силсберн. – Но я понятия не имела, что она тоже участвовала в радиопередачах.

– Это Симор ее втянул, – сказал я. – Она дочка остеопата, жили они в нашем доме, на Риверсайд-Драйв. – Я снова оперся на спинку стула и всей тяжестью навалился на нее отчасти для сохранения равновесия, отчасти чтобы принять позу старого мечтателя у садовой ограды. Звук моего голоса был удивительно приятен мне самому.

– Мы как-то играли в мячик... Вам интересно послушать?

– Да! – сказала миссис Силсберн.

– Как-то после школы мы с Симором бросали мяч об стенку дома, и вдруг кто-то – потом оказалось, что это была Шарлотта, – стал кидать в нас с двенадцатого этажа мраморными шариками. Так мы и познакомились. На той же неделе мы привели ее на радио. Мы даже не знали, что она умеет петь. Нам просто понравился ее прекрасный нью-йоркский выговор. У нее было произношение обитателей Дикман-стрит.

Миссис Силсберн засмеялась тем музыкальным смехом, который напоевал убивает любого чуткого рассказчика, и трезвого, как стеклышко, и не совсем трезвого. Очевидно, она только и ждала, чтобы я кончил, – ей не терпелось задать лейтенанту мучивший ее вопрос.

– Скажите, на кого она похожа? – спросила она настойчиво. – Особенно рот и глаз. Кого она напоминает?

Лейтенант посмотрел на нее, потом на фотографию.

– Вы хотите сказать – на этой фотографии? В детстве? Или теперь, в кино? О чем вы говорите?

– Да, пожалуй, и тогда, и теперь. Но особенно на этой фотографии.

Лейтенант рассматривал фотографию довольно сурово, как мне показалось, словно он никоим образом не одобрял, что миссис Силсберн – женщина и притом невоеннообязанная – заставила его изучать какую-то фотографию.

– На Мюриель, – сказала он отрывисто. – Похожа тут на Мюриель. И волосы, и все.

– Вот именно! – сказала миссис Силсберн. Она обернулась ко мне: – Да, именно не нее! – повторила она. – Вы знакомы с Мюриель? Я хочу сказать – вы ее видели в такой прическе, знаете, волосы заколоты таким пышным...

– Я только сегодня впервые увидел Мюриель, – сказал я.

– Тогда просто поверьте мне на слово. – И миссис Силсберн выразительно постучала по фотографии указательным пальцем. – Эта девочка могла бы быть *двойником*. Мюриель в те годы. Как две капли воды.

Виски упорно одолевало меня, и я никак не мог воспринять эту информацию полностью и, уж конечно, не мог предугадать все возможные выводы из нее. Я вернулся к столику – чересчур, должно быть, стараясь идти по прямой, и снова стал перемешивать коктейль. Когда я очутился по соседству с дядей невестинного отца, он, стараясь привлечь мое внимание, приветствовал мой приход, но я был настолько поглощен высказанным предположением о сходстве Мюриель с Шарлоттой, что не ответил ему. Кроме того у меня немного кружилась голова. Появилось неудержимое желание смешивать коктейль, сидя на полу, но я удержался.

Минуты две спустя, когда я начал разливать напиток, миссис Силсберн снова обратилась ко мне с вопросом. Она почти что пропела его, так мелодично прозвучал ее голос:

– Скажите, а это будет очень-очень нехорошо с моей стороны, если я спрошу про тот случай, о котором упоминала миссис Бервик? Я про те девять швов, помните, она рассказывала?

Ваш брат, наверно, нечаянно толкнул ее или как?

Я поставил кувшин – он мне показался необычайно тяжелым и неудобным – и посмотрел на нее. Как ни странно, несмотря на легкое головокружение, я почувствовал, что даже дальние предметы ничуть не туманятся в глазах. Наоборот, миссис Силсберн, стоявшая в центре комнаты, назойливо, словно в фокусе, выделялась из всего окружающего.

– Кто такая миссис Бервик? – спросил я.

– Моя жена, – ответил лейтенант несколько отрывисто. Он смотрел на меня, словно комиссия из одного человека, призванная проверить, почему я так медленно наливаю коктейль.

– Да, да, конечно, – сказал я.

– Что это было – несчастный случай? – настаивала миссис Силсберн. – Он ведь не нарочно? Или нарочно?

– Что за чушь, миссис Силсберн!

– Как вы сказали? – холодно бросила она.

– Простите. Не обращайтесь внимания. Я немного опьянел. Выпил на кухне лишнее, минут пять назад.

Я вдруг оборвал себя и резко повернулся. В коридоре под знакомыми решительными шагами загудел не покрытый ковром пол. Шаги стремительно двигались, надвигались на нас – и через миг невестина подружка влетела в комнату.

Она ни на кого не взглянула:

– Дозвонилась наконец, – сказала она удивительно ровным голосом, без малейшего нажима, – чуть ли не час дозванивалась. – Лицо у нее напряглось, покраснело – вот-вот лопнет. – Холодное? – спросила она и, не останавливаясь, не ожидая ответа, подошла к столику. Она схватила тот единственный стакан, который я успел налить, и жадно, залпом выпила его. – В жизни не бывала в такой жаркой комнате, – сказала она, ни к кому не обращаясь и ставя пустой стакан. Она тут же схватила кувшин и снова налила стакан до половины, громко звякая кубиками льда.

Миссис Силсберн сразу оказалась у столика.

– Что они сказали? – нетерпеливо спросила она. – Вы говорили с Рэей?

Невестина подружка сначала выпила, поставила стакан и потом сказала: – Я со всеми говорила. – И слова «со всеми» она подчеркнула сердито, хотя и без обычной для нее театральности. Взглянув сначала на миссис Силсберн, потом на меня, а потом – на лейтенанта, она добавила: – Можете успокоиться – все хорошо и благополучно.

– Что это значит? Что случилось? – строго спросила миссис Силсберн.

– А то и значит. Жених уже не страдает от счастья.

В голосе невестинной подружки снова появились привычные ударения.

– Как это? С кем ты говорила? – спросил лейтенант. – Ты говорила с миссис Феддер?

– Я же сказала: я разговаривала со всеми. Со всеми, кроме этой прелестной невесты. Она сбежала с женихом. – Невестина подружка посмотрела на меня. – Сколько сахара вы плюхнули в это питье? – раздраженно спросила она. – Вкус такой, будто...

– Сбежала? – ахнула миссис Силсберн, прижимая руки к груди.

Невестина подружка только взглянула на нее:

– А вам-то что? Не волнуйтесь, дольше проживете!

Миссис Силсберн безвольно опустила на кушетку. И я, кстати сказать, тоже. Я не спускал глаз с невестинной подружки, и миссис Силсберн тоже неотрывно глядела на нее.

– Видно, он тоже сидел у них на квартире, когда они туда приехали. Мюриель вдруг схватила чемоданчик, и они тут же уехали, вот и все. – Невестина подружка выразительно пожала плечами. Взяв стакан, она допила его до дна. – Во всяком случае, всех нас приглашают на свадьбу. Или, как это там называется, когда жених с невестой уж скрылись. Насколько я поняла, там уже целая куча народу. И у всех по телефону голоса такие веселые.

– Ты сказала, что говорила с миссис Феддер. Она-то что тебе сказала? – спросил лейтенант.

Невестина подружка довольно загадочно покачала головой:

– Она изумительна! Боже, какая женщина! Говорила совершенно спокойным голосом. Насколько я поняла по ее словам, этот самый Симор обещал посоветоваться с психоаналитиком,

чтобы как-то выправиться. – Она снова пожала плечами: – Кто его знает? Может, все и утрясется. Я слишком обалдела, не могу думать. – Она смотрела на мужа: – Пойдем отсюда. Где твоя шапчонка?

Не успел я опомниться, как невестина подружка, лейтенант и миссис Силсберн гуськом пошли к выходу, а я, хозяин дома, замыкал шествие. Я уже сильно пошатывался, но никто не обернулся, а потому они и не заметили, в каком я состоянии.

Я услышал, как миссис Силсберн спросила невестину подружку:

– Вы заедете туда?

– Право, не знаю, – услышал я ответ, – если и заедем, так только на минуту.

Лейтенант вызвал лифт, и все трое, как каменные, уставились на шкалу указателя. Казалось, слова стали лишними. Я стоял в дверях квартиры, в нескольких шагах от лифта, бессмысленно глядя вперед. Дверцы лифта открылись, я громко сказал «до свидания», и все трое разом повернули головы. «До свидания! До свидания!» – проговорили они, а невестина подружка крикнула: «Спасибо за угощение!» – и дверца захлопнулась.

Неверными шагами я возвратился в свою квартиру, пытаясь на ходу расстегнуть куртку или как-нибудь стянуть ее.

Мое возвращение в комнату восторженно приветствовал единственный оставшийся гость – я совсем забыл про него. Когда я вошел, он поднял мне навстречу до краев налитый стакан. Более того, он буквально помавал стаканом, кивая при этом головой в мою сторону и ухмыляясь, словно наконец наступил тот долгожданный счастливейший миг, по которому мы с ним так стосковались. Я никак не мог ответить ему такой же улыбкой. Однако помню, что я его похлопал по плечу. Потом я тяжело опустился на кушетку прямо против него, и мне наконец удалось расстегнуть куртку.

– А вас есть дом? – спросил я его. – Кто за вами ухаживает? Голуби в парке, что ли?

В ответ на столь провокационные вопросы мой гость снова с необыкновенным пылом поднял в мою честь стакан, держа его так, словно это была пивная кружка. Я закрыл глаза и лег на кушетку, задрав ноги и вытянувшись. Но от этого комната закружилась каруселью. Я снова сел, рывком опустив ноги на пол, и от резкого движения чуть не потерял равновесия, пришлось схватиться за столик, чтобы не упасть. Минуту-другую я сидел, согнувшись, закрыв глаза. Потом, не вставая, потянулся к кувшину и налил стакан, расплескивая питье с кубиками льда по столу и по полу. Я посидел немного с полным стаканом в руке и, не сделав ни глотка, поставил его прямо в лужицу посреди столика.

– Рассказать вам, откуда у Шарлотты те девять швов? – спросил я внезапно. Мне казалось, что голос у меня звучит совершенно нормально. – Мы жили на озере. Симор написал Шарлотте, пригласил ее приехать к нам в гости, и наконец мать ее отпустила. И вот как-то она села посреди дорожки – погладить котенка нашей Бу-Бу, а Симор бросил в нее камнем. Ему было двенадцать лет. Вот и все. А бросил он в нее потому, что она с этим котенком на дорожке была чересчур хорошенькая. И все это поняли, черт меня дерит: и я, и сама Шарлотта, и Бу-Бу, и Уэйкер, и Уолт. Вся семья.

Я уставился на оловянную пепельницу, стоявшую на столике.

– Шарлотта ни разу в жизни не напомнила ему об этом. Ни одного разу.

Я посмотрел на своего гостя, словно ожидая, что он начнет возражать, назовет меня лгуном. Конечно, я лгал. Шарлотта так и не поняла, почему Симор бросил в нее камень. Но мой гость ничего не оспаривал. Напротив. Он ободряюще улыбался мне, словно любое слово, какое я сейчас скажу, для него будет непреложной истиной. Но я все же встал и вышел из комнаты. Помню, что, уходя, я чуть было не вернулся и не поднял с пола два кубика льда, но это предприятие казалось настолько сложным, что я проследовал дальше в коридор. Проходя мимо кухни, я снял, вернее стащил, куртку и бросил ее на пол. В ту минуту мне казалось, что именно в этом месте я всю жизнь оставлял свою одежду.

В ванной я немного постоял над корзиной с бельем, обдумывая, взять или не взять дневник Симора, читать его дальше или нет. Не помню, какие аргументы я выдвигал «за» и «против», но

в конце концов я открыл корзину и вытащил дневник. Я снова сел с ним на край ванны и перелистывал страницы, пока не дошел до последней записи Симора:

"Один из солдат только что опять звонил в справочную аэропорта. Если и дальше будет проясняться, мы к утру сможем вылететь. Оппенгейм сказал: нечего сидеть как на иголках. Звонил Мюриель, все объяснил. Было очень странно. Она подошла к телефону и все говорила: «Алло! Алло!» А я потерял голос. Она чуть не повесила трубку. Хоть бы успокоиться немного. Оппенгейм решил поспать, пока не вызовут наш рейс. Надо бы и мне выспаться, но я слишком взвинчен. Я ей звонил главным образом, чтобы упросить, умолить ее просто уехать со мной вдвоем и где-нибудь обвенчаться. Слишком я взвинчен, чтобы быть на людях. Мне кажется, что сейчас – мое второе рождение. Святой, священный день. Слышимость была такая ужасная, да и я еле-еле мог говорить, когда нас соединили. Как страшно, когда говоришь: я тебя люблю, а на другом конце тебе в ответ кричат: «Что? Что?» Весь день читал отрывки из Веданты. «Брачующиеся должны служить друг другу. Поднимать, поддерживать, учить, укреплять друг друга, но более всего служить друг другу. Воспитывать детей честно, любовно и бережно. Дитя – гость в доме, его надо любить и уважать, но не властвовать над ним, ибо оно принадлежит богу». Как это изумительно, как разумно, как трудно и прекрасно и поэтому правдиво. Впервые в жизни испытывают радость ответственности. Оппенгейм уже дрыхнет. Надо бы и мне заснуть. Не могу – кто-нибудь должен бодрствовать вместе со счастливым человеком.

Я только раз прочел эту запись, закрыл дневник, отнес его в спальню и бросил в саквояж Симора, лежавший на диванчике у окна. И потом я упал, вернее, сам повалился на ближайшую кровать. Мне показалось, что я уснул или потерял сознание еще раньше, чем коснулся постели.

Когда я часа через полтора проснулся, у меня раскалывалась голова и во рту все пересохло. В спальне было почти темно. Помню, что я довольно долго сидел на краю кровати. Потом, мучимый жаждой, я встал и медленно побрел в другую комнату, надеясь, что там, в кувшине на столике, еще осталось что-нибудь мокрое и холодное.

Мой последний гость, очевидно, сам выбрался из квартиры. Только пустой стакан и сигара в оловянной пепельнице напоминали о его существовании. Я до сих пор думаю, что окурок этой сигары надо было тогда же послать Симору – все свадебные подарки обычно бессмысленны. Просто окурок сигары в небольшой, красивой коробочке. Можно бы еще приложить чистый листок бумаги вместо объяснения.

Зуи

Перевод: Р. Райт-Ковалева

Считается, что факты, которыми располагаешь, говорят сами за себя, но мне кажется, что в данном случае они даже несколько более вульгарны, чем это обычно свойственно фактам. В противовес мы прибегаем к неувядающему и увлекательному приему: традиционному авторскому предисловию. Вступление, которое я задумал, столь торжественно и многословно, что такое и в страшном сне не приснится, и вдобавок ко всему, в нем слишком много мучительно личного. И если мне особенно повезет и у меня что-то получится, то по воздействию это можно сравнить только с принудительной экскурсией по машинному отделению, которую я веду в качестве экскурсовода, облаченный в старомодный цельный купальный костюм в полосочку. Если уж начинать, то с самого неприятного: то, что я собираюсь вам преподнести, вовсе не рассказ, а нечто вроде узкоплечного любительского фильмика в прозе, и те, кому довелось просмотреть снятый материал, со всей серьезностью предупреждали меня, что лелеять надежды на успешный прокат не стоит. Имею честь и несчастье открыть вам, что эта группа оппозиционеров состоит из трех исполнителей главных ролей: двух женских и одной мужской. Начнем с примадонны, которая, как мне думается, была бы довольна, если бы ее коротко охарактеризовали как томную, но утонченную особу. Она полагает, что сюжет несколько не пострадал бы, если бы я что-нибудь сделал с той сценой, где она несколько раз сморкается за пятнадцать или двадцать минут. Проще

говоря, вырезал бы ее и выбросил. Она говорит, что противно смотреть, как человек сморкается. Вторая леди из нашей труппы – вальяжная и клонящаяся к закату звезда варьете – недовольна тем, что я, так сказать, запечатлел ее в старом поношенном халате. Но обе мои красотки (они намекали, что именно такое обращение им приятно) не слишком воинственно нападают на мой замысел в целом... Причина, признаться, страшно проста (хотя и заставляет меня краснеть). Как они убедились на собственном опыте, достаточно одного резкого слова или упрека, чтобы я разревелся. Но не они, а главный герой – вот кто с неподражаемым красноречием убеждал меня не выпускать свой опус в свет. Он чувствует, что вся интрига строится на мистицизме и религиозной мистификации, – как он дал мне понять, во всем совершенно явно просматривается некое трансцендентное начало, что внушает ему тревогу, так как может только ускорить приближение дня и часа моего профессионального провала. И так уже люди, говоря обо мне, покачивают головами, и если я еще хоть один раз в своем творчестве употреблю слово «Бог» не в его прямом, здоровом, американском смысле – как некое бранное междометие, – то это послужит явным свидетельством, точнее, подтверждением того, что я уже начинаю хвастаться знакомствами в высших сферах, а это верное свидетельство, что я человек пропащий. Разумеется, этого достаточно, чтобы заставить нормального слабонервного человека, а в особенности писателя, приостановиться. Я и приостанавливаюсь. Но не надолго. Потому что любое возражение, как бы оно ни было красноречиво, должно быть еще уместным. Дело в том, что я периодически выпускаю эти любительские фильмы в прозе с пятнадцати лет. Где-то в книге «Великий Гэтсби» (эта книга была моим «Томом Сойером» в двенадцать лет) молодой рассказчик заметил, что каждый человек отчего-то подозревает самого себя в какой-то первородной добродетели, и далее открывает нам, что у себя – храни его, Боже, – он считает таковой честность. А я своей первородной добродетелью считаю способность отличить мистический сюжет от любовного. Я утверждаю, что мой очередной опус – вовсе не рассказ о какой-то там мистике или религиозной мистификации. Я утверждаю, что это сложный, или многоплановый, чистый и запутанный рассказ о любви. Скажу в заключение, что сам сюжет родился в результате довольно беспорядочного сотрудничества. Почти все факты, с которыми вам предстоит ознакомиться (неторопливо, *спокойно* ознакомиться), были мне сообщены с чудовищными перерывами в серии напряженных для меня бесед наедине с тремя главными действующими лицами. Могу честно заметить, что ни одно из этих трех лиц не поражало блистательным талантом коротко и сжато, не вдаваясь в подробности, излагать события. Боюсь, что этот недостаток сохранится и в окончательном, так сказать, съемочном варианте. К сожалению, я не в силах его устранить, но все же попытаюсь хотя бы объяснить. Мы – все четверо – близкие родственники, и говорим на некоем эзотерическом семейном языке; это что-то вроде семантической геометрии, в которой кратчайшее расстояние между двумя точками – наибольшая дуга окружности.

И последнее напутственное слово: наша фамилия – Гласс. Не пройдет и минуты, как младший сын Глассов будет на ваших глазах читать невообразимо длинное письмо (здесь оно будет перепечатано *полностью*, могу вас заверить), которое он получил от самого старшего из оставшихся в живых братьев – Бадди Гласса. Стиль этого письма, как мне говорили, отмечен далеко не поверхностным сходством со стилем, или манерой письма, автора этих строк, и широкий читатель, несомненно, придет к опрометчивому заключению, что автор письма и я – одно и то же лицо. Да, он придет к такому заключению – и тут уж, боюсь, ничего не поделаешь. Но мы все же оставим этого Бадди Гласса в третьем лице от начала и до конца. По крайней мере, у меня нет достаточно веских оснований, чтобы менять положение.

В десять тридцать утра, в понедельник, в ноябре 1955 года Зуи Гласс, молодой человек двадцати пяти лет, сидел в наполненной до краев ванне и читал письмо четырехлетней давности. Письмо казалось почти бесконечно длинным, оно было напечатано на нескольких двойных листах желтоватой бумаги; Зуи стоило некоторого труда поддерживать страницы, опирая их о свои колени, как о два сухих островка. По правую руку от него, на краю встроенной в стенку эмалированной мыльницы, примостилась слегка раскисшая сигарета, но она все еще горела, потому что он то и дело брал ее и делал одну-две затяжки, почти не отрывая взгляда от письма. Пепел

неизменно падал в воду – или прямо, или скатывался по странице письма. Но, судя по всему, Зуи не обращал внимания на весь этот беспорядок. Однако, он замечал, а может быть, только что заметил, что горячая вода действует на него потогонно. Чем дольше он читал – или перечитывал, – тем чаще и тем тщательнее он стирал пот со лба и с верхней губы.

Предупреждаю заранее, что в Зуи так много сложности, раздвоенности, противоречивости, что здесь придется вставить не меньше двух абзацев, касающихся его личности. Начнем с того, что это был молодой человек небольшого роста и чрезвычайно легкого телосложения. Сзади – и особенно, когда на виду оказывались все его позвонки, – он вполне мог бы сойти за одного из тех городских полуголодных ребятишек, которых каждое лето отправляют подкормиться и загореть в благотворительные лагеря. Крупным планом, в фас или в профиль, он был замечательно, даже потрясающе хорош собой. Старшая из его сестер (которая из скромности предпочитает называться здесь вигвамохозяйкой из племени такахо) попросила меня написать, что он похож на «синеглазого ирландско-иудейского следопыта из племени могижан, который испустил дух в твоих объятьях у рулетки в Монте-Карло». Более распространенное и, без сомнения, не столь узкосемейное мнение гласит, что его лицо было едва спасено от чрезмерной красоты – чтобы не сказать, великолепия – тем, что одно ухо у него оттопыривалось чуть больше другого. Я лично придерживаюсь иного мнения, которое сильно отличается от предыдущих. Я согласен, что лицо Зуи, пожалуй, можно было бы назвать безукоризненно прекрасным. Но в этом случае, оно, как и любое другое классическое произведение искусства, может стать мишенью бойких и обычно надуманных оценок. Мне остается добавить только одно: любая из сотен ежедневно грозящих нам опасностей – автомобильная авария, простуда, вранье натошак – могла изуродовать или уничтожить всю его щедрую красоту в один день или в одно мгновение. Но было нечто неуязвимое и, как уже ясно сказано, «пленившее навсегда»³ – это подлинная *духовность* во всем его облике, особенно в глазах, которые часто глядели завораживающе, как из-под маски Арлекина, а временами и еще более непостижимо.

По профессии Зуи был актером, уже три с лишним года одним из ведущих актеров на телевидении. За ним так усердно «гонялись» (и, по непроверенным сведениям, доходившим до семьи через третьих лиц, ему так же много платили), как только могут гоняться за молодым актером телевидения, который еще не стал звездой Голливуда или Бродвея с готовенькой «всемирной славой». Но если оставить все сказанное без объяснений, это может привести к выводам, которые как бы напрашиваются сами собой. А на самом деле было так: Зуи впервые официально и всерьез дебютировал перед публикой в возрасте семи лет. Он был самым младшим братом в семье, где было всего семеро детей⁴ – пять мальчиков и две девочки, – и все они, с очень удачными интервалами, в детстве выступали в широковещательной радиопрограмме – детской викторине под названием: «Умный ребенок». Разница в возрасте почти в восемнадцать лет между старшим из детей Глассов, Симором, и младшей, Фрэнни, в значительной мере позволила семейству закрепить за собой нечто вроде права престолонаследия и создать династию, которая прoderжа-

³ «Прекрасное пленяет навсегда» — строка из поэмы английского поэта Дж. Китса (1795–1821) «Эндимион». (Примеч. перев.)

⁴ Боюсь, что такое эстетическое кощунство, как сноски, здесь будет вполне уместно. В дальнейшем мы непосредственно увидим и услышим только двоих, самых младших из семерых детей. Однако остальные пятеро, пятеро старших, будут то и дело прокрадываться в действие и вмешиваться в него, как некий дух Банко в пяти лицах. Поэтому читателю, быть может, будет небезынтересно заблаговременно узнать, что в 1955 году старшего из детей Глассов, Симора, уже почти семь лет не было в живых. Он покончил с собой во Флориде, где отдыхал с женой. Если бы он был жив, в 1955 году ему было бы тридцать восемь. Второй по старшинству, Бадди, работал, как это обозначается в университетских платежных ведомостях, писателем-консультантом на младших курсах женского колледжа в штате Нью-Йорк. Он жил один в маленьком, неутепленном, неэлектрифицированном домике в километре от довольно популярной лыжной трассы... Следующая, Бу-Бу, вышла замуж, и у нее было трое детей. В ноябре 1955 года она путешествовала по Европе с мужем и всеми своими детьми. В порядке старшинства за Бу-Бу шли близнецы, Уолт и Уэйкер. Уолт погиб больше десяти лет назад. Он был убит шальным взрывом, когда служил в оккупационной армии в Японии. Уэйкер, моложе его примерно на 12 минут, стал католическим священником и в ноябре 1955-го находился в Эквадоре — участвовал в какой-то иезуитской конференции.

лась у микрофона «Умного ребенка» шестнадцать с лишним лет – с 1927 по 1943-й, целую эпоху, соединяющую эру чарльстона с эрой Боингов-17. (Все эти цифры, кажется, более или менее точны.) Несмотря на все годы, которые разделяли личные триумфы каждого в «Умном ребенке», можно утверждать (с немногими несущественными оговорками), что все семеро умудрились ответить по радио на громадное количество то убийственно ученых, то убийственно хитроумных вопросов, присланных слушателями, – с совершенно неслыханной в коммерческом радиовещании находчивостью и апломбом. Слушатели встречали детей с горячим энтузиазмом и никогда не охладевали. Общая масса делилась на два до смешного непримиримых лагеря: одни считали, что Глассы – просто выводок невыносимо высокомерных маленьких «выродков», которых следовало бы утопить или усыпить, как только они появились на свет, другие же верили, что это подлинные малолетние мудрецы и всезнайки редкостной, хотя и незавидной, породы. Сейчас, когда пишется эта книга (1957 год), сохранились еще прежние слушатели «Умного ребенка», которые помнят с поразительной точностью почти все выступления каждого из семи детей. Именно в этой рдеющей, но все же на удивление единодушной компании твердо укрепилось мнение, что из всех детей Глассов старший, Симор, – в конце двадцатых и в начале тридцатых годов – «звучал лучше всех» и его ответы были самыми «исчерпывающими». Самым обаятельным и любимым после Симора называют обычно младшего из мальчиков, Зуи. А так как здесь Зуи интересуется нас как объект исследования, то следует добавить, что в качестве бывшей звезды «Умного ребенка» он выделялся среди своих братьев и сестер, как ходячая энциклопедия. Все семеро детей, пока они выступали по радио, считались законной добычей тех детских психологов или профессиональных педагогов, которые специализируются на маленьких вундеркиндах. Но в этом деле, или на этой работе, из всех Глассов Зуи, бесспорно, подвергался самым беспардонно хищным допросам, обследованиям, прощупываниям. И вот что интересно: соприкосновение Зуи с любой областью таких, казалось бы, несходных между собою наук, как клиническая, социальная или рекламная психология, неизменно обходилось ему очень дорого: можно подумать, что места, где его обследовали, кишмя кишели то ли страшно прилипчивыми травмами, то ли просто заурыдными микробами старой закваски. Так, например, в 1942 году (к непреходящему возмущению двух старших братьев, служивших тогда в армии), группа ученых вызывала его на обследование в Бостон пять раз. (Большую часть этих обследований он прошел в возрасте двенадцати лет, так что, может быть, поездки по железной дороге – и их было десять – хотя бы поначалу немного развлекали его.) Главная цель этих пяти обследований, как можно было догадаться, заключалась в том, чтобы выделить и по мере возможности изучить все корни той сверххранной одаренности, которая проявилась в редкостной находчивости и богатой фантазии Зуи. По окончании пятого по счету обследования предмет такового был отправлен домой, в Нью-Йорк, с пачечкой аспирина в придачу – якобы от насморка, который оказался бронхиальной пневмонией. Месяца через полтора в половине двенадцатого ночи раздался междугородный звонок из Бостона, и некто неизвестный, непрестанно кидая монетки в обычный телефон-автомат, голосом, в котором звучала, видимо без всякого умысла, этакая педантическая игривость, осведомил мистера и миссис Гласс, что их сын Зуи, двенадцати лет, владеет точно таким же запасом слов, как Мэри Бэйкер-Эдди, стоило только заставить его этим запасом пользоваться. Итак, продолжим: длинное, напечатанное на машинке письмо четырехлетней давности, которое Зуи читал, сидя в ванне, утром в понедельник, в ноябре 1955 года, явно вынимали из конверта, читали и снова складывали столько раз за эти четыре года, что оно не только приобрело какой-то *неаппетитный* вид, но и просто порвалось в нескольких местах, в основном на сгибах. Автором письма, как уже сказано, был Бадди, старший из оставшихся в живых братьев. Само письмо было полно повторов, поучений, снисходительных увещеваний, буквально до бесконечности растянуто, многословно, наставительно, непоследовательно – и к тому же перенасыщено братской любовью. Короче говоря, это было как раз такое письмо, которое адресат волей-неволей довольно долго таскает с собой в заднем кармане брюк. А такие письма некоторые профессиональные писатели обожают цитировать дословно.

Дорогой Зуи!

Я только что кончил расшифровывать длинное письмо от Мамы, которое получил сегодня утром: сплошь про тебя и про улыбку генерала Эйзенхауэра, и про мальчишек, падающих в шахты лифтов (из «Дейли ньюс»), и когда же я наконец добьюсь, чтобы мой телефон в Нью-Йорке с н я л и и установили здесь в *деревне*, где он мне безусловно *необходим*. Уверен, что во всем мире нет больше такой женщины, которая умела бы писать письма невидимым курсивом. Милая Бесси. Каждые три месяца, как по часам, я получаю от нее те же пятьсот слов на тему о моем несчастном старом личном телефоне и как *неразумно* платить Бешеные Деньги ежемесячно за вещь, которой совершенно никто *не пользуется*. А это уже чистое вранье. Когда я бываю в городе, я сам часами сижу и беседую с нашим старым другом Ямой, Божеством Смерти, и для наших переговоров личный телефон просто необходим. В общем, скажи ей, пожалуйста, что я все оставляю по-старому. Я страстно люблю этот старый телефон. Он был единственной нашей с Симором личной собственностью во всем Бессином кибутце. Мне совершенно необходимо также для сохранения внутренней гармонии каждый год читать записи Симора в этой треклятой телефонной книжке. Мне нравится спокойно и неспеша перебирать листки на букву «Б». Пожалуйста, передай это Бесси. Можно не дословно, но вежливо. Будь поласковой с Бесси, Зуи, по возможности. Я прошу тебя не потому, что она наша мать, а потому, что она устала, ты сам станешь добрее после тридцати или около того, когда всякий человек немного утихает (может, даже и ты успокоишься), но постарайся быть добрым уже сейчас. Мало обращаться с ней страстно-жестoko, как апаш со своей партнершей, – кстати, она все прекрасно понимает, что бы ты там ни думал. Ты забываешь, что она просто жить не может без сентиментальности, а уж Лес и подавно.

Не считая моих телефонных проблем, последнее ее письмо целиком посвящено Зуи. Я должен написать тебе, что У Тебя Вся Жизнь Впереди и что Преступно пренебрегать докторской степенью, которую надо получить, прежде чем окунаться с головой в актерскую жизнь. Она не говорит, какой уклон в твоей работе ей больше по вкусу, но мне кажется, что математика лучше греческого для тебя, вредный книжный червячишко! Так или иначе, я понял, что ей хочется, чтобы ты имел Опору В Жизни на тот случай, если актерская карьера не сложится. Должно быть, все это очень разумно, вполне возможно, но мне как-то не хочется категорически это утверждать. Сегодня как раз такой день, когда я вижу все наше семейство, в том числе и себя, через обратный конец телескопа. Представь себе, сегодня утром возле почтового ящика я с трудом вспомнил, кто такая Бесси, когда прочел обратный адрес на конверте! Но причина у меня уважительная: старшая группа 24-А по литературной композиции навалила на меня тридцать восемь рассказов, которые я со слезами поволок домой на все выходные дни. Из них тридцать семь окажутся про замкнутую робкую голландку-лесбиянку из Пенсильвании, рассказанные от первого лица развратной прислужгой. На диалекте!

Разумеется, тебе *известно*, что за все те годы, пока я таскаю свой скарб литературной блудницы из колледжа в колледж, я так и не получил даже степени бакалавра. Кажется, это тянется уже сто лет, но я считаю, что не получил степень по двум первопричинам. (Будь добр, сиди и не дергайся. Я пишу тебе впервые за много лет.) Во-первых, в колледже я был как раз таким снобом, какие получают из бывших ветеранов «Умного ребенка» и будущих студентов-отличников факультета английской литературы, и я не старался добиться никаких степеней, потому что их было навалом у всех известных мне малограмотных писак, радиовещателей и педагогических чучел. А во-вторых, Симор получил степень доктора в том возрасте, когда основная масса юных американцев только-только школу кончает; а раз мне было все равно за ним не угнаться, я и не пытался. И уж конечно, в твоем возрасте я был непоколебимо уверен, что сделаться учителем меня никто не заставит, и если мои Музы не смогут меня прокормить, я отправлюсь куда-нибудь шлифовать линзы, как Букер Т. Вашингтон. Собственно говоря, у меня нет особых сожалений по поводу академической карьеры. В особенно черные дни мне порой приходит в голову, что, если бы я подзапасся степенями, пока был в силах, мне не пришлось бы вести такой безнадежно серенький курс, как старшая группа 24-А.

А может быть, все это нечистая игра. Карты всегда подтасованы (и по всем правилам, я полагаю), когда играют с профессиональными эстетами, и все мы, без сомнения, заслуживаем той

мрачной, велеречивой, академической смерти, которая всех нас рано или поздно приберет.

Но я думаю, что твоя судьба совсем не похожа на мою. Не то чтобы я был всерьез на стороне Бесси. Если тебе или Бесси нужна Уверенность В Завтрашнем Дне, твой математический диплом, по крайней мере, всегда обеспечит тебе возможность вдальблывать таблицу логарифмов мальчишкам в любой деревенской школе и в большинстве колледжей. С другой стороны, твой благозвучный греческий язык почти ни на что не годится ни в одном приличном университете, если ты не имеешь докторской степени, – в таком уж мире медных шапок и медных академических шапочек мы живем. (Конечно же, ты всегда сможешь переехать в Афины, солнечные *древние* Афины.) А вообще, все твои будущие ученые степени, если подумать, ни к черту тебе не нужны. Если хочешь знать, дело вот в чем: сдается мне, что если бы мы с Симором не подсунули Упанишады, Алмазную сутру, Экхарта и всех наших старых любимцев в список книг для домашнего чтения, которые были тебе рекомендованы в раннем детстве, ты был бы в сотни раз пригоднее для своего актерского ремесла. Актер и вправду должен путешествовать налегке. Мы с С., когда были мальчишками, как-то раз отлично позавтракали с Джоном Бэрримором. Умен он был чертовски, а говорил так, что заслушаешься, но никаким громоздким багажом и чересчур серьезным образованием он себя не обременял. Я об этом говорю потому, что на каникулах мне довелось поговорить с одним довольно спесивым востоковедом, и, когда в беседе возникла весьма глубокомысленная и метафизическая пауза, я сказал ему, что мой младший братишка как-то избавился от несчастной любви, пытаюсь перевести Упанишады на древнегреческий... (Он оглушительно захохотал – ты знаешь, как гогочут эти востоковеды.)

Вот если бы только Бог намекнул мне, как сложится твоя актерская судьба. Ты прирожденный актер, это ясно. Даже наша Бесси это понимает. Всем также известно, что единственные красавцы в нашей семье – ты и Фрэнни. Но где ты будешь играть? Ты об этом задумывался? В кино? Тогда я смертельно боюсь, что если ты хоть немножко потолстеешь, то тебя, как любого другого молодого актера, принесут в жертву ради создания надежного голливудского типа, сплавленного из призового боксера и мистика, гангстера и заброшенного ребенка, ковбоя и Человеческой Совести и прочее, и прочее. Принесет ли тебе удовлетворение эта расхожая популярная дешевка? Или ты будешь мечтать о чем-то чуть более космическом, *zum Beispiel*⁵, сыграть Пьера или Андрея в цветном боевике по «Войне и миру», где батальные сцены сняты с потрясающим размахом, а все психологические тонкости выброшены (на том основании, что они чересчур литературны и нефотогеничны); где на роль Наташи рискнули взять Анну Маньяни (чтобы фильм был классным и Честным); с шикарным музыкальным оформлением Дмитрия Попкина, и все исполнители главных мужских ролей поигрывают желваками, чтобы показать, что их обуревают разнообразные эмоции, и Всемирная Премьера в «Уинтер-гардене», в сиянии «юпитеров», причем Молотов, и Милтон Берль, и губернатор Дьюи будут встречать знаменитостей и представлять их публике. (Знаменитостями я называю, само собой разумеется, старых поклонников Толстого – сенатора Дирксена, За-За Габора, Гэйлорда Хаузера, Джорджи Джесселя, Шарля де Ритца.) Как тебе это понравится? А если ты будешь играть в театре, останутся ли у тебя иллюзии там? Видел ты хоть одну по-настоящему прекрасную постановку – ну, хоть «Вишневого сада»? И не говори, что видел. Никто не видел. Ты мог видеть «вдохновенные» постановки, «умелые» постановки, но ни одной по-настоящему прекрасной. Ни одной достойной чеховского таланта, где все актеры до одного играли бы Чехова – со всеми тончайшими оттенками, со всеми прихотями. Страшно мне за тебя, Зуи. Прости мне пессимизм, если не простишь красноречие. Но я-то знаю, какие у тебя высокие требования, чучело ты этакое. Я-то помню, какое это было адское ощущение – сидеть рядом с тобой в театре. И я слишком ясно себе представляю, как ты пытаешься требовать от сценического мастерства того, чего в нем и в помине нет. Ради всего святого, будь благоразумен.

Кстати, сегодня у меня свободный день. Я веду честный календарь невротика, и сегодня исполнилось ровно три года с тех пор, как Симор покончил с собой. Я тебе никогда не рассказывал, что было, когда я отправился во Флориду, чтобы привезти тело домой? В самолете я ревел,

⁵ К примеру (нем.).

как дурак, битых пять часов подряд. Старательно поправляя занавеску время от времени, чтобы никто не видел меня с той стороны салона – в кресле рядом никого, слава богу, не было. Минут за пять до приземления я услышал, о чем говорят люди, сидевшие позади меня. Говорила женщина с изысканно-светскими и мяукающими интонациями: "...и на *следующее утро*, представьте себе, они выкачали целую пинту гноя из ее прелестного юного тела". Больше я ни слова не запомнил, но, когда я выходил из самолета и Убитая Горем Вдова встретила меня вся в трауре от самого модного портного, у меня на лице было Неподобающее Выражение. Я ухмылялся. Вот точно так же я чувствую себя сегодня, и без всякой видимой причины. Я чувствую вопреки собственному здравому смыслу, что где-то совсем рядом – может, в соседнем доме – умирает настоящий поэт, но где-то еще ближе выкачивают жизнерадостную пинту гноя из ее прелестного юного тела, и не могу же я вечно метаться между горем и величайшим восторгом.

В прошлом месяце декан Говнэк (Фрэнни приходит в телячий восторг при одном звуке его имени) обратился ко мне со своей благосклонной улыбкой и бичом из гиппопотамовой кожи, так что теперь я каждую пятницу читаю преподавателям факультета, их женам и нескольким угнетающе глубокомысленным студентам лекции о Дзен-буддизме и Махаяне. Нимало не сомневаюсь, что этот подвиг обеспечит мне со временем кафедру Восточной Философии в Преисподней. Главное, что я теперь бываю в университете не четыре, а пять раз в неделю, а так как я еще работаю по ночам и в выходные дни, то у меня почти не остается времени на собственные мысли. Из этих жалоб ты поймешь, что я очень беспокоюсь о тебе и о Фрэнни, когда выдается свободная минутка, но далеко не так часто, как мне бы хотелось. Вот что я хочу тебе, собственно, сказать: письмо Бесси не имеет почти никакого отношения к тому, что я сижу среди целого флота пепельниц и пишу тебе. Она еженедельно поставляет мне свежую экспресс-информацию о тебе и о Фрэнни, а я ни разу и пальцем не пошевелил, так что дело не в этом. Причина в том, что произошло со мной сегодня в нашем универсальном магазине. (С красной строки начинать не собираюсь. От этого я тебя избавлю.) Я стоял возле мясного прилавка, ожидая, пока нарубят бараньи отбивные. Рядом стояла молоденькая мама с маленькой дочкой. Девчужке было года четыре, и она от нечего делать прислонилась спиной к стеклянной витрине и стала снизу вверх разглядывать мою небритую физиономию. Я ей сказал, что она, пожалуй, самая хорошенькая из всех маленьких девочек, которых я видел сегодня. Она приняла это как должное и кивнула. Я сказал, что у нее, наверно, от женихов отбою нет. Она опять кивнула. Я спросил, сколько же у нее женихов. Она подняла два пальца. «Двое! – сказал я. – Да это целая куча женихов. А как их зовут, радость моя?» И она мне сказала звонким голоском: «*Бобби и Дороти*». Я схватил свою порцию отбивных и бросился бежать. Именно это и заставило меня написать тебе письмо – это прежде всего, а не настойчивые просьбы Бесси написать о научных степенях и актерской карьере. Да, именно это, и еще стихотворение, хокку, которое я нашел в номере гостиницы, где застрелился Симор. Оно было написано карандашом на промокашке: «Вместо того чтобы взглянуть на меня // Девочка в самолете// Повернула голову своей куклы». Вспоминая об этих двух девочках, я вел машину домой от универмага и думал, что наконец-то я смогу написать тебе, почему мы с С. взялись воспитывать тебя и Фрэнни так рано и так решительно. Мы никогда не пытались вам это объяснить словами, и мне кажется, что пора одному из нас это сделать. Но вот теперь я не уверен, что сумею. Маленькая девчушка из мясного отдела исчезла, и я не могу ясно увидеть вежливое лицо куклы в самолете. И привычный ужас заделаться профессиональным писателем, знакомый смрад словес, преследующий его, уже начинает гнать меня от стола. Но все же мне кажется, что надо хотя бы попытаться – слишком уж это важно.

Разница в возрасте в нашей семье всегда нехоти и без необходимости усложняла все наши проблемы. Между С. и близнецами или между Бу-Бу и мной особой разницы не чувствовалось, а вот между двумя парами – ты и Фрэнни, и я с С. – это было. Мы с Симором были уже взрослыми – Симор давно кончил колледж – к тому времени, когда ты и Фрэнни научились читать. На этой стадии нам даже не очень хотелось навязывать вам своих любимых классиков – по крайней мере, не так настойчиво, как близнецам и Бу-Бу. Мы знали, что того, кто родился для познания, не оставишь невеждой, и в глубине души, конечно, мы этого и не хотели, но нас беспокоило, даже пугало, то статистическое изобилие детей-педантов и академических мудрил, ко-

торые вырастали во всезнаек, толкущихся в университетских коридорах. Но важнее, намного важнее, Симор уже начал это понимать (а я с ним согласился, насколько мне была доступна эта мысль), что образование, как его ни назови, будет сладко, а может, и еще сластнее, если его начинать не с погони за знаниями, а с погони, как сказал бы последователь Дзен-буддизма, за незнанием. Доктор Судзуки где-то говорит, что пребывать в состоянии чистого сознания – сатори – это значит пребывать с Богом до того, как он сказал: «Да будет свет». Мы с Симором думали, что сделаем доброе дело, если будем держать подальше от тебя и от Фрэнни, по крайней мере, до тех пор пока это в наших силах, и этот свет, и множество световых эффектов низшего порядка – искусства, науки, классиков, языки, пока вы оба хотя бы не представите себе то состояние бытия, когда дух постигает источник всех видов света. Мы думали, как это будет удивительно конструктивно, если мы хотя бы (на тот случай, если наша «ограниченность» помешает) расскажем вам то, что сами знаем о людях – святых, архатах, бодисатвах и дживан-муктах, которые знали что-нибудь или все об этом состоянии. То есть мы хотели, чтобы вы знали, кто такие были Иисус и Гаутама, и Лао-цзы и Шанкарачарья, и Хой-нэн и Шри Рамакришна и т. д., раньше чем вы узнаете слишком много, если вообще узнаете, про Гомера, или про Шекспира, или даже про Блейка и Уитмена, не говоря уже о Джордже Вашингтоне с его вишневым деревом, или об определении полуострова, или о том, как сделать разбор предложения. Во всяком случае, таков был наш грандиозный замысел. Попутно я, кажется, пытаюсь дать тебе понять, что я знаю, с какой горечью и возмущением ты относился к нашим домашним семинарам, которые мы с С. регулярно проводили в те годы, а особенно к метафизическим сеансам. Надеюсь, что в один прекрасный день – и хорошо бы нам обоим надраться как следует – мы сможем об этом поговорить. (А пока могу только заметить, что ни Симор, ни я в те далекие времена даже представить себе не могли, что ты станешь актером. Нам *следовало* бы догадаться об этом, но мы не догадывались. А если бы мы знали, Симор непременно постарался бы предпринять нечто конструктивное в этом плане, я уверен. Где-то обязательно должен быть какой-нибудь курс Нирваны для начинающих со специальным уклоном, который на древнем Востоке предназначался исключительно для будущих актеров, и Симор, конечно же, откопал бы его.) Пора бы кончить этот абзац, но я что-то разболтался. Тебя покоробит то, что я собираюсь писать дальше, но так надо. Ты знаешь, что намерения у меня были самые благие: после смерти Симора проверять время от времени, как идут дела у тебя и Фрэнни. Тебе было восемнадцать, и о тебе я не особенно беспокоился. Хотя от одной остроносой сплетницы в моем классе я слышал, что ты прославился на все студенческое общежитие тем, что удалялся и сидел в медитации по десять часов кряду, и э т о заставило меня призадуматься. Но Фрэнни в то время было *тринадцать*. А я просто не мог сдвинуться с места, и все тут. Я боялся возвращаться домой. Я не боялся, что вы вдвоем, рыдая, забросаете меня через всю комнату томами полного собрания Священных книг Востока Макса Мюллера. (Не исключено, что это привело бы меня в мазохистский экстаз.) Но я боялся, что вы начнете задавать мне вопросы: для меня они были гораздо страшнее обвинений. Я отлично помню, что вернулся в Нью-Йорк через целый год после похорон. Потом было уже легко приезжать на дни рождения и на каникулы, зная почти наверняка, что все вопросы сведутся к тому, когда я кончу свою новую книгу и катался ли я на лыжах и т. д. Вы даже за последние два года много раз приезжали сюда на уикенды, и хотя мы разговаривали, разговаривали, разговаривали, но об этом не обмолвились ни словом, как по уговору. Сегодня мне впервые захотелось об этом поговорить. Чем дальше я пишу это проклятое письмо, тем мне труднее решительно отстаивать свои убеждения. Но клянусь тебе, что сегодня днем на меня снизошло небольшое, вполне доступное общему пониманию озарение (в мясном отделе), и я понял, что есть истина, в тот самый момент, когда девчушка мне сказала, что ее женихов зовут Бобби и Дороти. Симор однажды сказал мне – представь себе, в городском автобусе, что любое правильное изучение религии *обязательно* приводит к тому, что исчезают все различия, иллюзорные различия между мальчиками и девочками, животными и минералами, между днем и ночью, между жаром и холодом. Вот что внезапно поразило меня возле мясной витрины, и мне показалось, что сейчас самое важное в жизни – примчаться домой со скоростью семидесяти миль в час и послать тебе письмо. О господи, какая жалость, что я не схватил карандаш прямо на месте, в универмаге, а понадеялся, что дорогой ничего не забуду. Но

может быть, это к лучшему. Иногда мне кажется, что ты понял и все простил С. – больше, чем кто-либо из нас. Уэйкер как-то сказал мне по этому поводу очень интересную вещь – признаюсь, что я только повторяю его слова, как попугай. Он сказал, что ты – единственный, кто был горько обижен на Симора за самоубийство, и только ты, один из всех, по-настоящему простил его. Остальные, как он сказал, обиды не выдали, но в глубине души ничего не простили. Может быть, это и есть правда истинная. Откуда мне знать? Одно я знаю совершенно точно: я собирался написать тебе что-то радостное и увлекательное – всего на одном листочке бумаги, через два интервала, а когда я добрался до дому, то понял, что растерял почти все, что все пропало, и оставалось только одно: сесть и писать, писать, читать тебе лекции на тему о научных степенях и об актерской жизни. Как это нелепо, как смехотворно – представляю себе, как сам Симор улыбался бы, улыбался – и, наверное, убедил бы меня и всех нас, что не стоит об этом беспокоиться.

Хватит. *Играй*, Захария Мартин Гласс, где и когда захочешь, если ты чувствуешь, что должен играть, но только играй в *полную силу*. И если ты создашь на сцене хоть что-нибудь прекрасное, дарящее радость, чему нет названия, возвышенное и недоступное для театральных выкрутас, мы с С. возьмем напрокат смокинги и парадные шляпы и торжественно явимся к служебному входу театра с букетами львиного зева. Во всяком случае, на мою любовь и поддержку, как бы мало они ни стоили, ты можешь смело рассчитывать всегда, невзирая на расстояния.

Бадди.

Как всегда, мои претензии на всезнайство совершенно нелепы, но именно ты должен относиться снисходительно к тем моим высказываниям, которые можно назвать умными. Много лет назад, когда я еще только пробовал сделаться писателем, я как-то прочел С. и Бу-Бу свой новый рассказ. Когда я кончил, Бу-Бу безапелляционно заявила (глядя, однако, на Симора), что рассказ «чересчур умный». С. с сияющей улыбкой поглядел на меня, покачал головой и сказал, что ум – это моя хроническая болезнь, моя деревянная нога и что чрезвычайно бестактно обращать на это внимание присутствующих. Давай же, старина Зуи, будем вежливы и добры друг к другу – мы ведь оба прихрамываем.

Любящий тебя Б.

Последняя, самая нижняя страница письма, написанного четыре года назад, была покрыта пятнами цвета старинной кожи и порвана на сгибах в двух местах. Закончив читать, Зуи довольно бережно переложил ее назад, чтобы страницы легли по порядку. Он выровнял края, постукивая страницы о свои колени. Нахмурился. Затем с небрежностью, как будто он, ей-богу, читал это письмо последний раз в жизни, он затолкал страницы в конверт, словно это была набивочная стружка. Он положил пухлый конверт на край ванны и затеял с ним маленькую игру. Пощелкивая одним пальцем по набитому конверту, он толкал его взад и вперед по самому краю, как будто пытался проверить, удастся ли ему все время двигать конверт таким образом, чтобы тот не свалился в воду. Прошло добрых пять минут, пока он не толкнул конверт так, что едва успел его подхватить. На чем игра и закончилась. Держа спасенный конверт в руке, Зуи уселся поглубже, так что колени тоже ушли под воду. Минуту или две он рассеянно созерцал кафельную стену прямо перед собой, потом взглянул на сигарету, лежащую в мыльнице, взял ее и раза два попробовал затянуться, но сигарета давно погасла. Он внезапно снова уселся, так что вода в ванне заходила ходуном, и опустил сухую левую руку за край ванны. На коврике возле ванны лежала названием кверху рукопись, отпечатанная на машинке. Он взял рукопись и поднял ее наверх в том же положении, как она лежала. Бегло взглянув на нее, он засунул письмо четырехлетней давности в самую середину, где листы были сшиты особенно плотно. Затем он пристроил рукопись на своих (уже мокрых) коленях примерно на дюйм выше поверхности воды, и принялся листать страницы. Добравшись до девятой страницы, он развернул рукопись, как журнал, и стал читать или изучать ее. Реплики Рика были жирно подчеркнуты мягким карандашом.

ТИНА (подавленно). Ах, милый, милый, милый. Не принесла я тебе удачи, верно?

РИК. Не говори. Никогда больше не говори так, слышишь?

ТИНА. Но это же правда. Я невезучка. Жуткая невезучка. Если бы не я, Скотт Кинкейд уже тыщу лет назад взял бы тебя в контору в Буэнос-Айресе. Я все на свете испортила. (Идет к окну.) Да, я вроде тех лис и лисенят, что портят виноградники. Мне кажется, что я играю в какой-то ужасно сложной пьесе. Но самое смешное, что я-то не сложная. Я – это просто я. (Оборачивается.) О Рик, Рик, мне так страшно! Что с нами творится! Кажется, я уже не могу найти н а с. Я шарю, ищу, а нас нет и нет. Я боюсь. Я как перепуганный ребенок. (Выглядывает в окно.) Ненавижу этот дождь. Иногда мне чудится, что я лежу мертвая под дождем.

РИК (мирно). Моя дорогая, это, кажется, строчка из «Прощай, оружие»?

ТИНА (оборачивается, вне себя). Убирайся отсюда. Убирайся! Убирайся вон, пока я не выбросилась из окна. Слышишь?

РИК (хватая ее в объятья). Ну-ка, послушай меня. Моя маленькая полоумная красавица. Моя прелесть, мое дитя, вечно ты играешь, разыгрываешь трагедии.

Зуи внезапно прервал чтение, услышав голос матери – настойчивый, наигранно-деловитый – по ту сторону двери:

– Зуи? Ты все еще сидишь в ванне?

– Да, я все еще сижу в ванне. А что?

– Можно мне войти на секундочку?

– Господи, мама, да я же в ванне сижу!

– Боже мой, я на *минуточку*, прошу тебя. Задерни занавеску.

Зуи бросил прощальный взгляд на страницу, потом закрыл рукопись и бросил ее на пол возле ванны.

– Господи Иисусе Христе, – сказал он. – Мне чудится, что я лежу мертвая под дождем!

Ярко-красная, усыпанная канареечно-желтыми диземами, бемолями и скрипичными ключами, занавеска для душа была подвешена на пластмассовых кольцах и хромированной перекладине и сдвинута к изножью ванны. Зуи сел, наклонился вперед и резко дернул занавеску, так что она совсем скрыла его из виду.

– Хорошо, господи. Если ужходишь, то входи, – сказал он.

В его голосе не было характерных актерских модуляций, но это был почти чрезмерно звучный голос; и когда Зуи не старался его приглушать, он немилосердно «разносился». Много лет назад, когда он еще выступал в «Умном ребенке», ему постоянно напоминали, что надо держаться подальше от микрофона.

Дверь отворилась, и в ванную боком проскользнула миссис Гласс – женщина средней полноты, с волосами, уложенными под сеткой. Возраст ее при любых обстоятельствах воинственно противился определению, а уж в сетке для волос – и подавно. Ее появление в комнатах обычно воспринималось не только визуально, но и на слух.

– Не понимаю, как ты можешь так долго сидеть в ванне!

Она сразу же закрыла за собой дверь, как будто вела нескончаемую войну за жизнь своего потомства с простудами от сквозняков в ванной.

– Это просто вредно для здоровья, – сказала она. – Ты знаешь, сколько ты сидишь в этой ванне? Ровно сорок пять...

– Не надо! Не говори, Бесси.

– То есть как это – *не говори*?

– Не говори, и все. Оставь меня в блаженном неведении о том, что ты там за дверью считала минуты, пока...

– Никто никаких *минут* не считал, молодой человек, – сказала миссис Гласс. Дел у нее и без того хватало. Она принесла с собой продолговатый пакетик из белой бумаги, перевязанный золотым шнурком. Судя по виду, в нем мог быть предмет размером примерно с большой бриллиант или с насадку для крана. Прищурившись, миссис Гласс посмотрела на сверток и принялась дергать за шнурок. Узел не поддавался, и она попыталась развязать его зубами.

На ней было ее обычное домашнее одеяние – то самое, которое ее сын Бадди (который был писателем и, следовательно, как утверждает сам Кафка, *не очень приятным человеком*) окрестил

«униформой провозвестницы смерти». Это одеяние состояло в основном из допотопного японского кимоно темно-синего цвета. Днем она почти всегда расхаживала в нем по дому. Многочисленные складки оккультно-колдовского вида служили хранилищем для массы мелочей, которые должны быть под рукой у страстного курильщика и монтера-самоучки; вдобавок с боков были нашиты два вместительных кармана, в которых обычно лежали две-три пачки сигарет, несколько складных картонок со спичками, отвертка, молоток-гвоздодер, охотничий нож, некогда принадлежавший кому-то из ее сыновей, пара эмалированных ручек от кранов и еще целый набор шурупов, гвоздей, дверных петель и шарикоподшипников, – и все это сопровождало приглушенным позвякиванием любое перемещение миссис Гласс по просторной квартире. Уже лет десять, если не больше, обе ее дочери постоянно и безуспешно сговаривались выбросить одряхлевшее кимоно матери. (Ее замужняя дочь, Бу-Бу, намекала, что, прежде чем вынести его в корзине для мусора, пожалуй, придется оглушить его каким-нибудь тупым орудием, чтобы избавить от лишних мучений.) Но как бы экзотически ни выглядело это восточное облачение, оно ни капельки не искажало то единственное, ошеломляющее впечатление, которое миссис Гласс в домашнем виде производила на зрителей определенного типа. Глассы жили в старом, но вовсе не старомодном доме в районе Восточных семидесятых, где, пожалуй, две трети обитательниц солидного возраста носили меховые шубки, а когда они выходили из дому обычным солнечным утром, то спустя полчаса их можно было почти наверняка встретить в лифте у «Лорда и Тейлора», «Сакса» или «Бонуита Теллера»... На этом типично манхэттенском фоне миссис Гласс (с непредвзятой точки зрения) бросалась в глаза, как довольно приятное исключение. Во-первых, можно было подумать, что она никогда в жизни не выходит из дому, а уж если и *выйдет*, то на плечах у нее будет темная шаль и отправится она в сторону О'Коннел-стрит, чтобы потребовать выдачи тела одного из своих сыновей (наполовину ирландцев, наполовину евреев), которого в какой-то религиозной неразберихе только что пристрелили Черно-Желтые⁶. Зуи вдруг подозрительно окликнул ее:

– *Мама!* Ради всего святого, что ты там делаешь?

Миссис Гласс развернула пакет и внимательно читала инструкцию, напечатанную мелкими буквами на коробочке с зубной пастой.

– Не распускай язык, пожалуйста, – рассеянно бросила она.

Затем она подошла к аптечке, которая примостилась на стене над раковиной. Она открыла зеркальную дверцу и воззрилась на битком набитые полки – точнее, пробежала по ним прищуренным взглядом заправского мастера по возделыванию домашних аптечек. Перед ее взором предстала толпа, так сказать, золотых фармацевтических нарциссов⁷, вперемежку с несколькими более примитивными предметами. На полках находился йод, марганцовка, капсулы с витаминами, зубной эликсир, аспирин, Анацин, Буферин, Аргироль, Мастероль, Экс-Лаке, магниевое молоко, английская соль, аспергиум, две безопасные бритвы, одна полуавтоматическая бритва, два тюбика крема для бритья, помятая и чуть надорванная фотография толстого черно-белого кота, спящего на перилах террасы, три расчески, две щетки для волос, бутылка репейного масла, бутылка Фитчевской жидкости от перхоти, маленькая коробочка без надписи с глицериновыми свечами, капли Вика от насморка, шампунь Вика, шесть кусков туалетного мыла, корешки от трех билетов на мюзикл 1946 года («Зови меня Мистер»), тюбик депилатория, коробка с бумажными салфеточками «Клинекс», две морские раковины, целый набор стертых от употребления листов наждачной бумаги, две банки моющей пасты, три пары ножниц, пилка для ногтей, прозрачный голубой шарик (который назывался у игроков в «шарики», по крайней мере в двадцатые годы, «чистюля»), крем, стягивающий поры лица, пинцеты для выщипывания бровей, золотые дамские часики в разобранном виде и без ремешка, коробочка соды, перстенок ученицы школы-

⁶ Черно-Желтые — британские части, посланные в Ирландию для подавления беспорядков в 1919–1921 годах. (Примеч. перев.).

⁷ Перифраза строки из стихотворения английского поэта У. Вордсворта (1770–1850) «Нарциссы». (Примеч. перев.)

интерната с выщербленным ониксом, бутылка «Стопетт» – и, хотите – верьте, хотите – нет, еще масса всякой всячины. Миссис Гласс быстро протянула руку вверх, достала что-то с нижней полки и бросила в корзину для мусора; раздался приглушенный жестяной стук.

– Я кладу сюда для тебя эту новую зубную пасту, на которой все помешались, – объявила она, не оборачиваясь и кладя пасту на полку. – Пора тебе бросить этот дурацкий порошок. От него с твоих чудных зубов вся эмаль слезет. У тебя такие чудные зубы! И не мешает тебе лучше о них...

– А кто это сказал? – Из-за занавески раздался сильный всплеск. – Кто, черт возьми, сказал, что от него с моих чудных зубов вся эмаль слезет?

– *Я сказала.* – Миссис Гласс окинула свой сад последним оценивающим взглядом. – Прошу тебя пользоваться пастой.

Она подтолкнула сложенными лопаточкой пальцами непечатую коробочку с английской солью, чтобы та не нарушила равнение в рядах вечных обитателей аптечного сада, и закрыла дверцу. Затем пустила холодную воду в раковину.

– Хотела бы я знать, кто это моет руки и не споласкивает за собой раковину, – сурово сказала она. – В семье, по-моему, только взрослые люди.

Она пустила воду еще сильнее и одной рукой быстро и начисто вымыла раковину.

– Конечно, ты еще не говорил со своей младшей сестренкой, – сказала она, оборачиваясь и глядя на занавес.

– Нет, я еще не говорил со своей младшей сестренкой. Послушай, а не пора ли тебе топать отсюда?

– А почему ты не поговорил? – строго спросила миссис Гласс. – По-моему, это нехорошо, Зуи. По-моему, это *совсем* нехорошо. Я специально просила тебя, пожалуйста, пойд и проверь, не случилось ли...

– Во-первых, Бесси, я встал всего час назад. Во-вторых, вчера вечером я беседовал с ней битых два часа, и, по-моему, если говорить откровенно, ей ни с кем сегодня говорить не хочется. А в-третьих, если ты не уберешься из ванной, я возьму и подожгу эту чертову занавеску. Я не шучу, Бесси.

Где-то посередине этого перечисления по пунктам миссис Гласс перестала слушать и села.

– Бывает, что я почти готова убить Бадди за то, что он живет без телефона, – сказала она. – В этом нет никакой *необходимости*. И как это взрослый мужчина может жить вот так – без *телефона*, безо всего? Никто не собирается нарушать его *покой*, если ему так *удобно*, но я совершенно уверена, что незачем жить *отшельником*. – Она передернула плечами и скрестила ноги. – Господи помилуй, да это просто *опасно*! А вдруг он сломает ногу или еще что. В такой *глуши*. Меня это все время грызет.

– Грызет? А что тебя грызет? То, что он ногу сломает, или то, что у него нет телефона, когда тебе это нужно?

– Меня, к вашему сведению, молодой человек, грызет и *то, и другое*.

– Так вот – не беспокойся. Не трать времени даром. Ты такая бестолковая, Бесси. Ну отчего ты такая бестолковая? Ты же знаешь Бадди, боже ты мой. Да если он даже забредет на *двадцать* миль в лесную глухомань и сломает обе ноги, да еще стрела, черт возьми, будет торчать у него между лопатками, он все равно доползет до своего логова – проверить, не проник ли кто-нибудь туда в его отсутствие, чтобы примерить его галоши! – Из-за занавеса донесся короткий и приятный смешок, хотя и несколько демонического оттенка. – Поверь мне на слово. Ему так дорог его проклятый покой, что ни в каких лесах он помирать не станет.

– Никто и не говорил о *смерти*, – сказала миссис Гласс. Она без видимой необходимости чуть-чуть поправила сетку на волосах. – Я *целое* утро дозванивалась по телефону до его соседей, которые живут дальше по шоссе. Они даже не отвечают. Просто возмутительно, что к нему никак не пробиться. Сколько раз я его *умоляла* перенести этот дурацкий телефон из комнаты, где они раньше жили с Симором. Это просто ненормально. Если что-то действительно стрясется и ему будет необходим телефон – это просто невыносимо. Я вечером звонила два раза и два раза четыре сегодня.

– А почему это невыносимо? Во-первых, с чего это совершенно чужие люди должны быть у нас на побегушках?

– Никто не говорит ни о каких людях ни на каких побегушках, Зуи. Пожалуйста, не дерзи, слышишь? Если хочешь знать, я *ужасно* волнуюсь за нашу девочку. И я считаю, что Бадди должен знать обо всем. К твоему сведению, убеждена, что он мне никогда не простит, что я в таком положении не обратилась к нему.

– Ну, ладно, ладно! Так почему ты дергаешь его соседей, а не позвонишь в колледж? Ты прекрасно знаешь, что в это время его дома не застать.

– Будь любезен, не кричи во весь голос, молодой человек. Здесь глухих нет. Если хочешь знать, я уже звонила в колледж. Только я по опыту знаю, что от этого никакого проку не будет. Они просто кладут записочки ему на стол, а я уверена, что он в свой кабинет вообще не заглядывает.

Миссис Гласс внезапно наклонилась, не вставая с места, протянула руку и взяла что-то с крышки бельевой корзины.

– У тебя там есть мочалка? – спросила она.

– Она называется «губка», а не мочалка, и мне нужно, Бесси, только одно, черт побери, – чтобы меня оставили одного в ванной. Это мое единственное простое желание. Если бы я мечтал, чтобы сюда нахлынули все пышнотелые ирландские розы, которым случилось проходить мимо, я бы об этом сказал. Пора, давай двигай отсюда.

– Зуи, – терпеливо сказала миссис Гласс. – Я держу в руках чистую мочалку. Нужна она тебе или не нужна? Скажи, пожалуйста, одно слово: да или нет?

– О господи! Да. Да. Да. Больше всего на свете. Бросай ее сюда!

– Я не собираюсь ее *бросать*, я ее дам тебе в руки. В этой семье вечно все швыряют.

Миссис Гласс поднялась, сделала три шага к занавесу и дождалась, когда оттуда протянулась рука, словно отделенная от тела.

– Благодарен до гроба. А теперь, пожалуйста, очисти помещение. Я и так уже потерял фунтов десять.

– Ничего удивительного. Сидишь в этой ванне буквально до посинения, а потом... *Это* еще что? – Миссис Гласс с неподдельным интересом наклонилась и взяла с полу рукопись, которую Зуи читал перед ее приходом. – Сценарий, который тебе прислал Лесаж? – спросила она. – *На полу?*

Ответа она не получила. Так Ева могла бы спросить у Каина, неужели это его чудная новая мотыга мокнет под дождем.

– Прекрасное место для рукописи, ничего не скажешь. Она отнесла рукопись к окну и бережно водрузила ее на батарею.

Потом осмотрела рукопись, словно проверяя, не подмокла ли она. Штора на окне была спущена – Зуи читал в ванной при верхнем свете, – но утренний свет пробился в щель под шторой и осветил первую страницу рукописи. Миссис Гласс склонила голову набок, чтобы удобнее было читать заглавие, и одновременно вытащила из кармана кимоно пачку длинных сигарет.

– «Сердце – осенний бродяга», – медленно прочла она вслух. – Необычное название.

Ответ из-за занавески послышался не сразу, но в нем звучало явное удовольствие.

– Какое? Какое там название?

Но миссис Гласс не удалось застать врасплох. Она отступила на прежнюю позицию и уселась с сигаретой в руке.

– *Необычное*, я сказала. Я не говорила, что оно красивое или еще что, поэтому...

– Ах, силы небесные. Надо вставать с утра пораньше, чтобы не пропустить классную вещь, Бесси, детка. А знаешь, какое у тебя сердце? *Твое сердце*, Бесси, – осенний гараж. Как тебе нравится заглавие для боевика? Черт побери, многие люди – многие *невежды* – полагают, что в нашем семействе нет прирожденных литераторов, кроме Симора и Бадди. Но стоит мне *подумать*, стоит мне на минутку присесть и подумать о чувствительной прозе и о гаражах... я готов все перечеркнуть, переиначить.

– Хватит, хватит, молодой человек, – сказала миссис Гласс.

Безотносительно к тому, какие заглавия телебоевиков ей нравились, и вообще независимо от ее эстетических вкусов в ее глазах блеснуло – мгновенно, но блеснуло – наслаждение знатока той манерой дерзить, которая отличала ее младшего сына, единственного красавца среди ее сыновей. На долю секунды это выражение согнало налет бесконечной усталости, который с самого начала разговора оставался у нее на лице. Однако она почти мгновенно снова приготовилась к защите.

– А что я сказала про это название? Оно и вправду очень необычное. А ты! Тебе ничто и никогда не кажется необычным или прекрасным! Я ни разу в жизни от тебя не слыхала...

– Чего? Чего ты не слыхала? Что именно мне не казалось прекрасным? – За занавесом слышался плеск, словно там разыгрался бесшабашный дельфин. Слушай, мне все равно, что бы ты ни сказала о моей родне, вере и убеждениях, Пышка, только не говори, что у меня нет чувства прекрасного. Не забывай, что это моя ахиллесова пята. Для меня *все на свете* прекрасно. Покажи мне розовый закат, и я весь размякну, ей-богу. – Что угодно. «Питера Пэна». Еще и занавес не поднимется в «Питере Пэне», а я уже к черту изошел слезами. И у тебя хватает смелости говорить мне...

– Ах, замолчи ты, – рассеянно сказала миссис Гласс.

Она тяжело вздохнула. Нахмурясь, она сильно затянулась сигаретой, потом выпустила дым через ноздри и сказала – скорее воскликнула:

– Если бы я только знала, что мне делать с этим ребенком! – Она сделала глубокий вдох. – Я просто ума не приложу, что делать! – Она пронзила занавеску для душа рентгеновским взглядом. – Ни от кого из вас нет никакого толку... Никакого. Твой отец даже *говорит* ни о чем не хочет. Ты-то знаешь! Конечно, он тоже беспокоится – я вижу по его лицу, – но он попросту не желает смотреть правде в глаза. – Миссис Гласс поджала губы. – Сколько я его знаю, он никогда не желал смотреть правде в глаза. Он думает, что все непривычное и неприятное само собой исчезнет, как только он включит радио и какая-нибудь бездарь завопит во весь голос.

Из-за занавеса донесся громкий взрыв смеха. Он почти не отличался от прежнего хохота, хотя *какая-то* разница и чувствовалась.

– Да, так оно и есть, – упрямо и уныло заявила миссис Гласс. Она наклонилась вперед. – А хочешь знать, что я на самом деле думаю. Хочешь?

– Бесси. Бога ради. Ты же все равно мне скажешь, так зачем же ты...

– Я думаю, честное слово, – и это совершенно серьезно, – я думаю, что он до сих пор надеется услышать всех вас по радио, как раньше. Я серьезно говорю, пойми... – Миссис Гласс снова глубоко вздохнула. – Каждый раз, когда ваш отец включает радио, я и вправду думаю, что он надеется поймать «Умного ребенка» и послушать, как все вы, детишки, *один за другим*, отвечаете на вопросы. – Она крепко сжала губы и замолчала, подчеркивая этой неумышленной паузой значение своих слов. – Я сказала: «все вы», – повторила она и внезапно села чуть прямее. – То есть и Симор, и Уолт. – Она снова резко и глубоко затянулась. – Он весь ушел в прошлое. С головой. Он почти *не смотрит* телевизор, когда не показывают т е б я. И не вздумай смеяться, Зуи. Это не смешно.

– Господи, да кто тут смеется?

– Да это чистая правда! Он абсолютно не подозревает, что с Фрэнни творится что-то неладное. Абсолютно! Как ты думаешь, что он мне сказал вчера после вечерних новостей? Не кажется ли мне, что Фрэнни съела бы *мандаринчик*? Ребенок лежит пластом и заливается слезами от каждого слова, да еще бормочет *бог знает что* себе под нос, а твой отец спрашивает: не хочет ли она мандаринчик? Я его чуть не убила. Если он еще хоть раз...

Миссис Гласс вдруг умолкла и уставилась на занавеску.

– Что тут смешного? – сурово спросила она.

– Ничего. Ничего, ничего, ничего. Мне мандаринчик понравился. Ладно, от кого еще нет никакого толку? От меня. От Леса. От Бадди. Еще от кого? Раскрой мне свое сердце, Бесси. Ничего не утаивай. В нашем семействе одно нехорошо – больно мы все скрытные.

– Мне не смешно, молодой человек. Это все равно, что смеяться над калекой, – сказала миссис Гласс. Она не спеша заправила выбившуюся прядь под сетку для волос. – Ох, если бы я

только могла дозвониться до Бадди по этому дурацкому телефону! Хотя на минутку. Он – единственный человек, который может разобраться во всех этих нелепостях. – Она подумала и продолжала с досадой: – Если уж польет, то как из ведра. – Она стряхнула пепел в левую руку, сложенную лодочкой. – Бу-Бу вернется после *десятого*. Уэйкеру я *побоялась* бы сказать, даже если бы мне удалось до него *добраться*. В жизни не видела подобного семейства. Честное слово. Считается, что все вы такие умники и все такое, а когда придет беда, от вас нет никакого толку. Ни от кого. Мне уже порядком надоело.

– Какая беда, силы небесные? Какая беда пришла? Чего тебе надобно, Бесси? Ты хочешь, чтобы мы пошли и прожили за Фрэнни ее жизнь?

– Сейчас же перестань, слышишь? Никто никого не заставляет жить за нее. Мне просто хотелось бы, чтобы к т о-нибудь пошел в гостиную и разобрался, что к чему, вот и все... Я хочу знать, когда наконец этот ребенок соберется обратно в колледж, чтобы кончить последний семестр. Я хочу знать, намерена ли она наконец проглотить хоть что-то *питательное*. Она же буквально ничего не ела с субботнего вечера – ничего! Я пробовала с полчаса назад заставить ее выпить чашечку чудного куриного бульона. Она выпила два глотка – и *все*. А то, что я заставила ее съесть вчера, она вытошнила. До капельки.

Миссис Гласс примолкла на миг – как оказалось, только перевести дух.

– Она сказала, что попозже, может, съест сырник. Но при чем тут *сырники*? Насколько я понимаю, она и так весь семестр питалась сырниками и кока-колой. Неужели во всех колледжах девушек так кормят? Я знаю одно: я-то не собираюсь кормить молоденькую девушку, да еще такую истощенную, едой, которая даже...

– Вот это боевой дух! Куриный бульон или ничего! Я вижу, ты ей спуска не даешь. И если уж она решила довести себя до нервного истощения, то пусть не надеется, что мы ее оставим в мире и спокойствии.

– Не смей *дерзить*, молодой человек – ох, что у тебя за язык! Если хочешь знать, я считаю, что именно такая еда могла довести организм ребенка до этого странного состояния. С раннего детства приходилось буквально силой впихивать в нее овощи или вообще что-нибудь *полезное*. Нельзя до бесконечности, годами пренебрегать своим телом – что бы ты там ни думал.

– Ты совершенно права. Совершенно права. И как это ты дьявольски проницательно смотришь в корень, уму непостижимо. Я прямо весь гусиной кожей покрылся... Черт подери, ты меня вдохновляешь. Ты меня воодушевляешь, Бесси. Знаешь ли ты, что ты сделала? Понятно ли тебе, что ты сделала? Ты придала всей этой теме свежее, новое, *библейское* толкование. Я написал в колледже четыре – нет, пять сочинений о Распятии, – и от каждого я чуть с ума не сходил – чувствовал, что чего-то не хватает. Теперь-то я знаю, в чем дело. Теперь мне все ясно. Я вижу Христа в *совершенно новом свете*. Его нездоровый фанатизм. Его грубое обращение с этими славными, разумными, консервативными, платящими десятину фарисеями. Ох, как же это здорово! Своим простым, прямолинейным, ханжеским способом ты отыскала потерянный ключ ко всему Новому Завету. *Неправильное питание*. Христос питался сырниками и кока-колой. Как знать, может, он и толпы кормил...

– *Замолчишь ты или нет!* – перебила его миссис Гласс спокойным, но грозным тоном. – Ох, так бы и заткнула тебе рот слюнявчиком.

– Что ж, давай. Я просто стараюсь поддерживать светскую беседу, как принято в ваннах.

– Какой ты остроумный! До чего же ты остроумный! Представь себе, молодой человек, что я вижу твою младшую сестру несколько в ином свете, чем нашего Господа. Может, я покажусь тебе чудачкой, но это так. Я не вижу ни малейшего сходства между *Спасителем* и слабенькой, издерганной студенткой из колледжа, которая читает слишком много книг о религии, и все такое! Ты, конечно, знаешь свою сестру не хуже, чем я, – во всяком случае, *должен* был бы знать. Она *ужасно* впечатлительная, и всегда была впечатлительная, ты это прекрасно знаешь!

На минуту в ванной стало до странности тихо.

– Мама? Ты все еще там сидишь? У меня ужасное чувство, что ты там сидишь и дымишь пятью сигаретами сразу. Точно? – Он подождал, но миссис Гласс не удостоила его ответом. – Я *не хочу*, чтобы ты тут рассиживалась, Бесси. Я хочу вылезти из этой проклятой ванны. Бесси? Ты

меня слышишь?

– Слышу, слышу, – сказала миссис Гласс. По ее лицу опять пробежала тень волнения. Она нервно выпрямилась.

– Она затащила с собой на кушетку этого идиотского Блумберга, – сказала она. – Это просто *негигиенично*.

Она тяжело вздохнула. Уже несколько минут она держала пепел от сигареты в левой руке, сложенной лодочкой. Теперь она нагнулась и, не вставая, стряхнула пепел в корзину для мусора.

– Я просто ума не приложу, что мне делать, – заявила она. – Ума не приложу, и все тут. Весь дом перевернулся вверх дном. Маляры почти закончили ее комнату, и им нужно переходить в гостиную *сразу же* после ленча. Не знаю, будить ее или нет. Она почти совсем не спала. У меня прямо ум за разум заходит. Знаешь, сколько лет прошло с тех пор, как я последний раз имела возможность пригласить маляров в эту квартиру? Почти двадцать...

– Маляры! А! Дело проясняется. О малярах-то я и позабыл. Послушай, а почему ты не пригласила их сюда? Места *предостаточно*. Хорош хозяин, нечего сказать – что они обо мне подумают, черт побери, – даже в ванную их не пригласил, когда...

– Помолчи-ка минутку, молодой человек. Я думаю.

Словно повинувшись приказу, Зуи принялся намыливать губку. Очень недолгое время в ванной слышался только тихий шорох. Миссис Гласс, сидя в восьми или десяти футах от занавеса, смотрела на голубой коврик на кафельном полу возле ванны... Ее сигарета догорела до последнего сантиметра. Она держала ее между кончиками двух пальцев правой руки. Стоило посмотреть, как она держит сигарету, как ваше первое, сильное (и абсолютно обоснованное) впечатление, что с ее плеч незримо ниспадает шаль уроженки Дублина, отправилось бы напрямик в некий литературный ад. Пальцы у нее были не только необыкновенно длинные, точеные – вообще-то таких не ожидаешь увидеть у женщины средней полноты, – но в них жила чуть заметная, царственная дрожь; этот элегантный тремор был бы уместен у низвергнутой балканской королевы или ушед-(шей на покой знаменитой куртизанки. И не только эта черта вступала в противоречие с дублинской черной шалью: ножки Бесси Гласс заставили бы вас широко раскрыть глаза, потому что они были бесспорно хороши. Это были ножки некогда всем известной красавицы, актрисы кабаре, танцовщицы, воздушной плясуньи. Сейчас она сидела, уставясь на коврик и скрестив ноги, так что поношенная белая туфля из махровой материи, казалось, вот-вот сорвется с кончиков пальцев. Ступни были удивительно маленькие, щиколотки сохраняли стройность, и, что самое замечательное, икры оставались крепкими и явно никогда не знали расширения вен.

Внезапно миссис Гласс вздохнула еще глубже, чем обычно, – казалось, вся жизненная сила излилась в этом вздохе. Она встала, понесла свою сигарету к раковине, подставила под струю холодной воды, бросила погасший окурочек в корзину и снова села. Но она так и не вышла из глубокого транса, в который сама себя погрузила, так что казалось, что она вовсе не двигалась с места.

– Я вылезаю через три секунды, Бесси! Честно предупреждаю... Давай-ка, брат, не будем злоупотреблять гостеприимством.

Миссис Гласс, все еще не отрывая взгляда от голубого коврика, ответила на это «честное предупреждение» рассеянным кивком. Стоит заметить – даже подчеркнуть, – что, если бы Зуи в эту минуту видел ее лицо и особенно ее глаза, он захотел бы всерьез – хотя, может быть, и ненадолго – вспомнить, восстановить, прослушать все то, что он говорил, все свои интонации – и смягчить их. С другой стороны, такого желания могло и не быть. В 1955-м это было чрезвычайно мудреное, тонкое дело – правильно истолковать выражение лица Бесси Гласс, в особенности то, что отражалось в ее громадных синих глазах... И если прежде, несколько лет назад, ее глаза сами могли возвестить (всему миру или коврику в ванной), что она потеряла двух сыновей: один из них покончил с собой (ее любимый, совершенно такой, как хотелось, самый сердечный из всех), а другого убили на второй мировой войне (это был ее единственный беспечный сын), если раньше глаза Бесси Гласс могли сами поведать об этом так красноречиво и с такой страстью к подробностям, что ни ее муж, ни оставшиеся в живых дети не то что осмыслить, даже вынести такой взгляд не могли, то в 1955-м она использовала это же сокрушительное кельтское вооруже-

ние, чтобы сообщить – обычно прямо с порога, – что новый рассыльный не принес баранью ногу или что какая-то мелкая голливудская звездочка разводится с мужем.

Она закурила новую длинную сигарету, резко затянулась и встала, выдыхая дым.

– Я сию минуту вернусь. – Это заявление невольно прозвучало как обещание. – И, пожалуйста, становись на коврик, когда будешь вылезать, – добавила она. – Для этого он тут и лежит.

И она ушла из ванной, плотно прикрыв за собой дверь. Как будто после пребывания в наскоро сооруженном плавучем доке, пароход «Куин Мери» выходил, скажем, из Уолденского пруда так же внезапно и противоестественно, как он ухитрился туда войти. Под прикрытием занавеса Зуи на несколько секунд закрыл глаза, словно его утлое суденышко беспомощно качалось на поднятой волне... Потом он отодвинул занавес и воззрился на закрытую дверь. Взгляд был тяжелый, и в нем почти не было облегчения. Можно с полным правом сказать, не боясь парадоксальности, что это был взгляд любителя уединения, который уже претерпел вторжение постороннего, и ему не очень-то нравится, когда нарушитель спокойствия просто так вскакивает и уходит – раз-два-три, и все.

Не прошло и пяти минут, как Зуи уже стоял босиком перед раковиной, его мокрые волосы были причесаны, он надел темно-серые брюки из плотной ткани и накинул на плечи полотенце. Он уже приступил к ритуалу, предшествующему бритью. Уже поднял занавеску на окне до середины, приоткрыл дверь ванной, чтобы выпустить пар и дать отпотеть зеркалам; закурил сигарету, затянулся и поместил ее на полку матового стекла под зеркалом на аптечке. В данный момент Зуи как раз кончил выжимать крем для бритья на кончик кисточки. Он сунул незавинченный тюбик куда-то подальше в эмалированную глубину, чтобы не мешал. Провел ладонью туда и обратно по зеркалу на аптечке, и большая часть запотевшего стекла с повизгиванием очистилась. Тогда он стал намыливать лицо. Зуи применял приемы намыливания, значительно отличающиеся от общепринятых, но зато вполне соответствующие его технике бритья. А именно, хотя он, покрывая лицо пеной, и гляделся в зеркало, но не для того, чтобы следить за движением кисточки, – он смотрел прямо себе в глаза, как будто его глаза были нейтральной территорией, ничейной землей в той его личной войне с самовлюбленностью, которую он вел с семи или восьми лет. Теперь-то, когда ему было уже двадцать пять, эта маленькая военная хитрость уже вошла в привычку – так ветеран-бейсболист, выйдя на базу, без всякой видимой надобности постукивает битой по шипам на подошвах. Тем не менее несколько минут назад, причесываясь, он почти не пользовался зеркалом. А еще раньше он ухитрялся, вытираясь перед зеркалом, в котором он отражался в полный рост, ни разу на себя не взглянуть.

Только он кончил намыливать лицо, как в зеркале внезапно возникла его мать. Она стояла на пороге, в нескольких футах за его спиной, не отпуская ручку двери, – воплощение притворной нерешительности – перед тем как снова войти в ванную.

– Ах! Какой милый сюрприз! – обратился Зуи к зеркалу. – Входите, входите! – Он засмеялся, вернее захохотал, открыл дверцу аптечки и взял свою бритву.

Помедлив немного, миссис Гласс подошла поближе.

– Зуи, – сказала она. – Я вот о чем думала... Место, где она сидела раньше, было по левую руку от Зуи, и она уже почти что села.

– Не садись! Дай мне наглядеться на тебя, – сказал Зуи.

Видимо, настроение у него поднялось, после того как он вылез из ванны, натянул брюки и причесался. – Не так уж часто в нашем скромном храме бывают гости, и мы хотели бы встретить их...

– Уймись ты хоть на минуту, – твердо сказала миссис Гласс и уселась. Она скрестила ноги. – Вот о чем я подумала. Как ты считаешь: стоит ли пытаться вызвать Уэйкера? Лично мне кажется, что ни к чему, но ты-то как думаешь? Я хочу сказать, что девочке нужен хороший психиатр, а не пастор или еще кто-то, но, может быть, я *ошибаюсь*?

– О нет. Нет, нет. *Не ошибаешься*. Насколько мне известно, ты никогда не ошибаешься, Бесси. Все факты у тебя или неверные, или преувеличенные – но ты никогда *не ошибаешься*, нет, нет.

С видимым удовольствием Зуи смочил бритву и приступил к бритью.

– Зуи, я тебя *спрашиваю* – и, пожалуйста, перестань дурачиться. Нужно разыскивать Уэйкера или не нужно? Я могла бы позвонить этому епископу Пинчоту, или как его там, и он, может быть, хоть скажет мне, куда *телеграфировать*, если он до сих пор на каком-то дурацком корабле.

Миссис Гласс подтянула к себе корзинку для мусора и стряхнула в нее пепел с сигареты, которую она курила.

– Я спрашивала Фрэнни, не хочет ли она поговорить с ним по телефону, – сказала она. – Если я его разыщу. Зуи быстро сполоснул бритву.

– А она что? – спросил он.

Миссис Гласс уселась поудобнее, чуть подавшись вправо.

– Она сказала, что не хочет говорить *ни с кем*.

– Ага. Но мы-то не так просты, верно? Мы-то не собираемся покорно принимать такой прямой отказ, да?

– Если хотите знать, молодой человек, то сегодня я вообще не собираюсь обращать внимание ни на какие ответы этого ребенка, – отрезала миссис Гласс. Она обращалась к покрытому пеной профилю Зуи. – Когда перед вами молодая девушка, которая лежит в комнате, плачет и *бормочет* что-то себе под нос двое суток подряд, вы не станете дожидаться от нее *ответов*.

Зуи продолжал бриться, оставив эти слова без комментариев.

– Ответь на мой вопрос, пожалуйста. Как ты считаешь: нужно мне разыскивать Уэйкера или нет? Честно говоря, я *побаиваюсь*. Он такой впечатлительный – хотя он и священник. Стоит сказать Уэйкеру, что будет дождь, и у него уже глаза на мокром месте.

Зуи переглянулся со своим отражением в зеркале, чтобы поделиться удовольствием, которое ему доставили эти слова.

– Для тебя еще не все потеряно, Бесси, – сказал он.

– Ну, знаешь ли, раз я не могу дозвониться Бадди, и даже ты не желаешь помогать, надо же мне хоть *что-нибудь* делать, – сказала миссис Гласс. Она немного покурила с чрезвычайно встревоженным видом. – Если бы там было что-то строго католическое или что-нибудь в этом роде, я бы сама ей помогла. Я же *не все* еще перезабыла. Но ведь вас, детей, никто не воспитывал в католическом духе, и я никак не пойму...

Зуи перебил ее.

– Ошибаешься, – сказал он, поворачивая к ней покрытое пеной лицо. – Ты ошибаешься. Не в том дело. Я тебе говорил еще вчера вечером. То, что творится с Фрэнни, не имеет ни малейшего отношения к разным вероисповеданиям. – Он сполоснул бритву и продолжал бриться. – Уж ты поверь мне на слово, пожалуйста.

Миссис Гласс требовательно смотрела на него сбоку, словно ждала, что он еще что-то скажет, но он молчал. Наконец она со вздохом сказала:

– Я бы на минутку успокоилась, если бы мне удалось хотя бы вытащить у нее из постели этого жуткого Блумберга. Это даже *негигиенично*. Она затянулась. – И я не представляю, как быть с малярами. Они вот-вот закончат ее комнату и начнут грызть удила от нетерпения и рваться в гостиную.

– А знаешь, ведь я единственный во всем семействе не мучаюсь никакими проблемами, – сказал Зуи. – А почему, знаешь? Потому, что если мне взгрустнется или я чего-то «никак не пойму», что я делаю? Я собираю маленькое заседание в ванной комнате – и мы общими силами разбираемся в этом вопросе, и все в порядке.

Миссис Гласс чуть не позволила отвлечь себя изложением нового метода решения проблем, но в этот день она была неприступна для шуток. Она некоторое время смотрела на Зуи, и у нее в глазах стало проступать новое выражение: решительное, хитрое, чуть безнадежное.

– Видишь ли, я не так глупа, как тебе кажется, молодой человек, сказала она. – Вы все такие *скрытные*, дети. Но так уж получилось, если хочешь знать, что мне известно про все ваши секреты гораздо больше, чем вы думаете.

Чтобы придать вес своим словам, она сжала губы и стряхнула воображаемый пепел с подо-

ла своего кимоно.

– Если хочешь знать, мне известно, что эта маленькая книжонка, которую она таскает за собой по всему дому, и есть *корень зла*.

Зуи обернулся и взглянул на нее. Он улыбался.

– А как ты до этого додумалась?

– Можешь не ломать себе голову, как я до этого додумалась, – сказала миссис Гласс. – Если хочешь знать, Лейн звонил сюда уже *несколько раз*. Он *ужасно* беспокоится за Фрэнни.

– Это еще что за птица? – спросил Зуи. Он сполоснул бритву.

Это явно был вопрос еще очень молодого человека, которому иногда вдруг не хочется признаваться, что он знает кого-то по имени.

– Ты прекрасно знаешь, молодой человек, кто это такой, – сказала миссис Гласс, подчеркивая каждое слово. – Лейн *Кутель*. Уже целый год как он ухаживает-за Фрэнни. Насколько мне известно, ты видел его не раз и не два, так что не притворяйся, будто не знаешь, что он – кавалер Фрэнни.

Зуи от всего сердца расхохотался, как будто ему доставляло живейшее удовольствие разоблачение любого притворства, в том числе и его собственного. Он продолжал бриться, ужасно довольный.

– Надо говорить не «кавалер» Фрэнни, а «приятель» Фрэнни. Почему ты так несовременна, Бесси? Ну почему? А?

– Пусть тебя не волнует, отчего я так несовременна. Может быть, тебе интересно узнать, что он звонил сюда пять или шесть раз и два раза сегодня утром, – ты еще и *встать* не успел. Он очень милый, и он ужасно беспокоится и огорчается из-за Фрэнни.

– Не то что некоторые, да? Конечно, не хочу разбивать твои иллюзии, но я провел с ним несколько часов, и он вовсе не милый. Просто лицемер-обаяшка. Кстати, тут кто-то брил свои подмышки или свои треклятые ноги моей бритвой. Или *ронял* ее. Колодка совсем...

– Никто вашу бритву не трогал, молодой человек. А почему это он – лицемер-обаяшка, можно спросить?

– Почему? Такой уж он получился, и все. Может быть, потому, что это выгодно. Послушай. Если он вообще беспокоится за Фрэнни, то, могу поспорить, по самым ничтожным причинам. Может, он беспокоится, потому что ему не хотелось уходить с того дурацкого футбольного матча во время игры, – может, он беспокоится, потому что не сумел скрыть свое недовольство и знает, что у Фрэнни хватит ума это понять. Я себе точно представляю, как этот щенок сажает ее в такси, потом в поезд и потом всю дорогу прикидывает, как бы успеть вернуться до конца тайма.

– Ох, с тобой невозможно разговаривать! То есть абсолютно невозможно! Не понимаю, зачем я это затеяла, просто не понимаю. Ты – вылитый Бадди. Ты уверен, что все всё делают по каким-то *особым причинам*. Ты не веришь, что кто-то может позвонить кому-то без каких-нибудь гадких, эгоистических поводов.

– Именно так – в девяти случаях из десяти. И этот фрукт Лейн не исключение, можешь быть уверена. Слушай, я говорил с ним двадцать пропавших минут как-то вечером, пока Фрэнни одевалась, и я говорю, что он дутая пустышка.

Он задумался. Бритва застыла в его руке.

– Что это он там мне травил? Что-то очень *лестное*. Что же?.. Ах, да. Да. Он говорил, что слушал меня и Фрэнни каждую неделю, когда был маленький, и знаешь, что он проделывал, этот щенок? Он меня возвеличивал за счет Фрэнни. И абсолютно без всяких *причин*, только ради того, чтобы втереться ко мне в доверие и щегольнуть своим честолюбивым студенческим умишком. – Зуи высунул язык и издал что-то вроде презрительного фырканья. Фу, – сказал он и снова стал бриться. – Фу, противны мне все эти мальчишки из колледжей в белых туфельках, редактирующие студенческие литературные журналы. Я предпочитаю честного шулера.

Миссис Гласс взглянула на него сбоку долгим и, как ни странно, понимающим взглядом.

– Этот юноша даже еще не кончил колледжа. А вот ты нагоняешь на людей страх, молодой человек, – сказала она очень спокойно. – Ты или принимаешь кого-то, или нет. Если человек те-

бе понравился, ты сам начинаешь разглагольствовать, так что никто словечка вставить не может. А уж если тебе кто не понравился – что бывает гораздо чаще, – то ты сидишь как сама смерть и ждешь, пока человек собственноручно не выроет себе яму. Я видела, как это у тебя получается.

Зуи повернулся всем телом и посмотрел на мать. Он обернулся и посмотрел на нее на этот раз точно так же, как в разных случаях и в разные годы оборачивались и смотрели на нее все его братья и сестры (особенно братья). В этом взгляде было не просто искреннее удивление тем, что истина – пусть не вся, а кусочками – всплывает на поверхность непроницаемой на вид массы, состоящей из предрассудков, банальностей и плоских мыслей. В этом взгляде было и восхищение, и любовь, и – в немалой степени – благодарность. И, как ни странно, миссис Гласс неизменно принимала эту дань восхищения как должное, с великолепным спокойствием. Она обычно милостиво и кротко глядела на сына или дочь, наградивших ее таким взглядом. И сейчас она смотрела на Зуи с благосклонным и смиренным выражением.

– Да, я видела, – сказала она без осуждения. – Вы с Бадди не умеете разговаривать с людьми, которые вам не нравятся. – Она обдумала сказанное и поправила себя: – Вернее, которых вы не любите.

А Зуи так и стоял, глядя на нее и позабыв о бритье.

– Это несправедливо, – сказала она серьезно, печально. – Ты становишься слишком похож на Бадди, каким он был в твоём возрасте. Даже твой отец заметил. Если кто-то тебе не понравился в первые две минуты, ты с ним не желаешь иметь дела, и все.

Миссис Гласс рассеянно перевела взгляд на голубой коврик на кафельном полу. Зуи старался вести себя как можно тише, чтобы не спугнуть ее настроение.

– Нельзя жить на свете с такими сильными симпатиями и антипатиями, – обратилась миссис Гласс к голубому коврику, потом снова обернулась к Зуи и посмотрела на него долгим взглядом, почти или вовсе лишенным какой бы то ни было назидательности. – Что бы ты об этом ни думал, молодой человек, – добавила она.

Зуи ответил ей прямым взглядом, потом с улыбкой отвернулся к зеркалу и стал изучать свой подбородок. Миссис Гласс вздохнула, следя за ним. Она нагнулась и погасила сигарету о металлическую стенку мусорной корзины. Почти сразу же она закурила новую сигарету и заговорила веско и многозначительно:

– Во всяком случае, твоя сестра говорит, что у него блестящие способности. У Лейна.

– Это, брат, просто голос пола, – сказал Зуи. – Этот голос мне знаком. Ох, как мне знаком этот голос!

Зуи уже сбрил последние следы пены с лица и шеи. Он придирчиво ощупал одной рукой горло, затем взял кисточку и стал заново намыливать стратегически важные участки на лице.

– Ну, ладно, что там этот Лейн хотел сказать по телефону? Что, по мнению Лейна, послужило причиной всех горестей Фрэнни?

Миссис Гласс подалась вперед и с горячностью сказала:

– Понимаешь, *Лейн* говорит, что во всем виновата – во всем – эта маленькая книжонка, которую Фрэнни вчера читала не отрываясь и даже таскала ее всюду с собой!

– Эту книжечку я знаю. Дальше.

– Так вот, он говорит, что это ужасно религиозная книжка – *фанатическая* и все такое – и что она взяла ее в библиотеке у себя в колледже и что теперь она думает, что, может быть, она...

Миссис Гласс внезапно осеклась. Зуи обернулся с несколько угрожающей быстротой.

– В чем дело? – спросила она.

– Где она ее взяла, он говорит?

– В библиотеке колледжа. А что? Зуи затряс головой и повернулся к раковине. Он положил кисточку для бритья и открыл аптечку.

– Что тут такого? – спросила миссис Гласс. – Что тут такого? Что ты на меня так смотришь, молодой человек?

Зуи распечатывал новую пачку лезвий и не отвечал. Потом, развинчивая бритву, он сказал:

– Ты такая глупая, Бесси. – Он выбросил лезвие из бритвы.

– Почему это я такая глупая? Кстати, ты только *вчера* вставил новое лезвие.

Зуи, не пошевелив бровью, вставил в бритву новое лезвие и принялся бриться по второму заходу.

– Я задала вам вопрос, молодой человек. Почему это я такая глупая? Что, она не брала эту книжку в библиотеке колледжа, да?

– Нет, не брала, Бесси, – сказал Зуи, продолжая бриться. – Эта книжка называется «Странник продолжает путь» и является продолжением другой книжечки под названием «Путь странника», которую она тоже повсюду таскает с собой, и обе книги она взяла в бывшей комнате Симора и Бадди, где они лежали на письменном столе с незапамятных времен. Господи Иисусе!

– Пусть, но из-за этого нечего всех оскорблять! Неужели так ужасно считать, что она взяла их в библиотеке колледжа и просто привезла...

– Да! Это ужасно. Это ужасно, потому что обе книги годами торчали на столе Симора. Это убийственно.

Неожиданная, на редкость непротивленческая интонация прозвучала в голосе миссис Гласс.

– Я не хожу в эту комнату без особой необходимости, и ты это знаешь, – сказала она. – Я не смотрю на старые... на вещи Симора.

Зуи поспешно сказал:

– Ладно, прости меня. – Не глядя на нее, и несмотря на то, что бритье по второму заходу еще не было кончено, он сдернул полотенце с плеч и вытер с лица остатки пены. – Давай-ка временно прекратим этот разговор, – сказал он и бросил полотенце на батарею; оно упало на титульный лист пьесы про Рика и Тину. Зуи развинтил бритву и стал промывать ее под струей холодной воды.

Извинился он искренне, и миссис Гласс это знала, но она явно не могла побороть искушение воспользоваться своим столь редким преимуществом.

– Ты не добрый, – сказала она, глядя, как он моет бритву. – Ты совсем не добрый, Зуи. Ты уже достаточно взрослый, чтобы попытаться найти в себе хоть капельку доброты, когда тебе хочется кого-то уколоть. Вот Бадди, по крайней мере, когда он хочет...

Она одновременно ахнула и сильно вздрогнула, когда бритва Зуи – с новым лезвием – с размаху грохнула о металлическую стенку мусорной корзины.

Вполне возможно, что Зуи не собирался со всего маху бросать свою бритву в мусорную корзину, он только так резко и сильно опустил левую руку, что бритва вырвалась и упала. Во всяком случае, было ясно, что больно удариться рукой о край раковины он вовсе не собирался.

– Бадди, Бадди, *Бадди*, – сказал он. – Симор, Симор, *Симор*.

Он обернулся к матери, которую стук бритвы скорее вспугнул и встревожил, чем напугал всерьез.

– Мне так надоело слышать эти имена, что я готов горло себе перерезать. – Лицо у него было бледное, но почти совершенно спокойное. – Весь этот чертов дом провонял привидениями. Ну ладно, пусть меня преследует дух мертвеца, но я *не желаю*, черт побери, чтобы за мной гонялся еще дух полумертвеца. Я молю Бога, чтобы Бадди наконец решился. Он повторяет все, что до него делал Симор, или старается повторить. Покончил бы он с собой, к черту – и дело с концом.

Миссис Гласс мигнула – всего разок, и Зуи тут же отвел глаза. Он нагнулся и выудил свою бритву из мусорной корзины.

– Мы – уроды, мы оба, Фрэнни и я, – заявил он, выпрямляясь. – Я двадцатипятилетний урод, а Фрэнни – двадцатилетний уродец, и виноваты эти два подонка.

Он положил бритву на край раковины, но она со стуком соскользнула вниз. Он быстро подхватил ее и больше не выпускал.

– У Фрэнни это позже проявляется, чем у меня, но она тоже уродец, и ты об этом не забывай. Клянусь тебе, я мог бы прикончить их обоих и глазом бы не моргнул! Великие учителя. Великие освободители. Господи! Я даже не могу сесть позавтракать с другим человеком и просто поддержать приличный разговор. Я начинаю так скучать или такое нести, что, если бы у этого сукина сына была хоть крупинка ума, он разбил бы стул об мою голову.

Он вдруг открыл аптечку. Некоторое время он смотрел внутрь довольно бессмысленно, как будто забыл, зачем открыл дверцу, потом положил мокрую бритву на ее обычное место.

Миссис Гласс сидела совершенно неподвижно, и маленький окурок дотлевал в ее пальцах. Она смотрела, как Зуи завинчивает колпачок на тюбике с кремом для бритья. Он не сразу нащупал нарезку.

– Конечно, это никому не интересно, но я до сих пор, до сегодняшнего дня не могу съесть несчастную тарелку супа, черт побери, пока не произнесу про себя Четыре Великих Обета, и спорю на что угодно, что Фрэнни тоже не может. Они натаскивали нас с таким чертовским...

– Четыре Великих чего? – перебила его миссис Гласс довольно осторожно.

Зуи оперся руками о края раковины и чуть подался грудью вперед, не сводя глаз с эмалевой белизны. При всей своей хрупкости он, казалось, был способен сейчас обрушить раковину вниз, сквозь пол.

– Четыре Великих Обета, – сказал он и даже зажмурился от злости. – "Пусть живые существа *неисчислимы* – я клянусь спасти их; пусть страсти *необоримы* – я клянусь погасить их; пусть Дхармы *неисчерпаемы* – я клянусь овладеть ими; пусть истина Будды *непостижима* – я клянусь постигнуть ее". Ну как, ребята? Я говорил, что справлюсь. А ну-ка, тренер, выпускай меня на поле.

Глаза у него все еще были зажмурены.

– Боже мой, я бормотал это про себя по три раза в день перед едой, каждый божий день с десяти лет. Я *есть* не мог, пока не скажу эти слова. Как-то раз я попробовал пропустить их, когда обедал с Лесажем. Все равно они меня настигли, так что я чуть не подавился какой-то треклятой устрицей.

Он открыл глаза, нахмурился, не меняя своей странной позы.

– Слушай, а не пора ли тебе выйти отсюда, Бесси? – сказал он. – Я серьезно говорю. Дай мне довершить в мире это чертово омовение, прошу тебя. Он снова закрыл глаза, и можно было подумать, что он опять собирается протолкнуть раковину в нижний этаж. И хотя он наклонил голову, кровь почти вся отхлынула от его лица.

– Хоть бы ты поскорее женился, – вырвалось у миссис Гласс ее самое заветное желание.

В семье Глассов все – и, конечно, Зуи не меньше других – частенько сталкивались с подобной непоследовательностью миссис Гласс. Обычно такие реплики во всей своей красе и величии рождались как раз в такие моменты эмоциональных взрывов, как сейчас. Но на этот раз Зуи был застигнут врасплох. Он издал носом какой-то взрывообразный звук – то ли смех, то ли совсем наоборот. Миссис Гласс не на шутку встревожилась и даже наклонилась вперед, чтобы получше рассмотреть, что с ним. Оказалось, что звук более или менее мог сойти за смех, и она, успокоившись, села прямо.

– Да, я *хочу*, чтобы ты женился, – настойчиво сказала она. – Почему ты не хочешь жениться?

Зуи выпрямился, вынул из кармана брюк сложенный полотняный платок, встряхнул его и высморкался раз, другой и третий. Он положил платок в карман и сказал:

– Я слишком люблю ездить в поезде. Стоит только жениться, и ты уже никогда в жизни не сможешь сидеть у окошка.

– Это не причина!

– Самая серьезная причина. Ступай-ка отсюда, Бесси. Оставь меня в мире и спокойствии. Почему бы тебе не пойти покататься на лифте? Кстати, если ты не бросишь эту чертову сигарету, ты сожжешь себе пальцы.

Миссис Гласс погасила сигарету о стенку мусорной корзины, как и все прежние. Потом она чуточку посидела, не вытаскивая сигареты со спичками. Она смотрела, как Зуи взял расческу и заново сделал прическу.

– Тебе не мешало бы *подстричься*, молодой человек, – сказала она. – Ты становишься похож на одного из этих диких *венгерцев*, или как их там, когда они выныривают из бассейна.

Зуи широко улыбнулся и несколько секунд продолжал причесываться, а потом вдруг обер-

нулся. Он взмахнул расческой перед лицом матери.

– И вот что еще. Пока я не забыл. Слушай меня внимательно, Бесси, – сказал он. – Если тебе придет в голову мысль, как вчера вечером, позвонить этому чертову психоаналитику Филли Бирнса по поводу Фрэнни, ты подумай только об одном – я больше ни о чем не прошу. Только подумай, до чего психоанализ довел Симора. – Он помолчал, подчеркивая значительность своих слов. – Слышишь? Не забудешь?

Миссис Гласс тут же стала без надобности поправлять сетку на волосах, потом вытащила сигареты со спичками, но просто держала их некоторое время в руке.

– Если хочешь знать, – сказала она, – я вовсе не говорила, что *собираюсь* звонить психоаналитику Филли Бирнса, я сказала, что *думаю*, не позвонить ли ему. Во-первых, это не простой психоаналитик. Он очень верующий к а т о л и к-психоаналитик, и я подумала, что так будет лучше, чем сидеть и смотреть, как этот ребенок...

– Бесси, я тебя предупреждаю, черт побери. Мне плевать, даже если он верующий буддист-ветеринар. Если ты собираешься вызывать разных...

– Поменьше сарказма, молодой человек. Я знала Филли Бирнса совсем маленьким, крохотным мальчуганом. Мы с твоим отцом *много лет* играли вместе с его родителями. И я знаю, представь себе, что лечение у психоаналитика сделало этого мальчика совершенно *иным, прелестным* человеком. Я разговаривала с его...

Зуи швырнул расческу на полку и сердито захлопнул дверцу аптечки.

– Ох, и глупа же ты, Бесси, – сказал он. – Филли *Бирнс*. Филли Бирнс – несчастный маленький потеющий импотент, ему за с о р о к, и он полжизни спит с четками и журналом «Варьете» под подушкой. Мы говорим о вещах, различных, как день и ночь. Послушай-ка, Бесси. – Зуи всем телом повернулся к матери и внимательно поглядел на нее, опираясь ладонью, словно для устойчивости, на эмалированный край раковины. – Ты меня слушаешь?

Миссис Гласс, прежде чем дать утвердительный ответ, закурила сигарету. Выпустив дым и стряхивая воображаемый пепел с колен, она мрачно изрекла:

– Я тебя слушаю.

– Хорошо. Я говорю *очень* серьезно, пойми. Если ты – слушай меня внимательно, – если ты не можешь или не хочешь думать о Симоре, тогда валяй, зови какого-нибудь недоучку-психоаналитика. Зови, пожалуйста. Давай приглашай аналитика, который умеет приспособливать людей к таким радостям, как телевизор, и журнал «Лайф» по средам, и путешествие в Европу, и водородная бомба, и выбор президента, и первая страница «Таймса», и обязанности Родительско-Учительского совета Вестпорта или Устричной гавани, и бог знает к каким еще радостям восхитительно нормального человека, давай попробуй, и я клянусь тебе, что и года не пройдет, как Фрэнни будет сидеть в *психушке* или бродить по пустыне с пылающим распятием в руках.

Миссис Гласс стряхнула еще несколько воображаемых пушинок пепла.

– Ну ладно, ладно, *не расстраивайся*, – сказала она. – Ради бога. Никто еще никого не вызывал.

Зуи рывком открыл дверцу аптечки, заглянул внутрь, потом достал пилку для ногтей и закрыл дверцу. Он взял сигарету, лежавшую на краю стеклянной полки, и затянулся, но сигарета давно погасла. Его мать сказала:

– На, – и протянула ему пачку длинных сигарет и спички.

Зуи достал сигарету из пачки и даже успел взять ее в зубы и чиркнуть спичкой, но тут он так сильно задумался, что ему стало не до курения; он задул спичку и вынул сигарету изо рта. Он сердито тряхнул головой.

– Не знаю, – сказал он. – Мне кажется, что где-то в закоулках нашего города должен отыскаться какой-то психоаналитик, который мог бы помочь Фрэнни, – я об этом думал вчера вечером. – Он слегка поморщился. – Но я-то ни одного такого не знаю. Чтобы помочь Фрэнни, он должен быть совершенно не похож на других. Не знаю. Во-первых, он должен верить, что занимается психоанализом с благословения Божия. Он должен верить, что только Божией милостью он не попал под какой-нибудь дурацкий грузовик еще до того, как получил право на практику.

Он должен верить, что только милостью Божией ему дарован *природный ум*, чтобы хоть как-то помогать своим пациентам, черт побери. Я не знаю ни одного *хорошего* психоаналитика, которому такое пришло бы в голову... Но только такой психоаналитик мог бы помочь Фрэнни. Если она наткнется на жуткого фрейдиста, или жуткого эклектика, или просто на жуткого зануду – на человека, который даже не способен испытывать хотя бы дурацкую, мистическую *благодарность* за свою проницательность и интуицию, – то после анализа она станет даже хуже, чем Симор. Я прямо до чертиков перепугался, когда об этом подумал. И не будем больше об этом говорить, если не возражаешь.

Он долго раскуривал свою сигарету. Потом, выпустив клуб дыма, он положил сигарету на полку, где раньше лежала погасшая сигарета, и принял более непринужденную позу. Он начал чистить пилкой ногти, хотя они были совершенно чистые.

– И если ты не будешь перебивать меня, – сказал он, помолчав, – я расскажу тебе про эти две книжечки, которые Фрэнни носит с собой. Интересно тебе или нет? Если не интересно, мне тоже не хочется...

– Да, мне интересно! *Конечно*, интересно! Неужели ты думаешь, что я...

– Ладно, только не перебивай меня каждую минуту, – сказал Зуи, опираясь спиной о край раковины. Он продолжал обрабатывать ногти пилкой. – В обеих книжках рассказывается о русском крестьянине, который жил в конце прошлого века, – сказал он тоном, который мог сойти для его немилосердно прозаического голоса за повествовательный. – Это очень простой, очень славный человек, сухорукий. А это, само собой, уже делает его для Фрэнни родным существом: у нее же сердце – настоящий странноприимный дом, черт возьми.

Он обернулся, взял сигарету со стеклянной полочки, затянулся и снова занялся своими ногтями.

– Поначалу, как рассказывает маленький крестьянин, были у него и жена, и хозяйство. Но у него был ненормальный брат, который спалил его дом, потом, по-моему, жена взяла да и умерла. В общем, он отправляется странствовать. И ему надо решить одну загадку. Всю жизнь он читал Библию, и вот он хочет знать, как понимать слова в Послании к Фессалоникийцам: «Непрестанно молитесь»⁸. Эта строчка его все время преследует.

Зуи опять достал свою сигарету, затянулся и сказал:

– В Послании к Тимофею есть похожая строчка: «Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы...»⁹ Да и сам Христос тоже говорит: «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь»¹⁰.

С минуту Зуи молча работал пилкой, и лицо его сохраняло удивительно угрюмое выражение.

– В общем, так или иначе, он отправляется странствовать в поисках учителя, – сказал он. – Ищет кого-нибудь, кто научил бы его, *как* молиться непрестанно и *зачем*. Он идет, идет, идет – от храма к храму, от святыни к святыне, беседует с разными священниками. Но вот наконец он встречает простого старца, монаха, который, как видно, знает, что к чему. Старец говорит ему, что единственная молитва, которая в любое время доходит до Бога, которая Богу «угодна», – это Иисусова молитва: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Собственно говоря, полная молитва такая: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя, грешного», но в обеих книгах странника никто из посвященных – и слава богу – не придает особого значения прибавке о грехах. В общем, старец объясняет ему, что произойдет, если молитву повторять непрестанно. Он несколько раз показывает ему, как это делается, и отпускает его домой. И в о т – чтобы не растягивать рассказ – через некоторое время странничек осваивает эту молитву. Он ею овладевает. Вне себя от радости, которую ему приносит новая духовная жизнь, он пускается странствовать по всей России – по дре-

⁸ 1-е Послание к Фессалоникийцам, 5, 17.

⁹ 1-е Послание к Тимофею, 2.

¹⁰ Евангелие от Луки, 21, 36.

мучим лесам, по городам и весям, и так далее, повторяя дорогой свою молитву и обучая всех встречных творить ее.

Зуи быстро вскинул глаза и посмотрел на мать.

– Ты слушаешь, а, толстая старая Друдка? – спросил он. – Или просто глазеешь на мое прекрасное лицо? Миссис Гласс возмутилась:

– Слушаю, конечно, слушаю!

– Ладно – не хватало мне тут только гостей, которые удирают с концерта посередине. – Зуи громко расхохотался, потом затянулся сигаретой. Сигарету он не выпускал из рук, продолжая орудовать пилкой для ногтей. – В первой из двух книжечек, «Путь странника», – сказал он, – большей частью описаны приключения странничка в пути.

Кого он встречает, что о нем кому говорит, что они ему говорят – между прочим, он встречает чертовски славных людей. А продолжение, «Странник продолжает путь», – это, собственно говоря, диссертация в форме диалога о том, зачем и к чему нужна Иисусова молитва. Странник, учитель, монах и кто-то вроде отшельника встречаются и обсуждают эти вопросы. Вот в общих чертах и все, что там написано.

Зуи бросил на мать очень быстрый взгляд и взял пилку в другую руку.

– А задача *обеих* книжечек, если тебе это интересно, – сказал он, – заключается, по видимому, в том, чтобы доказать всем людям необходимость и *пользу* от непрерывного повторения Иисусовой молитвы. Вначале под руководством опытного учителя – вроде христианского гуру, – а потом, когда человек немного освоит эту молитву, он должен повторять ее уже самостоятельно. Главная же мысль в том, что это вовсе не предназначено для разных богомольных ханжей и любителей бить поклоны. Можешь грабить чертову кружку для пожертвований, только повторяй молитву, пока ты ее грабишь. Озарение должно нисходить не после молитвы, а *вместе с ней*. – Зуи нахмурился, но это был профессиональный прием. – Вся идея, собственно, в том, что рано или поздно молитва сама собой от губ и от головы спускается к сердечному центру и начинает действовать в человеке автоматически, в такт сердцебиению. А затем, через некоторое время, после того как молитва стала твориться в сердце сама собою, человек, как считают, постигает так называемую суть вещей. Об этом ни в одной из книг прямо не говорится, но, по восточным учениям, в теле есть семь астральных центров, называемых *чакрами*, и ближе всех связанный с сердцем центр называется Анахата, и он считается адски чувствительным и мощным, и он, в свою очередь, оживляет другой центр, находящийся между бровями, – Аджна; это, собственно говоря, железа, эпифиз, или, точнее, аура вокруг этой железы, – и тут – хоп! – открывается так называемый «третий глаз». Ничего нового, помилуй бог. Это вовсе не открытие странника и компании, понимаешь? В Индии уже бог знает сколько тысяч лет это явление было известно как д ж а п а м. Джапам – это просто-напросто повторение любого из земных имен Бога. Или имен его воплощений – его *аватар*, если тебе нужна терминология. А смысл в том, что если ты повторяешь имя достаточно долго и достаточно регулярно, и *буквально* в сердце, то рано или поздно ты получаешь ответ. Точнее, не *ответ*, а *отклик*.

Зуи внезапно обернулся, открыл аптечку, положил на место пилку для ногтей и вынул удивительно толстую костяную палочку.

– Кто грыз мою костяную палочку? – сказал он. Он быстро провел тыльной стороной руки по вспотевшей верхней губе и принялся отодвигать костяной палочкой кожицу в лунках ногтей.

Миссис Гласс, глядя на него, глубоко затянулась, потом скрестила ноги и требовательно спросила:

– Значит, этим Фрэнни и занимается? Я хотела сказать, что именно это она и делает, да?

– По-моему, да. Ты меня не спрашивай, ты ее спроси.

Некоторое время оба не знали, что сказать. Затем миссис Гласс решительно и довольно храбро спросила:

– А долго ли надо это делать?

Лицо Зуи вспыхнуло от удовольствия. Он повернулся к ней.

– Долго ли? Ну, не так уж долго. Пока малярам не понадобится войти к тебе в комнату. Тогда перед ними проследует процессия святых и бодисатв, неся чашки с куриным бульоном. За

сценой вступает хор мальчиков, и камеры панорамируют на приятного старого джентльмена в набедренной повязке, стоящего на фоне гор, голубых небес и белых облаков, и на всех нисходит мир и...

– Ну, ладно, перестань, – сказала миссис Гласс.

– О, господи. Я же стараюсь помочь вам разобраться, больше ничего. Я не хочу, чтобы вы ушли, полагая, что в религиозной жизни есть хоть малейшие, знаете ли, *неудобства*. Я хочу сказать, что многие люди сторонятся ее, полагая, что она связана с некоторым количеством тягот и трудов, надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. – Было ясно, что оратор, привычно смакуя свои слова, подымается к высшей точке своей проповеди. Он торжественно помахивал своей костяной палочкой перед лицом матери. – Когда мы покинем этот скромный храм, я надеюсь, вы примете от меня маленький томик, который всегда был мне дорог. Мне кажется, что в нем затронуты некоторые тонкости, которые мы обсуждали нынче утром. «Господь – мое хобби». Автор – доктор Винсент Клод Пирсон-младший. Мне думается, в этой маленькой книжце доктор Пирсон очень ясно поведал нам, как в возрасте двадцати одного года он начал ежедневно откладывать по капельке времени – две минутки утром, две вечером, если память мне не изменяет, – и к концу *первого же года*, только благодаря этим маленьким личным свиданиям с Богом, он увеличил свой годовой доход на семьдесят четыре процента. Кажется, у меня тут есть лишний экземпляр, и если вы будете так добры...

– Нет, ты просто невыносим, – беззлобно сказала миссис Гласс. Она отыскала глазами старого друга – голубой коврик у ванны. Она сидела и глядела на него, а Зуи тем временем занимался своими ногтями, улыбаясь, хотя на его верхней губе выступили мелкие капельки пота. Наконец миссис Гласс испустила один из своих рекордных вздохов и снова обратила внимание на Зуи: отодвигая кожицу с ногтей, он повернулся в пол-оборота к окну, к утреннему свету. По мере того как она всматривалась в его необыкновенно худую обнаженную спину, ее взгляд становился все менее рассеянным. За какие-нибудь считанные секунды из ее глаз исчезло все темное и тяжелое, и они засветились восторгом завзятой поклонницы.

– Ты становишься таким сильным и красивым, – сказала она вслух и, протянув руку, дотронулась до его поясницы. – Я боялась, что дурацкие упражнения с гантелями могут тебе...

– *Брось*, слышишь? – отпрянув, резко сказал Зуи.

– Что?

Зуи открыл дверцу аптечки и положил костяную палочку на место.

– Брось, и все. Не любуйся ты моей треклятой спиной, – сказал он и закрыл аптечку. Он снял с сушилки для полотенец пару черных шелковых носков и пошел к батарее. Уселся на батарею, несмотря на то что она была горячая – или именно поэтому, – и стал надевать носки.

Миссис Гласс фыркнула, хотя с некоторым опозданием.

– Не любуйся моей спиной – как это вам понравится! – сказала она. Она обиделась, даже чуточку оскорбилась. Она смотрела, как Зуи натягивает носки, и на лице у нее было смешанное выражение оскорбленного достоинства и непреодолимого любопытства, с каким смотрит человек, которому приходилось бог знает сколько лет просматривать после стирки все носки в поисках дыр. Потом совершенно неожиданно, испустив один из наиболее звучных вздохов, она встала и решительно и целеустремленно двинулась к раковине, на то место, где раньше стоял Зуи. Ее первый демонстративно мученический подвиг состоял в том, что она открыла кран с холодной водой.

– Не мешало бы тебе научиться завинчивать тюбики, которыми ты только что пользовался, – сказала она нарочито придирчивым тоном.

Зуи, сидя на батарее и прикрепляя подвязки к своим носкам, поднял на нее глаза.

– Не мешало бы тебе научиться уходить, когда спектакль, черт его подери, уже давно кончился, – сказал он. – Я серьезно, Бесси. Я бы хотел остаться здесь хоть на одну минуту в полном одиночестве – извини, если это звучит *грубо*. Во-первых, я тороплюсь. Мне надо в полтретьего быть у Лесажа, а я еще хотел купить кое-что по дороге. Давай-ка выйдем отсюда – не возражаешь?

Миссис Гласс отвлеклась от уборки, взглянула на него и задала один из тех вопросов, ко-

торыми много лет докучала всем своим детям:

– Но ты же *перекусишь* перед уходом, правда?

– Я перекушу в городе. Куда, к черту, задевался мой второй ботинок?

Миссис Гласс смотрела на него в упор, многозначительно.

– Ты собираешься перед уходом поговорить с сестрой или нет?

– Не *знаю* я, Бесси, – помявшись, ответил Зуи. – Не проси ты меня об этом, пожалуйста. Если бы у меня что-то особенно накипело сегодня утром, я бы ей сказал. Не проси меня больше, и все.

Один ботинок у Зуи был уже зашнурован, а второго не хватало, поэтому он внезапно опустился на четвереньки и стал шарить под батареей.

– А, вот ты где, негодяй, – сказал он. Возле батареи стояли маленькие напольные весы. Зуи уселся на них, держа найденный ботинок в руке. Миссис Гласс смотрела, как он надевает ботинок. Однако присутствовать при церемонии шнуровки она не стала. Она покинула комнату. Но не торопясь. С медлительностью, ей совсем не свойственной – буквально еле переставляя ноги, – так что Зуи даже встревожился. Он поднял голову и окинул ее очень внимательным взглядом.

– Я просто не понимаю, что стряслось со всеми вами, дети, – сказала миссис Гласс, не поворачивая головы. Она задержалась у сушилки для полотенец и поправила губку. – В прежние дни, когда вы выступали по радио, когда вы были маленькие, вы все были такие... умные и радостные – просто *прелесть*. В любое время дня и ночи.

Она наклонилась и подняла с кафельного пола нечто похожее на длинный человеческий волос таинственно-белесого оттенка. Она вернулась назад, бросила его в мусорную корзину и сказала:

– Не понимаю, к чему знать все на свете и всех поражать своим остроумием, если это не приносит тебе радости. – Она стояла спиной к Зуи и двинулась к двери не оборачиваясь.

– По крайней мере, – сказала она, – вы все были такие ласковые и так любили друг друга, одно удовольствие было смотреть на вас. – Она покачала головой и открыла дверь. – Одно удовольствие, – решительно подтвердила она, плотно закрывая за собой дверь.

Зуи, глядя на закрытую дверь, глубоко вздохнул и медленно выдохнул воздух.

– Вот так монолог под занавес, дружище, – сказал он ей вслед, но только тогда, когда был совершенно уверен, что она не услышит его голос из коридора.

Гостиная в доме Глассов была настолько не подготовлена к малярным работам, насколько это вообще возможно. Фрэнни Гласс спала на диване, укрытая шерстяным пледом; ковер, закрывавший весь пол, был не скатан и даже не отогнут от стен; а мебель – по первому впечатлению, небольшой мебельный склад – находилась в обычном статично-динамическом беспорядке. Комната была не так уж велика – для манхэттенских квартир, – но такая коллекция мебели забила бы до отказа даже пиршественную залу в Валгалле. Здесь стоял стейнвейновский рояль (постоянно открытый), три радиоприемника («Фрешмен» 1927 года, «Штротберг-Карлсон» 1932-го и «РСА» 1947-го), телевизор с пятидесятисантиметровым экраном, четыре настольных граммофона (в том числе «Виктрола» 1920 года, с трубой, которую даже не сняли с крышки, так что она была в нерабочем состоянии), целое стадо курительных и журнальных столиков, складной стол для пинг-понга (к счастью, поставленный в сложенном виде за рояль), четыре кресла, восемь стульев, шестилитровый аквариум с тропическими рыбками (переполненный во всех отношениях и подсвеченный двумя сорокасвечовыми лампочками), козетка, диван, на котором спала Фрэнни, две пустых птичьих клетки, письменный стол вишневого дерева и целый набор торшеров, настольных ламп и бра, которые торчали в этом до отказа набитом помещении повсюду, как побеги сумаха. Вдоль трех стен шли книжные полки высотой по пояс, которые были так забиты, что буквально ломились под тяжестью книг, – тут были детские книжки, учебники, книги с развалов, книги из библиотеки и еще более разношерстный набор книг, вынесенный сюда из менее «обобществленных» закоулков квартиры. (Так, «Дракула» стоял рядом с «Основами языка пали», «Ребята в войсках на Сомме» рядом со «Всплесками мелодии», «Убийство со скарабеем» по соседству с «Идиотом», а «Нэнси Дрю и потайная лестница» лежала поверх «Страха и трепета».)

Но даже если отчаянные и необыкновенно мужественные маляры всем скопом одолели бы книжные полки, то, взглянув на стены, частично прикрытые шкафами, любой уважающий себя работник сферы обслуживания мог бы бросить на стол свой профсоюзный билет. От верха книжных полок и почти до самого потолка, вся стена с начинавшей трескаться штукатуркой цвета синего Веджвуда¹¹ была почти без просветов увешана разными предметами, которые можно весьма приблизительно назвать «украшениями», как-то: коллекция вставленных в рамки фотографий, начинающие желтеть страницы частной переписки и переписки с президентом, бронзовые и серебряные памятные медали и целая россыпь разнообразнейших документов, смахивающих на похвальные грамоты, и прочих трофееобразных предметов всех форм и размеров, и все они так или иначе свидетельствовали о том, что с 1927 года почти до конца 1943-го широковещательная программа под названием «Умный ребенок» неизменно выходила в эфир с участием хотя бы одного (а чаще двоих) детей Глассов. (Бадди Гласс, самый старший из ныне здравствующих дикторов программы – ему исполнилось тридцать шесть, – нередко называл стены в квартире своих родителей своеобразным изобразительным гимном образцово-показательному американскому детству и ранней зрелости. Он частенько выражал сожаление, что так редко и ненадолго приезжает из своей сельской глуши, и обычно с нескончаемыми подробностями распространялся о том, насколько счастливее его братья и сестры, живущие в Нью-Йорке или его пригородах.) План стенного декора родился в голове мистера Леса Гласса, отца детей, в прошлом знаменитого водевильного актера и, несомненно, давнего и горячего поклонника оформления стен в театральном ресторане Сарди, и осуществлен был этот план с полного духовного благословения миссис Гласс при полном отсутствии ее формального на то согласия. Самое, быть может, вдохновенное изобретение мистера Гласса-декоратора было водружено как раз над диваном, где спала юная Фрэнни Гласс. Семь альбомов для газетных и журнальных вырезок были прикреплены корешками прямо к штукатурке в таком тесном соседстве, что это пахло инцестом. Судя по всему, эти семь альбомов из года в год могли перелистывать или рассматривать как старые друзья семьи, так и случайные гости, а порой, должно быть, и очередная приходящая уборщица.

Раз уж к слову пришлось, надо сказать, что утром миссис Гласс в ожидании маляров совершила два символических жеста. В комнату можно было войти и из передней, и из столовой через двойные застекленные двери. Сразу же после завтрака миссис Гласс сняла с обеих дверей шелковые сборчатые занавески. Немного позже, улучив минуту, когда Фрэнни делала вид, что пробует куриный бульон, миссис Гласс с легкостью горной козочки взобралась на подоконники трех окон и сняла тяжелые камчатные портьеры.

Комната выходила окнами на одну сторону – на юг. Прямо напротив, через переулок, стояла четырехэтажная частная школа для девочек – надежное и довольно замкнуто-безликое здание, которое, как правило, хранило безмолвие до половины четвертого, когда ученики из обычных школ на Второй и Третьей авеню прибегали сюда поиграть в камешки или мячики на каменных ступенях. Квартира Глассов, на пятом этаже, была этажом выше, и теперь солнце, поднявшись над крышей школы, проникало в гостиную через лишенные портьер окна. Солнечный светставлял комнату в очень невыгодном свете. Мало того, что вся обстановка была обшарпанная, неказистая, была вся заляпана воспоминаниями и сантиментами, но сама комната в прошлые времена служила площадкой для бесчисленных хоккейных и футбольных баталий (как для тренировок, так и для игр), и едва ли хоть одна ножка у мебели осталась неободранной и неоцарапанной. Примерно на уровне глаз встречались шрамы от ошеломляюще разнообразных летающих объектов: пулек для рогатки, бейсбольных мячей, стеклянных шариков, ключей от коньков, пятновыводящих ластиков и даже, как в одном памятном случае в начале тридцатых годов, от запущенной в кого-то фарфоровой куклы без головы. Но особенно безжалостно солнце высвечивало ковер. Некогда он был винно-красного цвета и при искусственном освещении более или менее сохранял его, но теперь на нем обозначились многочисленные пятна причудливо-панкреатической формы – лишенные сентиментальности автографы целого ряда домашних жи-

¹¹ Английский фарфор с синим узором (Примеч. перев.)

вотных. В этот час солнце глубоко, далеко и беспощадно добиралось до самого телевизора и било прямо в его немигающий циклопов глаз.

Самые вдохновенные, самые точные мысли обычно посещали миссис Гласс на пороге чулана для белья, и свое младшее дитя она уложила на диван, на розовые перкалевые простыни, укрыв его бледно-голубым шерстяным пледом. Фрэнни спала, отвернувшись к спинке дивана и к стене, еле касаясь подбородком одной из множества набросанных рядом подушек. Губы у нее были сомкнуты, хотя и не сжаты. Правая же рука, лежавшая на покрывале, была не просто сжата, а крепко стиснута, пальцы туго сплетены в кулак, охватывая большой палец, – как будто теперь, в двадцать лет, она вернулась к немым, подсознательным защитным жестам глубокого детства. И надо сказать, что здесь, на диване, солнце при всей своей бесцеремонности по отношению к интерьеру вело себя прекрасно. Солнечный свет сверкал в черных как вороново крыло и чудесно подстриженных волосах Фрэнни, которые она за эти три дня мыла не меньше трех раз. Солнце заливало светом и весь вязаный плед, так что можно было залюбоваться игрой горячего, искрящегося света в бледно-голубых переплетениях шерсти.

Зуи пришел сюда прямо из ванной, почти не задерживаясь, и довольно долго стоял в ногах дивана с зажженной сигарой во рту – сначала он заправлял в брюки только что надетую белую рубашку, потом застегивал манжеты, а потом просто стоял и смотрел. Он курил и хмурился, как будто чересчур «броские» световые эффекты придумал театральный режиссер, чей вкус вызывал у него некоторые сомнения. Несмотря на редкостную утонченность его черт лица, несмотря на его возраст и сложение – одетый, он мог бы сойти за юного, очень легкого танцовщика – нельзя было утверждать, что сигара ему вовсе не к лицу. Во-первых, его никак нельзя было назвать курносым. А во-вторых, для Зуи курение сигар никак не сопровождалось свойственной молодым людям аффектацией. Он начал их курить с шестнадцати лет, а с восемнадцати курил регулярно, по дюжине в день, и большей частью дорогие «панателас».

Очень длинный прямоугольный кофейный столик из вермонтского мрамора был придвинут вплотную к дивану.

Зуи быстро шагнул к нему. Он отодвинул пепельницу, серебряный портсигар и каталог «Харперс базар», потом уселся прямо на узенькую полоску холодного мрамора лицом к Фрэнни, почти склонившись над ней. Он посмотрел на стиснутый кулак на голубом пледе, потом вынул сигару изо рта и совсем тихонько взял Фрэнни за плечо.

– Фрэнни, – сказал он. – Фрэнсис. Пойдем, брат. Нечего валяться в такой чудесный день. Пошли-ка отсюда, брат,

Фрэнни вздрогнула, буквально подскочила, как будто диван в эту минуту подбросило на глубоко ухабе. Она подняла руку и сказала:

– Фу-у. – Она зажмурилась от утреннего света. – Откуда столько солнца? – Она еще не совсем осознала присутствие Зуи. – Откуда столько солнца? – повторила она.

– А я, брат, всегда ношу солнце с собой, – сказал он, пристально глядя на нее.

Фрэнни посмотрела на него, все еще шурясь.

– Зачем ты меня разбудил? – спросила она. Она еще не настолько стряхнула с себя сон, чтобы капризничать, но было видно, что она чувствует в воздухе какую-то несправедливость.

– Видишь ли... Дело в том, что нам с братом Ансельмо предлагают новый приход. Притом на Лабрадоре. Мы хотели бы испросить твоего благословения, прежде чем...

– Фу-у! – снова сказала Фрэнни и положила руку себе на макушку. Ее коротко, по последней моде, стриженные волосы на удивление мало растрепались во сне. Она их расчесывала на прямой пробор – что вполне устраивало зрителей. – Ой, мне приснился такой жуткий сон, – сказала она. Она немного приподнялась и одной рукой прихватила ворот халата. Халат был сшит на заказ из плотного шелка, бежевый, с прелестным рисунком из крохотных чайных розочек.

– Рассказывай, – сказал Зуи, затягиваясь сигарой. – А я его тебе растолкую.

Она передернула плечами.

– Сон был просто ужасный. Такой *паучий*. Никогда в жизни мне не снился такой паучий кошмар.

– Ах, пауки? Чрезвычайно любопытно. Весьма симптоматично. У меня в Цюрихе была од-

на интересная больная, несколько лет назад – молодая особа, кстати, очень похожая на вас...

– Помолчи минутку, а то я все позабуду, – сказала Фрэнни. Она жадно всматривалась куда-то в даль, как все, кто пытается вспомнить кошмарный сон. Под глазами у нее были круги, и другие, менее заметные признаки говорили о том, что молодую девушку грызет тревога, но ни от кого не могло бы укрыться, что перед ним – самая настоящая красавица. У нее была прелестная кожа и тонкие, неповторимые черты лица. Глаза у нее были примерно такого же потрясающе синего цвета, как у Зуи, только шире расставлены – как и положено, разумеется, глазам девушки – и, чтобы понять их выражение, в них не надо было вглядываться часами, как в глаза Зуи. Года четыре назад, на выпускном вечере, ее брат Бадди мрачно предрек самому себе, пока она улыбалась ему со сцены, что она, вполне возможно, в один прекрасный день возьмет да и выйдет за чахоточного. Значит, и это тоже было в ее глазах.

– Господи, все вспомнила! – сказала она. – Просто ужас! Я сидела в каком-то плавательном бассейне, и там собралась целая толпа, и они заставляли меня нырять за банкой кофе «Медаль д'Оро», которая лежала на дне. Стоило мне только вынырнуть, как они заставляли меня нырять обратно. Я плакала и всем им повторяла: «Вы ведь тоже все в купальных костюмах. Поныряйте и вы хоть немножко!» – но они только хохотали и перебрасывались такими ехидными словечками, а я опять ныряла. – Она снова передернула плечами. – Две девчонки из моей комнаты тоже там были. Стефани Логан и другая – я ее почти не *знаю*, только мне ее всегда ужасно *жалко*, потому что у нее такое жуткое имя. Шармон Шерман. Они вдвоем держали громадное весло и все время старались *стукнуть* меня, как только я вынырну. – Фрэнни на минуту закрыла руками глаза. – Фу! – Она потрясла головой. Немного подумала. Единственный, кто был в этом сне *на своем месте*, это профессор Таппер. Он был единственный человек, который меня и вправду терпеть не может, я точно знаю.

– Ах, терпеть не может? Очень интересно. – Зуи не выпускал сигару изо рта. Он вынул ее и медленно покатал между пальцами, точь-в-точь как толкователь снов, который не все еще услышал и ждет новых фактов. Вид у него был очень довольный. – А почему он терпеть тебя не может? Нужна полная откровенность, вы понимаете, иначе я связан по рукам..

– Он меня не выносит, потому что я числюсь в его дурацком семинаре по религии, и я никогда не могла улыбнуться ему в ответ, как бы он ни расточал свое оксфордское обаяние. Он тут у нас на время, из Оксфорда, по лендлизу, что ли, и он такой жуткий старый самодовольный притворяшка, а волосы у него торчат дикой белой копной. По-моему, он перед лекцией бежит в туалет и взбивает их там – нет, честное слово. А на предмет ему наплевать. Он только сам себе интересен. Все, кроме этого, ему безразлично. Ну ладно, это бы еще ничего – то есть ничего *удивительного*, – если бы он не донимал нас идиотскими намеками на то, что он – Полноценный Человек и что нам, щенкам, повезло, что он сюда приехал. – Фрэнни поморщилась. – Единственное, на что у него хватает истинного вдохновения – если не считать хвастовства, – это на то, чтобы поправлять тебя, если ты путаешь санскрит с пали. Он *знает*, что я его видеть не могу! Посмотрел бы ты, какие рожи я корчу у него за спиной.

– А что он делал возле бассейна?

– В том-то и дело! Ничего! То есть ничего! Он просто стоял, улыбался и *наблюдал*. Он был самый противный из всех.

Зуи, глядя на нее сквозь клубы сигарного дыма, сказал совершенно спокойно:

– У тебя жуткий вид, знаешь? Фрэнни широко раскрыла глаза.

– Ты мог бы все утро просидеть здесь и не говорить об этом, – сказала она. И прибавила, подчеркивая каждое слово: – Только не принимайся за меня с утра пораньше, пожалуйста, Зуи. Я серьезно прошу, понимаешь?

– Никто, брат, за тебя не принимается, – сказал Зуи тем же бесстрастным голосом. – Просто ты сегодня жутко выглядишь, и все. Почему бы тебе не съесть чего-нибудь? Бесси говорит, что у нее там есть куриный бульон, так что...

– Если кто-нибудь еще раз мне скажет про этот куриный бульон...

Но Зуи уже отвлекся. Он смотрел на освещенный солнцем плед, который прикрывал ноги Фрэнни до колен.

– Это кто такой? – сказал он. – Блумберг? – Он вытянул палец и несильно ткнул в довольно большой и странно подвижный бугорок под пледом. – Блумберг? Ты, что ли?

Бугорок зашевелился. Фрэнни тоже не сводила с него глаз.

– Не могу от него отделаться, – сказала она. – Он просто *безумно* меня полюбил ни с того ни с сего.

Подталкиваемый пальцем Зуи, Блумберг резко потянулся, потом стал медленно пробиваться наружу, к коленям Фрэнни. Не успела его простодушная морда появиться на свет, на солнышко, как Фрэнни схватила его под мышки и прижала к себе.

– Доброе *утро*, мой милый Блумберг! – сказала она и горячо поцеловала его между глаз. Он неприязненно заморгал. – Доброе утро, старый, толстый, грязный котище. Доброе утро, доброе утро, доброе утро!

Она осыпала его поцелуями, но никакой ответной ласки от него не дождалась. Он сделал отчаянную, но безуспешную попытку вырваться и уцепиться за ее плечо. Это был очень крупный, серый в пятнах «холощенный» кот.

– Смотри, как он ласкается, – удивилась Фрэнни. – Никогда в *жизни* он так не ласкался.

Она взглянула на Зуи, ожидая, должно быть, согласия, но Зуи курил сигару с невозмутимым видом.

– Погладь его, Зуи! Посмотри, какой он славный. Ну, *погладь* его.

Зуи протянул руку и погладил выгнутую спину Блумберга раз, другой, потом встал с кофейного столика и побрел через всю комнату к роялю, лавируя среди вещей. Рояль с высоко поднятой крышкой, во всей своей чернолаковой, стейнвейновской мощи возвышался напротив дивана, а табуретка – почти прямо напротив Фрэнни. Зуи осторожно опустился на табуретку, потом с явным интересом взглянул на ноты, раскрытые на пюпитре.

– Он такой блохастый, что даже смешно, – сказала Фрэнни. Она немного поборолась с Блумбергом, стараясь придать ему мирную позу домашней кошечки. Вчера я поймала на нем четырнадцать блох. Это только на одном боку. – Она резко столкнула Блумберга вниз, потом взглянула на Зуи. – Кстати, как тебе понравился сценарий? – спросила она. – Получил ты его наконец или нет?

Зуи не отвечал.

– Господи! – сказал он, не сводя глаз с нот на пюпитре. – Кто это выкопал?

Пьеса называлась «Не скупись, послушай, детка». Она была примерно сорокалетней давности. На обложке красовался рисунок сепией с фотографии мистера и миссис Гласс. Мистер Гласс был в цилиндре и во фраке, миссис Гласс – тоже. Оба ослепительно улыбались в объектив, и оба, наклонясь вперед и широко расставив ноги, опирались на тросточки.

– А что это? – сказала Фрэнни. – Мне не видно.

– Бесси и Лес. «Не скупись, послушай, детка».

– А! – Фрэнни хихикнула. – Вчера вечером Лес Предавался Воспоминаниям. В мою честь. Он думает, что у меня расстройство желудка. Все ноты из шкафа вытащил.

– Хотел бы я знать, как это мы все очутились в этой чертовой ночлежке, если все началось с «Не скупись, послушай, детка». Поди пойми.

– Не могу. Я уже пробовала, – сказала Фрэнни. – Расскажи про сценарий. Ты его получил? Ты говорил, что этот самый Лесаж или как его там собирался оставить его у швейцара по дороге...

– Получил, получил, – сказал Зуи. – Мне неохота его обсуждать.

Он сунул сигару в рот и принялся правой рукой наигрывать в верхних октавах мотив песенки под названием «Кинкажу», успевшей, что любопытно, стать популярной и позабыться еще до того, как Зуи родился.

– Я не только получил сценарий, – сказал он. – Еще и Дик Хесс позвонил вчера около часу ночи – как раз после нашей с тобой маленькой потасовки – и пригласил меня выпить, скотина. В Сан-Ремо. Он *Открывает Гринич-Вилледж*. Боже правый!

– Не колоти по клавишам, – сказала Фрэнни, глядя на него, – Если ты собираешься там сидеть, то я буду давать тебе указания. Вот мое первое указание: не колоти по клавишам.

– Во-первых, он знает, что я не пью. Во-вторых, он знает, что я родился в Нью-Йорке, и если есть что-нибудь на свете для меня совершенно невыносимое, так это «местный колорит». В-третьих, он знает, что я живу за семьдесят кварталов от его Вилледж, черт побери. И в-четвертых, я ему три раза сказал, что я уже в пижаме и в домашних туфлях.

– Не колоти по клавишам, – приказала Фрэнни, глядя Блумберга.

– Так нет, дело было неотложное. Ему надо было видеть меня немедленно. Чрезвычайно важно. Не ломайся, слышишь! Будь человеком хоть *раз* в жизни, прыгай в такси и кати сюда.

– И ты покати? И крышкой тоже не грохай. Это мое второе...

– Ну да, конечно же, я покати! Нет у меня этой треклятой силы воли! – сказал Зуи. Он закрыл крышку сердито, но без стука. – Моя беда в том, что я боюсь за всех этих провинциалов в Нью-Йорке. И мне плевать, сколько времени они тут пробыли. Я вечно за них трясусь – как бы их не переехали или не избили до *полусмерти*, пока они рыщут в поисках мелких армянских ресторанчиков на Второй авеню. Да мало ли еще какая хреновина случится. Зуи мрачно пустил клуб дыма поверх страниц «Не скупись...».

– В общем, я-таки туда поехал, – сказал он. – Там уже, конечно, сидит старина Дик. Такой убитый, такой *расстроенный*, до того набитый важными новостями, которые не могут подождать до завтра. Сидит за столом в джинсах и жуткой спортивной куртке. Этаким изгнанник с берегов Де Мойн в Нью-Йорке. Я его чуть не прикончил, ей-богу. Ну и ночь! Я сидел там битых два часа, а он мне выкладывал, какой я умнейший сукин сын и что вся моя семья – сплошь гениальные психотики и психопаты. И т у т – когда он наконец кончил психоанализировать меня, и Бадди, и Симора, которых он в глаза не видал, и когда он наконец уперся в какой-то умственный тупик, решая, быть ему до конца вечера чем-то вроде Колетт, которая одинаково бьет правой и левой, или вроде маленького Томаса Вулфа, – тут он вдруг вытаскивает из-под стола роскошный портфель с монограммой и сует мне в руки новенький сценарий часового фильма.

Зуи махнул рукой, словно отмахиваясь от надоевшей темы. Но он встал с табуретки слишком быстро, так что этот жест вряд ли можно было считать прощальным. Сигару он держал во рту, а руки засунул в карманы брюк.

– Я *годами* слушал, как Бадди рассуждает об актерах, – сказал он. – Боже мой, послушал бы он, что я могу ему рассказать о Писателях, Которых Я Знал.

Он с минуту постоял на месте, затем двинулся вперед без видимой цели. Остановился у «Виктролы» образца 20-го года, бессмысленно воззрился на нее и гавкнул в трубу два раза подряд, для собственного удовольствия. Фрэнни засмеялась, глядя на него, а он нахмурился и пошел дальше. У водруженного на радиоприемник «Фрешмен» 1927 года аквариума с рыбками он вдруг остановился и вынул ситару изо рта. Он с явным интересом заглянул в аквариум.

– Все мои черные моллинезии вымирают, – сказал он и машинально потянулся к баночке с кормом, стоявшей возле аквариума.

– Бесси их утром кормила, – вмешалась Фрэнни. Она продолжала гладить Блумберга, все еще насильно приучая его к трудному и сложному миру вне теплого вязаного пледа.

– У них голодный вид, – сказал Зуи, но убрал руку от рыбьего корма. – Вот этот малый совсем отощал. – Он постучал по стеклу ногтем. – Куриный бульон – вот что тебе нужно, приятель.

– Зуи, – окликнула Фрэнни, чтобы отвлечь его. – Как твои дела все-таки? У тебя *два* сценария. А о чем тот, что тебе завез на такси Лесаж?

Зуи еще с минуту неотрывно смотрел на рыбку. Потом, повинувшись внезапному, но, как видно, непобедимому капризу, растянулся на ковре лицом вверх.

– В том, что прислал Лесаж, мне предлагают играть некоего Рика Чалмерса, – сказал он, закидывая ногу на ногу. – Могу поклясться, что это салонная комедия образца тысяча девятьсот двадцать восьмого года, готовенькая как на заказ по каталогу Френча. Разве что роскошно современная болтовней о комплексах, подавленных желаниях и сублимации, и все это на жаргоне, который автор перенял у своего психоаналитика.

Фрэнни смотрела на Зуи, точнее на то, что ей было видно. С того места, где она сидела, были видны только подошвы и каблуки его ботинок.

– Ну, а то, что написал Дик? – спросила она. – Ты уже читал?

– А у Дика я могу играть Верни, чувствительного дежурного из метро. В жизни не пришлось читать такой чертовски оригинальной и смелой пьесы для телевидения.

– Правда? Значит, это так здорово?

– Я не говорил – здорово, я сказал – смело. Давай на этом, брат, и помиримся. Наутро после выпуска в эфир все на телевидении будут бегать и хлопать друг друга по плечам, довольные до потери сознания. Лесаж. Хесс. Помрой. Заказчики. Вся смелая команда. А начнется это уже сегодня. Если уже не началось. Хесс войдет в кабинет Лесажа и скажет: «Мистер Лесаж, сэр, есть у меня новый сценарий про чувствительного молодого дежурного из метро, от него так и разит смелостью и первозданной чистотой. А насколько мне известно, сэр, после Нежных и Душещипательных сценариев вы больше всего любите сценарии, полные Смелости и Чистоты. А в этом сценарии, честное слово, от Чистоты и Смелости просто не продохнешь. Он весь набит слезливыми и слюнявыми типами. В нужных местах и жестокости хватает. И как раз тогда, когда душевно тонкий дежурный из метро совсем запутался в своих моральных проблемах и его вера в человечество и в Маленьких людей рушится, из школы прибегает его девятилетняя племянница и выдает ему порцию славной, доморощенной шовинистической философии, которая переключалась к нам из прошлого прямоком от выросшей в глуши жены Эндрю Джексона. Бьет без промаха, сэр! Он такой приземленный, такой простенький, такой высосанный из пальца и притом достаточно привычный и заурядный, что наши жадные, издерганные, невежественные заказчики непременно его поймут и полюбят».

Зуи вдруг резко приподнялся и уселся на ковре.

– Я только что из ванны, весь в поту, как свинья, – пояснил он. Он встал и исподволь, словно против воли, бросил взгляд в сторону Фрэнни. Он совсем было отвел глаза, но вместо этого стал внимательно в нее вглядываться. Опустив голову, она смотрела на Блумберга, который лежал у нее на коленях, и продолжала его гладить. Но что-то переменилось.

– Ага, – сказал Зуи и подошел к дивану, явно напрашиваясь на скандал. Леди шевелит губами. Настал час Молитвы.

Фрэнни не поднимала глаз.

– На кой черт тебе это понадобилось? – спросил он. – Спасаясь от моего нехристианского отношения к художественному ширпотребу?

Фрэнни подняла глаза и закивала головой, моргая. Она улыбнулась брату. Губы у нее и вправду безостановочно двигались.

– И ты мне не улыбайся, пожалуйста, – сказал Зуи спокойным голосом и отошел от дивана. – Симор вечно мне улыбался. Этот проклятый дом кишит улыбочатыми людьми. – Он мимоходом, почти не глядя, ткнул большим пальцем в какую-то книжку, наводя порядок на книжной полке, и прошел дальше. Подошел к среднему окну, отделенному широким подоконником от столика из вишневого дерева, за которым миссис Гласс просматривала счета и писала письма. Он стоял спиной к Фрэнни и смотрел в окно с сигарой в зубах, засунув руки в карманы.

– А ты знаешь, что мне, возможно, придется ехать на съемки во Францию нынче летом? – спросил он с раздражением. – Я тебе говорил?

Фрэнни с интересом посмотрела на его спину.

– Нет, не говорил! – сказала она. – Ты не шутишь? А какая картина?

Зуи, глядя на посыпанную гравием крышу школы напротив, сказал:

– А, это длинная история. Тут возник какой-то хмырь из Франции, он слышал набор пластинок, которые я записал с Филиппом. Я с ним завтракал недели две назад. Настоящий шноррер, но в общем симпатичный, и явно он у них там как раз сейчас в большом ходу.

Он поставил ногу на подоконник.

– Ничего определенного – с этими ребятами никогда точно не договоришься, но я, по моему, почти вбил ему в голову мысль – снять фильм по роману Ленормана. Я его тебе посылал.

– Да-да! Ой, как здорово, Зуи! А если ты поедешь, то когда, по-твоему?

– Это н е здорово. Вот в чем загвоздка. Я бы с удовольствием снялся. Ей-богу, с удовольствием. Но мне адски не хочется уезжать из Нью-Йорка. Если уж хочешь знать, я терпеть не мо-

гу так называемых «творческих людей», которые разъезжают разными там пароходами. Мне наплевать, по каким причинам. Я здесь *родился*. Я здесь в школу ходил. Меня тут *машина сбила* – дважды, и оба раза на той же треклятой *улице*. И нечего мне делать на съемках в этой Европе, прости господи.

Фрэнни задумчиво смотрела на его спину, обтянутую белой тканью рубашки. Ее губы продолжали все так же неслышно произносить что-то.

– Почему же ты едешь? – спросила она. – Раз у тебя такие сомнения.

– Почему я еду? – сказал Зуи не оборачиваясь. – А потому, что мне чертовски надоело вставать по утрам в бешенстве, а по вечерам в бешенстве ложиться спать. Я еду, потому что я сужу каждого несчастного язвенника, который мне встречается. Само по себе это меня не так уж волнует. По крайней мере, когда я сужу, я сужу честно, нутром, и знаю, что расплачусь сполна за каждый вынесенный приговор рано или поздно, так или иначе. Это меня не тревожит. Но есть что-то такое – господи Иисусе, – что-то я такое делаю со всеми людьми, с их нравственными устоями, что мне самому это уже видеть неважно. Я тебе точно скажу, что *именно* я делаю. Из-за меня все они, все до одного, вдруг чувствуют, что вовсе ни к чему делать свое дело по-настоящему хорошо, и каждый норовит выдать такую работу, чтобы все, кого он знает, – критики, заказчики, публика, даже учительница его детишек, – считали бы ее хорошей. Вот что я творю. Хуже некуда.

Он нахмурился, глядя на школьную крышу, потом кончиками пальцев стряхнул несколько капель пота со лба.

Услышав, что Фрэнни что-то сказала, он резко повернулся к ней.

– Что? – сказал он. – Не слышу.

– Ничего. Я сказала «О господи».

– Почему «О господи»? – сердито спросил Зуи.

– Ни-по-че-му. Пожалуйста, не накидывайся на меня. Я просто думала, и больше ничего. Если бы ты только видел меня в субботу. Ты говоришь, что подорвал чьи-то нравственные устои! А я вконец испортила Лейну целый день. Мало того, что я хлопалась в обмороки чуть ли не ежечасно, я же ведь и ехала в такую даль ради милого, дружеского, нормального, веселого и *радостного* футбольного матча, но стоило ему только рот раскрыть, как я на него набрасывалась, или просто перечила, или – ну, не знаю – в общем, все портила.

Фрэнни покачала головой. Она все еще машинально гладила Блумберга. Казалось, она смотрит в одну точку – на рояль.

– Я не могла хоть разок удержаться, не вылезать со своим мнением, сказала она. – Это был чистый ужас. Чуть ли не с первой секунды, как он встретил меня на вокзале, я начала придирааться, придирааться, придирааться ко всем его взглядам, ко всем оценкам – ну абсолютно ко всему. То есть к каждому слову. Он написал какое-то безобидное, школьное, пробирочное сочинение о Флобере, он так им гордился, так хотел, чтобы я его прочла, а мне показалось, что его слова звучат как-то покровительственно, знаешь, как студенты делают вид, что на английской кафедре они уже свои люди, и я ничего лучше не придумала, чем...

Она замолчала. Потом снова покачала головой, и Зуи, стоя к ней вполоборота, прищурился, внимательно ее рассматривая. Теперь она еще больше походила на больного после операции, она была даже бледнее, чем утром.

– Просто чудо, что он меня не пристрелил, – сказала она. – Я бы его от всей души поздравила.

– Это ты мне рассказывала вчера вечером. Мне не нужны несвежие воспоминания с самого утра, брат, – сказал Зуи и снова отвернулся к окну. Во-первых, ты бьешь мимо цели – начинаешь ругать разные вещи и людей, а надо бы начать с самой себя. Мы оба такие. Я точно так же говорю о своем телевидении, черт побери, сам знаю. Но это *неверно*. Все дело в *нас самих*. Я тебе уже не раз говорил. Почему ты этого никак в толк не возьмешь?

– Не такая уж я бестолковая, только ты-то все время...

– Все дело в *нас самих*, – перебил ее Зуи. – Мы уродцы, вот и все. Эти два подонка взяли нас, миленьких и маленьких, и сделали из нас двух уродов, внушили нам уродские принципы,

вот и все. Мы – как Татуированная Женщина, и не будет у нас ни минуты покоя до конца нашей жизни, пока мы всех до единого тоже не перетатуируем. – Заметно нахмурившись, он сунул сигару в рот и попробовал затянуться, но сигара уже потухла. – А сверх всего, – быстро продолжал он, – у нас еще и комплексы «Умного ребенка». Мы же так всю жизнь и чувствуем себя дикторами. Все мы. Мы не отвечаем, мы вещаем. Мы не разговариваем, мы разглагольствуем. По крайней мере, я такой. В ту минуту, как я оказываюсь в комнате с человеком, у которого все уши в наличии, я превращаюсь в *ясновидящего*, черт меня подери, или в живую шляпную булавку. Король Всех Зануд. Взять хотя бы вчерашний вечер. В Сан-Ремо. Я непрестанно молился, чтобы Хесс не рассказывал мне сюжет своего нового сценария. Я отлично знал, что у него все уже готово. Я знал, черт побери, что мне оттуда не выбраться без сценария под мышкой. Я только об одном и молился – чтобы он избавил меня от устного предисловия. Он не дурак. Он *знает*, что я не могу держать язык за зубами.

Зуи резко и неожиданно повернулся, не снимая ноги с подоконника, и взял – скорее, схватил – с письменного стола матери пачку спичек. Он опять повернулся к окну, глянул на школьную крышу и снова сунул сигару в рот – но тут же вынул.

– Черт бы его побрал совсем, – сказал он. – Он все-таки душераздирающе туп. Точь-в-точь как все на телевидении. И в Голливуде. И на Бродвее. Он думает, что все сентиментальное – это *нежность*, и *грубость* – это признак реализма, а все, что кончается потасовкой, – законное разрешение конфликта, который даже...

– И ты все это *сказал*?

– Сказал, не сомневайся! Я же только что тебе объяснил, что не умею держать язык за зубами. Как же, я ему все сказал! Он там так и остался сидеть один, и ему явно хотелось сквозь землю провалиться. Или чтобы *один из нас* провалился в тартарары – надеюсь, черт возьми, что он имел в виду меня. В общем, это была сцена под занавес в истинном духе Сан-Ремо.

Зуи снял ногу с подоконника. Он обернулся, вид у него был напряженный и взволнованный, и, выдвинув стул с прямой спинкой, сел к столу матери. Он закурил потухшую сигару, потом беспокойно подался вперед, положив обе руки на столешницу вишневого дерева. Рядом с чернильницей стояла вещь, которую его мать использовала как пресс для бумаг: небольшой стеклянный шар на черной пластмассовой подставке, а в нем – снеговик в цилиндре. Зуи взял в руки игрушку, встряхнул ее и сидел, созерцая кружение снежинок.

Фрэнни приложила руку козырьком ко лбу и смотрела на Зуи. Он сидел в самом ярком потоке лучей, проникавших в комнату. Если бы ей хотелось смотреть на него подольше, она могла бы переменить положение, но тогда ей пришлось бы потревожить Блумберга, который, видимо, спал.

– А у тебя и вправду язва? – вдруг спросила она. – Мама сказала, что у тебя язва.

– Да, господи боже ты мой, у меня язва. У нас сейчас Калиюга, брат, Железный век. И любой человек старше шестнадцати лет и без язвы – просто проклятый шпион.

Он снова, посильнее на этот раз, встряхнул шар со снеговиком.

– Но вот что забавно, – сказал он. – Хесс мне нравится. По крайней мере, он мне нравится, когда не пытается навязать мне свое творческое убожество. Все же он хоть носит жуткие галстуки и нелепые костюмы с набитыми ватой плечами в этом запуганном, сверхконсервативном, сверхпослушном сумасшедшем доме. И мне нравится его самодовольство. Он так самодоволен, что держится даже скромно, дурак несчастный. Он явно считает, понимаешь ли, что его неуклюжий, напыщенно-смелый, «незаурядный» талант делает честь телевидению, а это уже какая-то дурацкая разновидность скромности, если вдуматься. Он смотрел на стеклянный шар, пока снежная круговерть немного утихла.

– И Лесаж мне в каком-то смысле нравится. Все, что ему принадлежит, лучше, чем у других, – его пальто, его катер с двумя каютами, отметки его сына в Гарварде, его электробритва, – все. Как-то он повел меня к себе обедать, а по дороге остановился и спрашивает, помню ли я «покойную кинозвезду Кэрол Ломбард». И предупреждает, чтобы я приготовился к потрясающей неожиданности, потому что его жена, мол, вылитая Кэрол Ломбард. Вот за это я буду любить его по гроб жизни. Жена его оказалась до предела усталой, рыхлой блондинкой, похожей на

персиянку.

Зуи живо обернулся к Фрэнни, – она что-то сказала.

– Что? – спросил он.

– Да! – повторила Фрэнни, бледная, но сияющая – видно, и она тоже была обречена любить Лесажа по гроб жизни.

Зуи с минуту молча курил свою сигару.

– Но вот что меня убивает в этом Дике Хессе, – сказал он. – Вот отчего я такой *мрачный*, или злой, или какой там еще, черт побери; ведь первый сценарий, который он сделал для Лесажа, был просто хороший. Он был почти *отличный*, честное слово. Это был первый сценарий, по которому мы сняли фильм, – ты, кажется, не видела – была в школе или еще где-то. Я там играл молодого, очень одинокого фермера, который живет вдвоем с отцом. Парень чувствует, что фермерская жизнь ему ненавистна, они с отцом вечно бьются, чтобы заработать на хлеб, так что после смерти отца он тут же продает скот и начинает строить великие планы – как он поедет в большой город и будет там зарабатывать.

Зуи опять взял в руки снеговика, но трясти не стал, а только повернул подставку.

– Там были неплохие места, – сказал он. – Распродав коров, я то и дело бегаю на выпас присмотреть за ними. И когда перед самым отъездом я иду прогуляться на прощанье со своей девушкой – я ее веду напрямик на выпас. Потом, когда я уже перебрался в большой город и поступил на работу, я все свободное время околачиваюсь возле загонов для скота. А конец такой: на главной улице громадного города, где мчатся сотни машин, одна машина делает левый поворот и превращается в корову. Я бегу за ней прямо на красный свет – и гибну, затоптанный обезумевшим стадом.

Он встряхнул снеговика.

– Может, там ничего особенного и не было – можно смотреть телевизор и стричь ногти на ногах, – но, по крайней мере после репетиций не хотелось поскорее *смыться* домой, чтобы никому на глаза не попадаться. Там была хоть какая-то свежесть и своеобразие – не просто очередной расхожий сюжетец, кочующий по всем сценариям. Поехал бы он, к чертовой матери, домой, поднакопил бы силенок. Всем пора разъехаться по домам, черт побери. Мне до смерти надоело играть резонера в жизни окружающих. Боже, ты бы посмотрела на Хесса и Лесажа, когда они обсуждают новую постановку. Или вообще что-нибудь *новое*. Они счастливы, как поросята, пока не появлюсь я. Я себя чувствую одним из тех зловещих подонков, против которых всех предостерегал любимец Симора Чжуан-цзы: «Когда увидишь, что так называемый мудрец ковыляет в твою сторону, берегись». – Он сидел неподвижно, глядя на пляску снежинок. – Бывают минуты, когда я бы с радостью лег и помер, – сказал он.

Фрэнни тем временем не сводила глаз с высвеченной солнцем пятна на ковре у самого рояля, и губы ее заметно шевелились.

– Это так смешно, ты даже представить не можешь, – сказала она чуть-чуть дрожащим голосом, и Зуи посмотрел на нее. Она казалась еще бледнее оттого, что губы у нее совсем не были подкрашены. – Все, что ты говоришь, напоминает мне все то, что я пыталась сказать Лейну в субботу, когда он начал меня донимать. Вперемежку с улитками, мартини и прочей снедью. Понимаешь, мы с тобой думаем не совсем одинаково, но об одном и том же, мне кажется, и по одной и той же причине. По крайней мере, похоже на то.

Тут Блумберг встал у нее на коленях и принялся кружиться на месте, чтобы улечься поудобнее, как это часто делают собаки, а не кошки. Фрэнни положила руки ему на спину, как бы не обращая на него внимания, но помогая и направляя, и продолжала:

– Я уже до того дошла, честное слово, что сказала вслух самой себе, как псих ненормальный: "Если я еще хоть раз услышу от тебя хоть одно въедливое, брюзгливое, неконструктивное слово, Фрэнни Гласс, то между нами все кончено – все *кончено*". Некоторое время я держалась неплохо. Почти целый месяц, когда кто-то изрекал что-нибудь типично студенческое, надуманное и пахнущее беспардонным эгоизмом или вообще выпендривался, я хоть держала язык за зубами. Я ходила в кино, или в читальне просиживала целые дни, или принималась как сумасшедшая писать статьи о комедии эпохи Реставрации или о чем-то в этом роде – но я, по крайней

мере, *радовалась*, что временно не слышу собственного своего голоса. – Она потрясла головой. – Но вот однажды утром – хоп – и я опять завелась с полоборота. Я всю ночь не спала, не помню почему, а в восемь у меня была лекция по французской литературе, так что я в конце концов встала, оделась, сварила себе кофе и пошла гулять по университетскому городку. Мне так хотелось уехать на велосипеде ужасно далеко и надолго, но я боялась, что будет слышно, как я вывожу велосипед со стоянки – вечно что-нибудь *падает*, – и я просто пошла в аудиторию на литфаке, уселась и сижу. Сидела, сидела, потом встала и начала писать цитаты из Эпиктета по всей доске. Я всю доску исписала – сама не знала, что я столько помню. Слава богу, я успела все стереть, пока никто не вошел. Все равно это было ребячество – Эпиктет меня бы просто *возненавидел* за это, но... – Фрэнни запнулась. – Не знаю... Наверно, мне просто хотелось увидеть на доске имя *хорошего* человека. В общем, с этого все и началось. Весь день я ко всем придиралась. Придиралась к профессору *Фаллону*. Придиралась к Лейну, когда мы говорили по телефону. Придиралась к профессору *Танперу*. Все шло хуже и хуже. Я даже к соседке по спальне стала придиратся. Господи, бедняга Беверли, я стала замечать, что она иногда глядит на меня будто в надежде, что я надумаю перебраться в другую комнату, а на мое место переедет хоть маломальски *нормальный* и приятный, человек, с которым можно жить в мире и спокойствии. Это было просто ужасно! А хуже всего то, что я знала, какая я зануда, *знала*, что нагоняю на людей тоску, иногда даже обижаю, – но я никак не могла остановиться! Не могла перестать брюзжать, и все тут.

У Фрэнни был не на шутку расстроенный вид, она примолкла, пытаясь столкнуть вниз топчущегося Блумберга.

– Но хуже всего было на занятиях, – решительно сказала она. – Это было хуже всего. Понимаешь, я вбила себе в голову – и никак не могла *выбросить*, что колледж – это еще одно *фальшивое бессмысленное* место в мире, созданное для собирания соколовища на земле, и все такое. Бог мой, соколовище – это и есть *соколовище*. Ну какая разница: деньги это, или *культура*, или просто знание? Мне казалось, что все это – *одно и то же*, стоит только сорвать обертку – да так оно и есть! И мне иногда кажется, что *знание* – во всяком случае, знание ради знания – это хуже всего. Это самое непростительное, я уверена.

Фрэнни нервно, без всякой необходимости, отбросила волосы со лба левой рукой.

– Мне кажется, все это не так уж меня бы расстроило, если бы хоть один раз – хоть *разок* – я от кого-нибудь услышала пусть самый маленький, вежливый, мимолетный намек на то, что знание *должно* вести к *мудрости*, а *иначе* это просто возмутительная трата времени, и все! Как бы не так! Во всем университете никогда никто и не *заикнется* о том, что *мудрость* – это цель всякого познания. Даже само слово «мудрость» и то почти не упоминается. А хочешь услышать что-то смешное? Хочешь услышать что-то *взаправду* смешное? За четыре года в колледже – и это чистая *правда*, – за все четыре года в колледже я всего один раз слышала слова «мудрый человек», и это на первом курсе на лекции по политике! А знаешь откуда оно выплыло? Говорили о каком-то старом придурковатом государственном деятеле, который сколотил состояние на бирже, а потом отправился в Вашингтон и стал советником президента Рузвельта! Ты только подумай, а? Почти за четыре года в колледже! Я не говорю, что такое случается *со всяким*, но меня эти мысли так *огорчают*, что взяла бы и умерла.

Она замолчала и, по всей видимости, вспомнила об интересах Блумберга. Губы ее так побледнели, что казались едва заметными на бледном лице. И они были покрыты мелкими трещинками.

Зуи давно уже не сводил с нее глаз.

– Я хотел тебя спросить, Фрэнни, – неожиданно сказал он. Он снова отвернулся к столу, нахмурился и встряхнул снеговика. – Как по-твоему, что ты делаешь с Иисусовой молитвой? – спросил он. – Именно это я пытался выяснить вчера вечером. Пока ты меня не послала подальше. Ты говоришь про собирание соколовищ – деньги, имущество, культура, знания и прочее, и прочее. А ты, непрерывно повторяя Иисусову молитву – нет, ты дай мне договорить, пожалуйста, – непрерывно повторяя Иисусову молитву, не собираешь ли ты тоже соколовище в своем роде? И это нечто можно точно так же пустить в *оборот*, до последнего треклятого кусочка, как и

те, другие, более материальные вещи? Или то, что это – молитва, так уж меняет дело? Я хочу спросить, неужели для тебя все дело заключается в том, по какую сторону человек складывает свое сокровище – здесь или там? Там, где воры не подкапывают и не крадут, и так далее?¹² Значит, вся разница только в этом? *Погоди* минуточку, пожалуйста, дай мне кончить, и все.

Несколько секунд он просидел, глядя на маленькую бурю в стеклянном шаре. Потом:

– В твоём отношении к этой молитве есть что-то такое, отчего меня мороз по коже подирает, если хочешь знать правду. Ты думаешь, что я хочу заставить тебя бросить молитву. Не знаю, хочу я или не хочу – это вопрос спорный, но я *очень* хотел бы, чтобы ты мне объяснила, из каких соображений, черт возьми, ты ее утвердишь?

Он сделал паузу, но не настолько длинную, чтобы Фрэнни успела вставить слово.

– Если рассуждать, сообразуясь с элементарной логикой, то, насколько я понимаю, нет ни малейшей разницы между человеком, который жаждет материальных сокровищ – пусть даже интеллектуальных сокровищ, – и человеком, который жаждет сокровищ духовных. Как ты сама сказала, сокровище есть сокровище, черт бы его побрал, и мне сдается, что девяносто процентов ненавидевших мир святых, о которых мы знаем из священной истории, были, по сути дела, такими же непривлекательными стяжателями, как и все мы.

Фрэнни сказала ледяным тоном, насколько ей позволила легкая дрожь в голосе:

– Теперь уже можно тебя перебить, Зуи? Зуи поставил на место снеговика и принялся играть карандашом.

– Да, да. Перебивай, сказал он.

– Я знаю все, о чем ты говоришь. Ты не сказал ничего такого, о чем бы я сама не думала. Ты говоришь, что я хочу *получить* что-то от Иисусовой молитвы, – значит, я такая же стяжательница, по твоим словам, как и те, кто хочет соболе *манто*, или жаждет *славы*, или мечтает, чтобы из него так и пер какой-нибудь дурацкий *престиж*. Я все это знаю! Господи, неужели ты меня считаешь такой идиоткой?

Ей так мешала дрожь в голосе, что она почти не могла говорить.

– Ну-ну, успокойся, успокойся.

– *Не могу* я успокоиться! Ты меня совершенно вывел из себя! По-твоему, что я делаю здесь, в этой дурацкой комнате: худею как сумасшедшая, довожу Бесси и Леса чуть ли не до истерики, ставлю дом вверх дном, и все такое? Неужели ты не понимаешь, что у меня хватает ума волноваться из-за тех причин, которые заставляют меня творить эту молитву? Это же меня и *мучает*. И то, что я чересчур привередлива в своих желаниях – то есть мне нужно *просветление* или душевный покой вместо денег, или престижа, или славы, – вовсе не значит, что я не такая же эгоистка и не ищу своей выгоды, как все остальные. Да я еще хуже, вот что! И я не нуждаюсь в том, чтобы великий Захария Гласс мне об этом напоминал!

Тут голос у нее заметно прервался, и она снова стала очень внимательна к Блумбергу. До слез, судя по всему, было недалеко, если они еще не полились.

Зуи сидел за столом и, сильно нажимая на карандаш, заштриховывал букву «о» на обратной стороне промокашки, где была напечатана какая-то реклама. Некоторое время он продолжал это занятие, а потом бросил карандаш рядом с чернильницей. Он взял свою сигару, которая лежала на краю медной пепельницы, там оставался окурочек сантиметров в пять. Зуи глубоко затянулся, словно это была трубка от кислородного аппарата в мире, лишенном кислорода. Потом как бы через силу он снова взглянул на Фрэнни.

– Хочешь, я попробую соединить тебя с Бадди по телефону сегодня вечером? – спросил он. – Мне кажется, тебе нужно поговорить с кем-то – а я тут ни к черту не гожусь.

Он ждал ответа, не спуская с нее глаз.

– Фрэнни! Скажи, хочешь?

Фрэнни не поднимала головы. Казалось, что она ищет у Блумберга блох, так тщательно она перебирала пальцами пряди шерсти... На самом деле она уже плакала, только как бы про себя: слезы текли, но не было слышно ни звука. Зуи смотрел на нее целую минуту, если не дольше, а

¹² Евангелие от Матфея, 6, 19–21.

потом сказал, не то чтобы ласково, но ненавязчиво:

– Фрэнни. Ты хочешь, чтобы я дозвонился до Бадди?

Она покачала головой, но не подняла глаз. Она продолжала искать блох. Немного погодя она ответила на вопрос Зуи, но довольно неясно.

– Что? – спросил Зуи. Фрэнни повторила свои слова.

– Я хочу поговорить с Симором, – сказала она.

Зуи еще некоторое время смотрел на нее, и лицо его совершенно ничего не выражало, разве что капельки пота выступили на его длинной и определенно ирландской верхней губе. Потом, со свойственной ему резкостью, он отвернулся к столу и опять стал заштриховывать букву «о». Но почти тут же бросил карандаш. Он неторопливо, по сравнению с его обычными темпами, встал из-за стола и, прихватив с собой окурок сигары, занял прежнюю позицию у окна, поставив ногу на подоконник. Мужчина повыше, с более длинными ногами – взять хотя бы любого из его братьев, – мог бы поставить ногу на подоконник с большей легкостью. Но зато, когда Зуи уже сделал это усилие, можно было подумать, что он застыл в танцевальной позиции.

Мало-помалу он позволил себе отвлечься, а затем его всерьез захватила маленькая сценка, которая во всей своей первозданности, не испорченная сценаристами, режиссерами и продюсерами, разыгрывалась пятью этажами ниже, на другой стороне улицы. Перед частной женской школой рос развесистый клен – одно из четырех или пяти деревьев на той, более выигрышной, стороне улицы, и в данный момент за этим кленом пряталась девчушка лет семи-восьми. На ней была темно-синяя курточка и берет, очень похожий по оттенку на красное одеяло в комнате Ван Гога в Арле. С наблюдательного пункта Зуи этот беретик мог сойти за пятно краски. Футак в пятнадцати от девочки ее собачка – молоденькая такса в зеленом кожаном ошейнике с поводком – вынюхивала ее следы; песик носился кругами как оголтелый, таща за собой поводок. Повидимому, потеряв хозяйку, он не в силах был вынести эту муку, и когда наконец он уловил ее запах, он был уже на пределе отчаяния. Радость обоих при встрече не поддавалась описанию. Таксик негромко взвизгнул, потом распластался перед ней, трепеща от восторга, а хозяйка, что-то крича, быстро перешагнула через ограждавшую дерево проволоку и подхватила его на руки. Она долго хвалила его понятными только участникам игры словами, потом опустила его на землю, взяла в руки поводок, оба весело побежали к западу, в сторону Пятой авеню и парка, и скрылись из виду. Зуи машинально взялся рукой за раму окна, словно собираясь поднять ее и посмотреть вслед уходящим. Но в этой руке у него оказалась сигара, и он упустил момент. Он затаился сигарой.

– Черт побери, – сказал он. – Есть же славные вещи на свете – понимаешь, *славные* вещи. Какие же мы идиоты, что так легко даем сбить себя с толку. Вечно, вечно, вечно, что бы с нами ни случилось, черт побери, мы все сводим обязательно к своему плюгавенькому маленькому "я".

Как раз в эту минуту Фрэнни у него за спиной высморкалась простодушно и старательно, и звук оказался значительно громче, чем можно было ожидать от столь утонченного и хрупкого на вид органа. Зуи обернулся и посмотрел на нее не без осуждения.

Фрэнни, комкая несколько листков «Клинекса», взглянула на него.

– Ну *извини* меня, – сказала она. – Уже и высморкаться нельзя?

– Ты кончила?

– Да, кончила! Господи, что за семейка. Если тебе нужно всего лишь *высморгаться*, ты просто жизнью рискуешь.

Зуи отвернулся к окну. Он коротко затаился, скользя взглядом по бетонным блокам, из которых была сложена школа.

– Бадди как-то, года два назад, высказал мне довольно здравую мысль, – сказал он. – Надо бы только вспомнить про что.

Он замолчал. И Фрэнни, все еще не расставаясь со своим «Клинексом», взглянула на него. Когда Зуи делал вид, что ему трудно что-то вспоминать, эти паузы неизменно вызвали у его сестер и братьев живой интерес, даже могли сойти за развлечение. Как правило, он просто притворялся, что вспоминает. Почтя всегда это был прием, вошедший в привычку за те пять поучительных лет, когда он был диктором «Умного ребенка», и, стараясь не выдать свою несколько

противоестественную способность цитировать мгновенно и по большей части дословно почти все, что он когда-либо читал или даже слышал, если это его интересовало, он выработал манеру, подражая другим детям, участвовавшим в программе, морщить лоб и делать вид, что хочет выиграть время. И сейчас он тоже наморщил лоб, но начал говорить намного раньше, чем обычно в подобных случаях, как будто почувствовал, что Фрэнни, его давнишняя партнерша, раскусила его трюк.

– Он сказал, что мужчина должен быть способен на все: и если он лежит у подножия холма с перерезанной глоткой, медленно истекая кровью, и мимо пройдет красивая девушка или старуха с прекрасным кувшином, который покоится в совершенном равновесии у нее на голове, он должен найти в себе силы приподняться на локте и следить за кувшином, покуда тот не скроется, целый и невредимый, за вершиной холма... Он обдумал сказанное, затем негромко фыркнул.

– Хотел бы я видеть, как это у него получится, подонок он этакий. – Он затаился сигарой. – В нашем семействе каждый получает свою религию в отдельной упаковке, – прибавил он тоном, начисто лишенным благоговения. – Уолт был настоящим фанатиком. Уолт и Бу-Бу были самыми ярыми приверженцами религии в нашей семье...

Он затаился сигарой, как будто стараясь отпугнуть удовольствие, которого не хотел испытывать.

– Уолт как-то сказал Уэйкеру, что в нашем семействе, должно быть, каждый накопил *черт знает сколько* дурной кармы за свои прошлые воплощения. Уолт создал свою теорию: что религиозная жизнь, со всеми сопутствующими мучениями, насыщается Богом на тех людей, у которых хватает нахальства обвинять его в том, что он создал такой гнусный мир.

С дивана раздался негромкий смех, выражавший одобрение присутствующих.

– Этого я никогда не слыхала, – сказала Фрэнни. – А какие религиозные взгляды у Бу-Бу? Я не знала, что они у нее есть.

Зуи немного помолчал, потом сказал:

– Бу-Бу? Бу-Бу уверена, что мир сотворил мистер Эш. Она это прочла в «Дневнике» Килверта. Детишек в приходской школе Килверта спросили, кто сотворил мир, и один малыш ответил: «Мистер Эш».

Фрэнни выразила свой восторг довольно громко. Зуи обернулся, посмотрел на нее и – «непредсказуемый» молодой человек! – скорчил очень кислую мину, как будто внезапно отрекся от всяких проявлений неуместной веселости. Он снял ногу с подоконника, опустил окурочку сигары в пепельницу на письменном столе и отошел от окна. Он медленно двинулся по комнате, засунув руки в карманы, но все же направляясь в какое-то определенное место.

– Пора мне отсюда убираться. Я приглашен к ленчу, – и тут же наклонился, неторопливо и по-хозяйски всматриваясь в глубину аквариума. Потом настойчиво постучал ногтем по стеклу.

– Стоит мне отвернуться на пять минут, как все морят моих черных моллинезий голодом. Надо было взять их с собой в колледж. Я же *знал*.

– Ой, Зуи. Ты это повторяешь пять лет подряд. Пошел бы и купил новых.

Зуи продолжал стучать по стеклу.

– Все вы, школьные ничтожества, одним миром мазаны. Жесткие, как гвозди. Это, брат, не простые черные моллинезий. Это родные существа.

Сказав это, он снова растянулся на ковре, уместившись благодаря своей худобе в довольно узком пространстве между настольным радиоприемником «Штрюмберг-Карлсон» и набитым до отказа кленовым стеллажом для журналов. И снова Фрэнни были видны только каблук и подошвы его ботинок. Однако не успел он улечься, как тут же снова сел, и его голова и шея внезапно выскочили из-под прикрытия – эффект был жутковато-комический, вроде трупа, выпадающего из шкафа.

– Молитва идет полным ходом, а? – сказал он. И снова исчез из виду. С минуту он молчал. А потом, с таким свержизысканным акцентом, что слова едва можно было разобрать: – Нельзя ли с вами перекинуться парой слов, мисс Гласс, если не возражаете?

На это с дивана ответили отчетливо зловещим молчанием.

– Тверди свою молитву, если хочешь, или возись с Блумбергом, или кури вволю, только

обеспечь мне пять минут нерушимого молчания, сестренка. И, если это возможно, *никаких слез*. О'кей? Ты слышишь?

Фрэнни ответила не сразу. Она поджала ноги, укрытые пледом. И покрепче прижала к себе спящего Блумберга.

– Я тебя слышу, – сказала она и подобрала ноги еще больше, как в крепости поднимают подъемный мост, готовясь к осаде. Она помолчала, потом заговорила снова: – Можешь говорить все, что тебе угодно, только без оскорблений. Сегодня утром я просто не готова к взбучке. Понятно?

– Никаких взбучек, никаких взбучек, сестренка. И я никого никогда не оскорбляю. – Руки у него были благочестиво скрещены на груди. – О, порой я немного *резок*, да, если на то есть повод. Но оскорблять – нет, никогда. Я лично всегда полагал, что самый лучший способ ловить мух...

– Я *серьезно* говорю, Зуи, – сказала Фрэнни, обращаясь более или менее к его ботинкам. – Кстати, я хотела бы, чтобы ты сел. Каждый раз, как здесь учиняются адские скандалы, прямо *смешно*, что все это доносится именно с того места, где ты лежишь. И на этом месте всегда лежишь именно ты. А ну-ка, сядь, пожалуйста.

Зуи закрыл глаза.

– К счастью, я знаю, что ты шутишь. В глубине души ты этого не думаешь. Мы с тобой в глубине души знаем, что это единственный кусочек священной земли во всем этом проклятом доме с привидениями. Как раз в этом месте я держал своих кроликов. А они были *святые* кролики, оба. По сути дела, это были два единственных кролика-отшельника в целом...

– Да перестань ты! – сказала Фрэнни, явно нервничая. – И если хочешь что-то сказать, *начинай*. Я только прошу, чтобы ты хоть чуть-чуть помнил о *такте*, я себя сейчас так плохо чувствую – вот и все. Ты – самый бестактный человек из всех, кого я знаю, это точно.

– Бестактный? *Ничего подобного*. Откровенный – да. Темпераментный – да. *Пылкий*. Жизнерадостный, может быть, излишне. Но никто никогда не...

– Я сказала: бестактный! – перебила его Фрэнни довольно горячо, но рассмешить себя она не давала. – Попробуй только заболей как-нибудь и пойдешь сам себя навестить, тогда ты поймешь, какой ты бестактный! Когда кому-нибудь не по себе, то ты – самое невыносимое существо, какое я знала в своей жизни. Стоит только чихнуть, знаешь, как ты себя ведешь? Каждый раз, как окажешься поблизости, ты смотришь на человека, как враг. Ты абсолютно не способен *сочувствовать*, ты – самый бесчувственный человек на свете. Да, самый!

– Ладно, ладно, ладно, – сказал Зуи, не открывая глаз. – Нет, брат, совершенства на земле. – Чуть смягчив и сделав повыше свой голос, он без напряжения, не переходя на фальцет, продемонстрировал Фрэнни хорошо знакомую манеру их матери, и, как всегда, очень похоже.

– Мы сгоряча говорим такое, молодая леди, что вовсе не собирались говорить и о чем на завтра придется очень *пожалеть*.

Потом он неожиданно нахмурился, открыл глаза и несколько секунд глядел в потолок.

– Во-первых, – сказал он, – ты, кажется, думаешь, что я хочу отнять у тебя твою молитву. Не хочу. Не собираюсь. Что до меня, то ты можешь валяться на этом диване и повторять хоть до конца своих дней Введение к Конституции, но вот чего я хочу...

– Прекрасное вступление. Просто *прелесть*.

– Что такое?

– Ничего. Ну, говори, говори.

– Я уже начал говорить, что против молитвы ничего не имею. Что бы там тебе ни казалось. Знаешь, ты ведь далеко не первая, кто решил творить Иисусову молитву. Я некогда обошел все армейские и флотские магазины в Нью-Йорке – искал подходящий для странника рюкзак. Я собирался набить его хлебными корками и отправиться пешком бродить по всей стране, черт ее побери. Творя молитву. Неся слово Божие. И все такое. – Зуи помолчал. – И, ей-богу, я говорю это не ради того, чтобы дать тебе понять, что некогда и я был Чувствительным Молодым Существом, как Ты.

– Тогда *зачем* ты это говоришь?

– Зачем я это говорю? А затем, что мне надо тебе кое-что сказать, а я, может быть, вовсе и не имею права об этом говорить. По той причине, что и меня когда-то обуревало желание творить эту молитву, а я не стал. Может, мне просто завидно, что ты за это взялась. Очень может быть, честно говоря. Во-первых, я вечно переигрываю. И более чем вероятно, что я, черт побери, не желаю быть Марфой, когда ты строишь из себя Марию¹³.

Фрэнни не удостоила его ответом. Но она подвинула Блумберга поближе и как-то неловко, нерешительно прижала его к себе. Потом она посмотрела на брата и сказала:

– Ты – бесенок. Ты это знаешь?

– Только без комплиментов, дружище, – может, со временем ты о них пожалеешь. Я все же скажу тебе, что мне не нравится твой подход к этому. Даже если я не имею права делать замечания.

Тут Зуи примерно десять секунд без выражения смотрел на беленый потолок, потом опять закрыл глаза.

– Во-первых, – сказал он, – не по душе мне эти выступления в духе Камиллы¹⁴. И не перебивай меня, ясно? Я знаю, что ты расклеилась на вполне законном основании, и все такое. Я не считаю, что ты *притворяешься*, – этого я не говорил. Я не думаю, что это подсознательные претензии на *сочувствие*. Вообще ничего такого я не думаю. Но я повторяю, что мне это не по душе. Это жестоко по отношению к Бесси, жестоко по отношению к Лесу, и если до тебя это еще не дошло, то от тебя начинает пахнуть ханжеством. Во всем мире, черт побери, нет такой молитвы и такой религии, которая оправдала бы ханжество. Я не называю *тебя* ханжой – так что можешь сидеть спокойно, – но я утверждаю, что такие истерики выглядят чертовски непривлекательно.

– Ты все сказал? – спросила Фрэнни. Она сидела, сильно наклонясь вперед. Голос у нее снова стал дрожать.

– Ну ладно, Фрэнни. Послушай. Ты сама согласилась меня выслушать. Похоже, что самое плохое я уже сказал! Я просто стараюсь тебе сказать – нет, не стараюсь, а *говорю* тебе, – что это нечестно по отношению к Бесси и Лесу, вот и все. Для них это ужасно – ты сама понимаешь. Знаешь ли ты, черт побери, что Лес уже до того дошел, что вчера вечером, перед тем как лечь спать, собирался принести тебе *мандаринчик*? Господи! Даже Бесси не выносит рассказов с мандаринчиками. И я тоже, видит бог. Если ты собираешься и дальше пребывать в этом нервном шоке, то я бы хотел, черт возьми, чтобы ты отправилась обратно в колледж и проделывала это там. Там, где с тобой никто нянчиться не будет. И где, видит бог, никому в голову не придет таскать тебе мандарины. И где ты не будешь держать свои ботинки в бельеовом шкафу, черт побери.

Тут Фрэнни на ощупь и совершенно беззвучно протянула руку к коробке с «Клинексом», стоявшей на мраморном кофейном столике.

Зуи рассеянно смотрел на давнишнее пятно на потолке, которое сам же и посадил лет девятнадцать – двадцать назад из водяного пистолета.

– И второе, о чем я беспокоюсь, – сказал он, – это тоже не очень-то приятная штука. Я уже кончаю, так что потерпи минутку, если можешь. Мне *категорически* не нравится это мелкое житышко одетого во власяницу тайного великомученика, которое ты влачишь там, в колледже, этакая ничтожная брюзгливая священная война, которую ты, как тебе кажется, ведешь против всех и вся. И не перебивай меня еще хоть секунду, я не хочу сказать ничего такого, чего ты ждешь. Насколько я понял, ты ополчилась в основном на систему высшего образования. погоди, не *бросайся* на меня. Мне противен этот ураганный обстрел. Я согласен с тобой на девяносто семь процентов. Но остальные два процента – вот что пугает меня до полусмерти. У меня в колледже был один профессор – всего один, приходится с тобой согласиться, но это был большой, большой человек, и к нему все твои разговоры просто не относятся. Нет, он не был *Эниктетом*. Но он не был ни отпетым эгоистом, ни факультетским любимчиком. Это был великий и скром-

¹³ См. Евангелие от Луки, 10, 38–42. (Примеч. перев.)

¹⁴ Камилла — героиня трагедии П. Корнеля «Гораций». (Примеч. перев.)

ный ученый. Более того, я уверен, что ни разу – ни в аудитории, ни в другом месте – я не слышал от него ни одного слова, которое не таило бы капельку, а подчас и бездну мудрости. С ним-то что будет, когда ты поднимешь свой бунт? Мне даже думать об этом невыносимо – бросим, к черту, эту тему. Те, о которых ты тут распространялась, – это совсем другое дело. Этот самый профессор Таппер. И те два болвана, о которых ты мне вчера рассказывала, Мэнлиус и еще кто-то. *Таких* у меня было хоть пруд пруди, как и у всех нас, и я *согласен* с тобой, что они не так уж безобидны. Честно говоря, они смертельно опасны. Великий Боже. До чего бы они ни дотронулись, все превращается в бессмысленную ученую чушь. Или – что еще хуже – в предмет *культы*. Я считаю, что главным образом по их вине ежегодно в июне месяце страну наводняют невежественные недоноски с дипломами.

Тут Зуи, не сводя глаз с потолка, скорчил гримасу и затряс головой.

– Но мне не нравится – и Симору, и Бадди тоже, кстати, не понравилось бы – то, как ты говоришь об этих людях. Видишь ли, ты презираешь не то, что они олицетворяют, – ты их *самых* презираешь. Какого черта ты переходишь на личности? Я серьезно говорю, Фрэнни. К примеру, когда ты говорила про этого Таппера, у тебя в глазах был такой кровавадный блеск, что запахло убийством. Эта история про то, как он перед лекцией идет в уборную и там взбивает свою шевелюру. И прочее. Может, так он и делает, – судя по твоим рассказам, это в его духе. Я не говорю, что это не так. Но что бы он там ни творил со своими волосами – *не твое это, брат, дело*. Если бы ты посмеивалась над его излюбленными ужимками, это бы еще ничего. Или если бы тебе было чуть-чуть жалко его за то, что ему от неуверенности в себе приходится наводить на себя этот жалкий лоск, черт его побери. Но когда ты мне об этом рассказываешь, – пойми, я не шучу – можно подумать, что эта его чертова прическа – твой заклятый *личный* враг. Это *несправедливо* – ты сама знаешь. Если ты выходишь на бой с Системой – давай стреляй, как положено милой, интеллигентной девушке, потому что *перед тобой враг*, а не потому, что тебе не по нутру его прическа или его треклятый галстук.

Примерно на минуту воцарилось молчание. Затем оно было нарушено: Фрэнни высморкалась – от всей души, длительно, как сморкаются больные, у которых уже дня четыре как заложило нос.

– Точь-в-точь как моя чертова язва. А знаешь, почему я ее подцепил? Или, во всяком случае, в чем на девять десятых причина моей язвы? Потому что я неправильно рассуждаю, я позволяю себе вкладывать слишком много в мое отношение к телевидению и ко всему прочему. Я делаю в точности то же, что и ты, хотя мне в моем возрасте надо бы соображать, что к чему.

Зуи замолчал. Не спуская глаз с пятна на потолке, он глубоко втянул воздух через нос. Пальцы у него всё еще были сплетены на груди.

– А то, что я скажу напоследок, возможно, тебя взорвет. Но иначе я не могу. Это самое важное из всего, что я хотел сказать. – Он посмотрел на потолок, словно ища поддержки, и закрыл глаза. – Не знаю, помнишь ли ты, но я-то не забыл, дружок, как ты тут устроила маленькое отступничество от Нового завета, так что кругом на сто миль было слышать. В это время все были в этой чертовой армии, так что я единственный такого наслушался, что уши вяли. А ты помнишь? Хоть что-нибудь помнишь?

– Мне же было всего десять лет! – сказала Фрэнни в нос и довольно воинственно.

– Я знаю, сколько тебе было. Прекрасно знаю, сколько тебе было лет. Я ведь не для того это вспомнил, чтобы тыкать тебя носом в прошлые ошибки, видит бог. Я говорю об этом по серьезной причине. Я об этом говорю потому, что ты, по-моему, как не понимала Иисуса в детстве, так и сейчас не понимаешь. Сдается мне, что он у тебя в голове перепутался с пятью или десятью другими религиозными деятелями, и я не *представляю* себе, как ты можешь творить Иисусову молитву, не разобравшись, кто есть кто и что к чему. Ты вообще-то помнишь, с чего началось то маленькое вероотступничество?.. Фрэнни? Помнишь или нет?

Ответа он не дождался. Вместо ответа Фрэнни довольно сильно высморкалась.

– А я, представь себе, помню. Глава шестая, от Матфея. Это я, брат, отлично помню. Даже помню, где я был. Я сидел у себя в комнате, заматывал липкой лентой свою чертову клюшку, и тут ты влетела в полном раже, с раскрытой Библией в руках. Тебе вдруг разонравился Иисус, и

ты желала знать, можно ли позвонить Симору в военный лагерь и сообщить ему об этом. А помнишь, за что ты разлюбила Иисуса? Я тебе скажу. Потому, *во-первых*, что тебе не понравилось, как он пошел в синагогу и опрокинул столы и расшвырял идолов. Это было так грубо, Так Неоправданно. Ты выражала уверенность, что Соломон или кто-то там еще ничего подобного себе бы не позволил. А *вторая* вещь, которую ты не одобряла – на этом месте у тебя была как раз раскрыта Библия, – это строчки: «Взгляните на птиц небесных: они не сеют, не жнут, не собирают в житницы; и Отец ваш небесный питает их». Здесь-то все в порядке. Все прелестно. Это ты вполне одобряла. Но *вот*, когда Иисус тут же говорит: «Вы не гораздо ли лучше их?»¹⁵ Ага, вот тут-то маленькая Фрэнни и спрыгивает на ходу. Тут наша Фрэнни начисто отрекается от Библии и бросается прямехонько к Будде, который не относится свысока ко всем этим милым небесным птичкам, Ко всем этим чудным, прелестным цыплятам и гусятам, которых мы разводили тогда на Озере. И не повторяй, что тебе было десять лет. Я говорю о том, к чему твой возраст не имеет никакого отношения. Никаких существенных *перемен* в возрасте от десяти до двадцати лет не происходит – и от десяти до восьмидесяти, кстати, тоже. Ты *до сих пор* не можешь любить того Иисуса, который сделал или сказал то-то и то-то – или, по крайней мере, ему это приписали, – так, как тебе хотелось бы. И ты это знаешь. Ты по природе своей не способна любить или понимать какого бы то ни было Сына Божия, который опрокидывает столы. И ты по природе своей не можешь любить или понимать какого бы то ни было Сына Божия, который говорит, что человек – *любой* человек, даже такой, как профессор Таппер, – Богу дороже, чем какой-нибудь пушистый, беспомощный пасхальный цыпленок.

Теперь Фрэнни смотрела в ту сторону, откуда доносился голос Зуи, сидя совершенно прямо и стиснув в кулаке комочек «Клинекса». Блумберга у нее на коленях уже не было.

– А ты, конечно, *можешь*, – пронзительно сказала она.

– Могу или нет, это к делу не относится. Впрочем, да, так оно и есть, я могу. В этот вопрос я сейчас углубляться не хочу, но я никогда не пытался – сознательно или иначе – перекраивать Иисуса под Франциска Ассизского, чтобы сделать его более «любезным сердцу», – а этим занимаются девяносто восемь процентов христиан во всем мире. Это не делает мне чести. Я не в таком уж восторге от святых типа Франциска Ассизского. А тебе они по сердцу. По моему мнению, это и есть одна из причин твоего маленького нервного срыва. И как раз по этой причине ты устроила его дома. Здесь ты на всем готовеньком. Обслуживание по первому разряду, с горячей и холодной проточной чертовщиной и привидениями. Куда уж удобнее! Здесь ты можешь твердить свою Иисусову молитву и лепить свой идеал из Иисуса, Святого Франциска, Симора и Хайдиного дедушки. – Зуи ненадолго прервался. – Ты что, не понимаешь? Неужели тебе *непонятно*, как смутно, как безответственно ты смотришь на мир? Господи, да в тебе никогда ничего третьесортного не было, а вот сейчас ты по горло увязла в мыслишках третьего сорта. И твоя молитва – третьесортная религия, и твое нервное расстройство, знаешь ты это или нет, – тоже третьего сорта. Я видел парочку настоящих нервных срывов, и те, на кого это накатывало, не успевали подыскать себе местечко, где бы...

– Не смей, Зуи! *Не смей!* – крикнула Фрэнни, захлебываясь слезами.

– Сейчас, минутку, одну минутку. А с *чего* это у тебя нервный срыв, кстати сказать? То есть если уж ты изо всех сил старалась выйти из строя, то почему бы тебе не употребить всю эту энергию на то, чтобы остаться здоровой и веселой? Ладно, я непоследователен. Сейчас я веду себя очень непоследовательно. Но, боже мой, как ты испытываешь ту малую толику терпения, которая мне досталась от роду! Ты смотришь на свой университетский *городок*, и на мир, и на *политику*, и на урожай одного *лета*, слушаешь болтовню кучки безмозглых студентов и решаешь, что повсюду – только «я», «я», «я» и единственный разумный выход для девушки – обрить себе голову, лечь на диван, твердить Иисусову молитву и просить у Бога какого-нибудь маленького мистического чуда, которое принесет ей радость и счастье.

Фрэнни закричала:

– *Да замолчишь ли ты наконец!*

¹⁵ Евангелие от Матфея, 6, 26.

– Секунду, секундочку. Ты все твердишь про «я». Господи, да только самому Христу под силу разобраться, где «я», а где нет. Это, брат, *Божий* мир, а не твой, и не тебе судить, где «я», а где нет – последнее слово за Ним. А как насчет твоего возлюбленного Эпиктета? Или твоей возлюбленной Эмили *Дикинсон*? Ты что, хочешь, чтобы твоя Эмили каждый раз, как ей захочется написать стишок, садилась бы и твердила молитвы до тех пор, пока это гадкое, эгоистическое желание не пропадет? Нет, этого ты не хочешь! Но тебе бы хотелось, чтобы у твоего друга профессора Таппера взяли бы и отняли его «я». Это другое дело. Может быть, и другое. Может быть. Но не кричи ты на весь мир о «я» вообще. Я считаю, если ты хочешь знать мое мнение, что половину всей пакости в мире устраивают люди, которые не пускают в ход свое подлинное «я». Твой профессор Таппер, к примеру. Судя хотя бы по тому, что ты о нем рассказываешь, я готов поспорить на что угодно, что он в жизни использует вовсе не то, что ты принимаешь за его «я», а совсем другое, более грязенькое, но менее *присущее* ему качество. Господи, да ты же достаточно ходила в школу, чтобы это знать. Только соскреби краску с никуда не годного школьного учителя – или хоть с университетского профессора, – и почти наверняка обнаружится перво-классный автомеханик или *каменищик*, черт побери. Вот тебе пример – Лесаж, мой друг, мой покровитель, моя Роза с Мэдисон-авеню. Думаешь, это «я» загнало его на телевидение? Черта с два! У него теперь вообще никакого «я» нет – если и было когда-то. Он его расколотил на мелкие хобби. Я знаю по меньшей мере три его хобби, и все они связаны с громадной мастерской у него в подвале, которая обошлась ему в десять тысяч долларов и вся набита электрическими приборами, тисками, динамо-машинами и бог знает чем еще. Ни у одного человека, проявляющего свое «я», нет *времени* ни на какие чертовы хобби.

Зуи внезапно умолк. Он по-прежнему лежал с закрытыми глазами, а пальцы у него были крепко переплетены на груди. Но вот он придал своему лицу нарочито обиженное выражение. Видимо, это была такая форма самокритики.

– *Хобби*, – сказал он. – Как это я договорился до *хобби*?

С минуту он лежал и молчал. В комнате были слышны только рыдания Фрэнни, не вполне заглушенные шелковой подушкой. Блумберг теперь сидел под роялем, на солнечном островке, и довольно картинно умывался.

– Опять я играю резонера, – сказал Зуи нарочито будничным голосом. – Что бы я ни говорил, у меня получается одно: как будто я хочу подкопаться под твою Иисусову молитву. А я ничего такого не хочу, черт меня побери! Я только против того, почему, как и *где* ты ею занимаешься. Мне бы хотелось убедиться – я был бы *счастлив* убедиться, – что ты ею не подменяешь дело своей жизни, свой долг, каков бы он, черт побери, ни был, или просто свои ежедневные обязанности. Но вот что еще хуже: я никак не могу понять – ей-богу, никак не пойму, – как ты можешь молиться Иисусу, которого даже не понимаешь. А вот что уже совершенно непостижительно, если учесть, что в тебя путем принудительного кормления впихнули примерно такую же массу религиозной философии, как в меня, – совершенно непостижительно, что ты и не пытаешься понять его. Еще можно было бы найти какое-то оправдание, если бы ты была либо совсем *простым* человеком, как тот странник, либо человеком *отчаявшимся*, – но ты, брат, не так проста и далеко не в таком отчаянии, черт побери!

Тут Зуи, все еще не открывая глаз, сжал губы – в первый раз, с тех пор как он улегся, – и эта гримаса, заметим в скобках, очень напоминала привычное выражение лица его матери.

– Боже правый, Фрэнни, – сказал он. – Если уж ты хочешь творить Иисусову молитву, то, по крайней мере, молись Иисусу, а не Святому Франциску, и Симору, и дедушке Хайди, единому в трех лицах. И когда ты молишься, думай о *нем*, и только о нем, представляй его себе таким, каким он был, а не каким ты хотела бы его видеть. Ты не желаешь смотреть правде в глаза. Именно эта проклятая привычка не смотреть правде в глаза и довела тебя до этого дурацкого расстройства и выкабкаться она тебе не поможет.

Зуи вдруг прижал ладони к своему совершенно мокрому лицу, подержал секунду и снова отнял. Снова скрестил руки на груди. Потом заговорил почти безукоризненно светским тоном:

– Одно меня ставит в тупик, честно говоря, просто ставит в тупик: как может человек – если он не дитя, и не ангел, и не счастливый простачок вроде нашего странника, – как человек мо-

жет вообще молиться Иисусу, который хоть чуточку непохож на того, кого мы видим и слышим в Новом завете. Господи! Он ведь просто самый разумный человек в Библии, только и всего! Кого он не перерос на две головы? Кого? И Ветхий и Новый завет полны жрецами, пророками, учениками, сынами возлюбленными, Соломонами, Исайями, Давидами, Павлами – но, бог ты мой, кто же из них, кроме Иисуса, действительно понимал, где начало и где конец? *Никто*. Моисей? Ничего подобного. И не говори, что Моисей. Он был хороший человек, и у него был налажен прекрасный контакт с Богом, и все такое, но в том-то и дело. Ему приходилось поддерживать контакт. А Иисус понимал, что Бог от него *неотделим*.

Тут Зуи хлопнул в ладоши – только разок, и негромко – и, может быть, неожиданно для самого себя. Не успел отзвучать хлопок, как он уже снова скрестил руки на груди.

– Господи, какой ум! – сказал он. – Ну кто, например, сумел бы промолчать в ответ на расспросы Пилата? Только не Соломон. Не говори, что Соломон. У Соломона нашлось бы несколько подходящих слов на этот случай. Не уверен, что и *Сократ* не сказал бы несколько слов. Критон или кто-нибудь там еще ухитрился бы отвести его в сторонку и выудить из него парочку хорошо обдуманных фраз для истории. Но главное и выше всего: кто из библейских мудрецов, кроме Иисуса, знал – *знал*, – что мы носим Царство Божие в себе, *внутри*, куда мы по своей проклятой тупости, сентиментальности и отсутствию воображения забываем заглянуть? Надо быть Сыном Божьим, чтобы знать такие вещи. Почему ты не задумываешься об этих вещах? Я говорю *серьезно*, Фрэнни, очень серьезно. Если ты не видишь Иисуса точно таким, каким он был, твоя молитва совершенно не имеет смысла. Если ты не понимаешь Иисуса, ты не поймешь и его молитвы – у тебя вообще не молитва получится, а какая-то дешевая ритуальная тягомотина. Иисус был *адептом высшего ранга*, черт побери, он был послан с ужасно важной миссией. Это тебе не Святой Франциск, у которого хватало времени сочинять разные гимны, или читать проповеди *птичкам*, или заниматься другими милыми делами, столь любезными сердцу Фрэнни Гласс. Я говорю совершенно серьезно, черт побери. Как ты ухитряешься этого не видеть? Если бы Господу Богу понадобилась личность, приятная во всех отношениях, вроде Святого Франциска, чтобы сделать дело, описанное в Новом завете, он бы его и выбрал, можешь быть уверена. А он выбрал самого лучшего, самого умного, самого любящего, наименее сентиментального, самого неподдельного Учителя из всех. И если ты этого не понимаешь, клянусь тебе, ты не понимаешь и смысла Иисусовой молитвы. У Иисусовой молитвы одна цель, одна-единственная цель. Одарить человека знанием о Христе. Нет, не для того, чтобы устроить маленькое, уютное, «святое-для-тебя»¹⁶ местечко, где некий липкий от патоки, очаровательный божественный пришелец примет тебя в свои объятия, и отпустит тебе все долги твои, и прогонит на вечные времена всю твою гадкую мировую скорбь и профессоров Тапперов. И, черт побери, если у тебя хватает ума понять это, а у *тебя* ума хватает, и ты все же отказываешься это понимать – значит, ты употребляешь молитву во зло, ты ею пользуешься, чтобы вымолить себе мир, полный куколок и святых, где не будет профессоров Тапперов.

Он внезапно уселся прямо и наклонился вперед с такой стремительностью, словно делал гимнастическое упражнение, – ему нужно было взглянуть на Фрэнни. Рубашка на нем была, как говорится, хоть выжимай.

– Если бы Иисус предназначил молитву для того, чтобы...

Зуи осекся. Он рассматривал Фрэнни, ничком лежавшую на диване, и, может быть в первый раз, услышал горестные звуки, которые она старалась заглушить. Он мгновенно побледнел – и от страха за ее здоровье, и, может быть, оттого, что извечно тошнотворный дух поражения вдруг пропитал всю комнату. Его бледность, однако, была до странности чисто белого тона, без желтых и зеленых оттенков вины или жалкого раскаяния. Эту бледность можно было сравнить с обескровленным лицом мальчишки, который до безумия любит животных – *всех* животных – и который только что увидел, какое выражение появилось на лице у его любимой, обожающей кроликов сестренки, когда она открыла коробку с его подарком ко дню рождения, – а там была только что пойманная маленькая кобра с неумело завязанным красным бантиком на шее. Он не

¹⁶ См. Книга Пророка Исайи, 65, 5. (Примеч. перев.).

сводил глаз с Фрэнни целую минуту, потом встал на ноги, неловко пошатнувшись, чтобы не потерять равновесие, что было совсем ему несвойственно. Он прошел очень медленно через всю комнату к письменному столу матери. Когда он дошел до стола, стало совершенно ясно, что он знать не знает, зачем его туда понесло. Казалось, он не узнает вещей, лежащих на столе, – ни промокашку с заштрихованными «о», ни пепельницу со своим собственным окурком, – так что он отвернулся и снова стал смотреть на Фрэнни. Ее рыдания чуть-чуть утихли, или это ему показалось, но она по-прежнему лежала все в той же жалкой, безвольной позе, лицом вниз. Одна рука у нее подломила, подогнулась, так что ей наверняка было очень неудобно, а то и больно так лежать. Зуи отвел от нее глаза, потом набрался смелости и снова посмотрел. Он быстро провел ладонью по потному лбу, сунул руку в карман, чтобы обсушить ее, и сказал:

– Прости меня, Фрэнни. Прости, пожалуйста. Но это формальное извинение только вызвало новые, более громкие и отчаянные рыдания. Зуи пристально смотрел на нее еще пятнадцать или двадцать секунд. Потом вышел из комнаты в переднюю, закрыв за собой дверь.

* * *

Запах свежей краски чувствовался тотчас же за дверью гостиной. Переднюю еще не начинали красить, весь паркет был застелен газетами, и первый же шаг Зуи – неуверенный, как бы в полусне – оставил отпечаток резиновой подошвы на фотографии в спортивном отделе: прямо на лице Стэна Мюзиаля, держащего в руке полуметровую форель. Через пять или шесть шагов он едва не столкнулся с матерью, которая выходила из своей спальни.

– Я думала, что ты уже ушел! – сказала она. В руках у нее были два аккуратно сложенных чистых постельных покрывала.

– Мне показалось, что наружная дверь... – Она умолкла и стала внимательно разглядывать Зуи. – *Что с тобой? Это ты так вспотел?*

Не дожидаясь ответа, она взяла Зуи за руку и повела его – скорее, переставила, как будто он был легкий как щетка, – поближе к свету, падавшему через открытую дверь только что выкрашенной спальни.

– Так и *есть* – вспотел. – Она не могла бы говорить более удивленным и придирчивым тоном, даже если из пор Зуи выступала бы неочищенная нефть. – Что такое ты там делал? Ты же только что *выкупался*. Что ты такое *делал*?

– Я опаздываю, Пышка. А ну-ка посторонись. Высокий филадельфийский комод, вынесенный в переднюю, вместе с миссис Гласс преграждал путь Зуи.

– Кто поставил сюда это чудовище? – спросил он, окидывая комод взглядом.

– Почему ты так вспотел? – требовательно спросила миссис Гласс, глядя сперва на его рубашку, потом на него самого. – Ты говорил с Фрэнни? Ты откуда идешь? Из гостиной?

– Да, да, из гостиной. Кстати, на твоём месте я бы заглянул туда на минуту. Она плачет. То есть плакала, когда я уходил. – Он похлопал мать по плечу. – А ну-ка. Давай. Посторонись...

– Плачет? Опять? Почему? Что случилось?

– Не знаю я, боже милостивый, – я спрятал ее книжки про Винни-Пуха. Слушай, Бесси, дай пройти, пожалуйста. Я спешу.

Миссис Гласс, не сводя с него глаз, отступила в сторону. И сразу же метнулась в гостиную с такой скоростью, что едва успела бросить через плечо:

– Переодень рубашку, молодой человек!

Если Зуи и слышал эти слова, то не подал виду. Он прошел через всю переднюю и вошел в спальню, где когда-то вместе с ним жили двое братьев-близнецов; теперь, в 1955-м, она безраздельно принадлежала ему. Но он задержался в своей комнате минуты на две, не больше. Потом вышел, все в той же мокрой от пота рубашке. В его внешности произошло, однако, небольшое, но отчетливое изменение. Он раздобыл сигару и успел ее раскурить. И по неизвестной причине он накрыл голову носовым платком – может быть, чтобы отвести от себя бурю, или град, или пепел огненный.

Он прошел напрямик через переднюю в ту комнату, которую раньше занимали его старшие

братья.

Впервые за семь лет Зуи, если употребить подходящее к случаю высокопарное выражение, «переступил порог» комнаты Симора и Бадди. За исключением одного мелкого случая, который запросто можно сбросить со счета: года два назад он методически прочесывал всю квартиру в поисках потерянного или «украденного» пресса для теннисной ракетки.

Он очень плотно затворил за собой дверь, всем своим видом выражая недовольство тем, что в дверях не оказалось ключа. Войдя в комнату, он почти не смотрел вокруг. Он сразу же обернулся и решительно встал лицом к листу некогда белоснежного картона, который был основательно приколот гвоздями к внутренней стороне двери. Лист был громадный, почти во всю дверь. Должно быть, этот лист своей величиной, белизной и гладкостью некогда вызывал о черной туши и печатном шрифте. И если вызывал, то не вотще. Вся видимая поверхность листа, до последнего сантиметра, была занята разбитыми на четыре весьма импозантных столбца цитатами из произведений мировой литературы. Буквы были мелкие, но черные как смоль и неистово отчетливые, и если кое-где и встречались причудливые росчерки, то клякс и помарок не было. Работа была выполнена с не меньшей тщательностью даже в самом низу, возле порога, где оба каллиграфа, должно быть, по очереди лежали на животе. Не было сделано ни малейшей попытки распределить афоризмы или их авторов по каким-либо категориям или группам. Так что, читая цитаты сверху вниз, столбец за столбцом, вы как бы пробирались между койками на спасательной станции в районе, пострадавшем от наводнения: например, Паскаль без всякой фривольности улегся рядом с Эмили Дикинсон, а Бодлер и Фома Кемпийский, так сказать, поставили свои зубные щетки в один стакан.

Зуи, стоя достаточно близко, прочел верхние строчки в левом столбце и продолжал читать сверху вниз. Судя по выражению его лица, или, скорее, по отсутствию такового, можно было подумать, что он в ожидании поезда от нечего делать читает на доске объявлений рекламу супинаторов д-ра Шолля.

Итак, да будет у тебя устремленность к делу, но никогда к его плодам, да не будет плод действия твоим побуждением, и да не будет у тебя привязанности к бездействию.

Каждое действие совершай, сосредоточившись в своем сердце на Высшем Владыке. Пребывая в йоге, совершай дела, оставив привязанность, равный (подчеркнуто одним из каллиграфов) в успехе и неудаче. Равновесием именуется йога.

Работа, совершенная ради награды, много ниже той, которая вершится без страсти, в безмятежности самоотречения. Ищи спасения в познании Брахмана. Несчастен тот, кто трудится ради своекорыстных интересов.

«Бхагавадгита».

Оно любило осуществляться.

Марк Аврелий.

О, улитка,

Взбираясь к вершине Фудзи,

Можешь не торопиться!

Исса.

Что же касается богов, то есть люди, отрицающие само существование божественности; другие считают, что она существует, но не волнуется, не заботится, не предопределяет ничего. Третьи допускают и существование, и предопределение, но только в отношении великих событий, небесных дел, а не земных. Четвертая школа признает значение земных дел наравне с небесными, но только вообще, а не в отношении к каждому в отдельности. А пятая, к которой принадлежали Улисс и Сократ, это те, кто восклицает:

«Не сделаю ни шага без ведома Твоего!»

Эпиктет.

Любовная история в ее высшем развитии наступит тогда, когда мужчина и дама, незнакомые друг другу, разговаривают в поезде, возвращающемся на восток.

– Ну-с, – сказала миссис Крут – а это была именно она, – как вам понравился Каньон?

– Пещерка что надо, – ответил ее спутник.

– Какая оригинальная манера выражаться! – отвечала миссис Крут. – А теперь развлекайте меня.

Ринг Ларднер («Как писать рассказы»).

Бог вразумляет сердце, но не мыслями, а страданиями и препятствиями.

Де Коссад.

– Папа! – вскрикнула Кити и закрыла ему рот руками.

– Ну, не буду! – сказал он. – Я очень, очень... ра... Ах! Как я глуп...

Он обнял Кити, поцеловал ее лицо, руку, опять лицо и перекрестил ее.

И Левина охватило новое чувство любви к этому прежде чуждому ему человеку, старому князю, когда он смотрел, как Кити долго и нежно целовала его мясистую руку.

«Анна Каренина».

«Господин, мы должны объяснить людям, что они поступают неверно, поклоняясь в храмах статуям и картинам».

Рамакришна: «Так вы привыкли, жители Калькутты: вы хотите поучать и проповедовать. Вы хотите раздавать миллионы, сами питаясь милостыней... Неужели, по вашему мнению, Бог не знает, что именно ему поклоняются перед статуями и картинами? Даже если молящийся впадает в ошибку, не кажется ли тебе, что Бог узнает о его намерениях?».

«Завет Шри Рамакришны».

«Не хотите ли к нам присоединиться?» – спросил меня как-то знакомый, повстречав меня после полуночи в почти опустевшем кафе. «Нет, не хочу», – ответил я.

Кафка.

Счастье общения с людьми.

Кафка.

Молитва св. Франциска Сальского:

«Да, Отче! Да, и вовеки веков, да!»

Цюй-жань ежедневно обращался к самому себе: «Учитель!»

Потом сам себе отвечал: «Да, господин». Затем продолжал: «Протрезвись». Опять отвечал: «Да, господин».

«И с этих пор, – продолжал он, – не давай никому ввести тебя в грех».

«Да, господин, да, господин», – отвечал он.

«Мю мэнь гуань»

Ввиду того что картон был исписан довольно мелким почерком, последнее изречение находилось в первой трети левого столбца, наверху, и Зуи мог бы читать этот столбец еще минут пять, не сгибая колен. Но он не захотел. Он неторопливо отвернулся, прошел к письменному столу своего брата Симора и сел, выдвинув небольшой стул с прямой спинкой, как будто проде- лывал это ежедневно. Он положил сигару справа на край стола горящим концом наружу, оперся локтями о стол и закрыл лицо ладонями.

Два окна, слева, у него за спиной, с наполовину задернутыми шторами, выходили во двор – неприглядный бетонно-кирпичный проход, по которому в любое время дня серыми тенями про- ходили прачки или рассыльные из лавок. Саму комнату можно было назвать третьей главной

спальней в квартире, и по более или менее устоявшимся в манхэттенских многоквартирных домах стандартам она была и тесновата, и темновата. Двое старших сыновей Глассов, Симор и Бадди, заняли эту комнату в 1929-м, когда одному было двенадцать, а второму – десять лет, а освободили ее, когда им было двадцать три и двадцать один. Она была обставлена в основном предметами из «гарнитура» кленового дерева: две кушетки, ночной столик, два детских письменных столика, под которыми не умещаются ноги, два шкафчика, два полукресла. На полу лежали три сильно потертых половика с восточным орнаментом. Почти все остальное пространство, за малым исключением, занимали книги. Книги, «которые должны быть под рукой». Книги, «которые вечно забывали дома». Книги, «которые неизвестно куда девать». Но всё книги, книги. Три стены в комнате были заняты высокими стеллажами, забитыми до отказа и еще сверх того. Избыток книг кучами громоздился на полу. Места оставалось достаточно, чтобы можно было пройти, но расхаживать было негде. Гость, склонный к описательной прозе, популярной за коктейлем, мог бы сказать, что на первый взгляд комната казалась заброшенным жилищем двух подростков, которые пробивают себе дорогу на поприще науки или юриспруденции. И в самом деле, по немногим малозаметным признакам, не предпринимая пристального изучения наличной литературы, трудно было догадаться, что обитатели этой вполне детской комнаты достигли избирательного возраста. Правда, там был телефон – тот самый пресловутый личный телефон, – он стоял на столе у Бадди. И на обоих столах было множество прожженных сигаретами пятен. Но другие, более красноречивые приметы совершеннолетия – коробочки для запонки, картинки со стен, характерные мелочи, которые скапливаются на верхних полках шкафов, – все исчезли из комнаты в 1940-м, когда молодые люди «отделились» и переехали на собственную квартиру.

Зуи сидел за столиком Симора, спрятав лицо в ладонях, и носовой платок, покрывавший его голову, сполз вниз, на лоб; он сидел неподвижно, хотя и не спал, добрых двадцать минут. Потом он одним почти непрерывным движением убрал руки, взял сигару, сунул ее в рот, открыл нижний ящик слева и вытащил обеими руками стопку картонных листов, с виду смахивавших на картонки от мужских рубашек, как оно и оказалось. Он положил стопку на стол и стал перебирать листы, по два или по три разом. Только на минуту его рука задержалась, и то едва заметно. Он выбрал картонку, на которой была запись от февраля 1938 года. Запись была сделана синим карандашом, почерком его брата Симора:

"Мой двадцать первый день рождения. Подарки, подарки, подарки. Зуи и малышка, по обыкновению, бегали за покупками вниз по Бродвею. Они преподнесли мне большую коробочку зудящего порошка и три зловонных бомбы. Мне предстоит бросить бомбы при первой же возможности в лифте отеля «Колумбия» или в другом месте, «где побольше народу».

Вечером – многоактный водевиль в мою честь. Лес и Бесси прелестно танцевали на песочке, который Бу-Бу принесла из вазы в передней. Когда они кончили, Б. и Бу-Бу очень смешно их передразнивали. Лес чуть не прослезился. Малышка спела «Абдул Абулбул Амир». З. продемонстрировал уход Уилла Мэхони, как его научил Лес, врезался лбом в книжный шкаф и пришел в бешенство. Близнецы повторили нашу с Бадди старую сценку Бака и Бабблза. Просто великолепно. Чудесно. Когда все было в самом разгаре, снизу позвонил швейцар и спросил, не танцуют ли у нас. А то мистер Зелигман, с четвертого..."

Тут Зуи перестал читать. Он дважды основательно постучал стопкой картонок о стол, как это делают с колодой карт, сунул стопку в нижний ящик и задвинул его.

Он снова поставил локти на стол и, подавшись вперед, спрятав лицо в ладонях. На этот раз он просидел, не шелохнувшись, почти полчаса.

А когда он снова задвигался, можно было подумать, что к нему привязали ниточки и дергают его, как марионетку, с излишним усердием. Казалось, он еле успел схватить свою сигару, как новый рывок бросил его на стул возле второго стола – стола Бадди, на котором стоял телефон.

Заняв эту новую сидячую позицию, он первым делом вытащил рубашку из брюк. Расстегнул рубашку сверху донизу, как будто тремя прыжками перенесся в тропики. Потом он вынул сигару изо рта и перехватил ее левой рукой. Правой рукой он стащил носовой платок с головы и

поместил его рядом с телефоном, явно в положении «полной готовности». Затем он без проволок поднял трубку и набрал местный номер. Очень даже местный номер. Кончив набирать, он взял платок со стола и положил его на микрофон трубки довольно высокой рыхлой горкой. Он глубоко вздохнул и стал ждать. Он вполне успел бы закурить потухшую сигару, но не стал этого делать.

Минуты за полторы перед тем Фрэнни, с заметной дрожью в голосе, в четвертый раз за истекшие полчаса отказалась от предложения матери принести чашечку «прекрасного горячего куриного бульона». Миссис Гласс высказала это последнее предложение на ходу, точнее, на полпути к дверям гостиной, ведущим в сторону кухни, и вид у нее был сурово-оптимистический. Но, услышав вновь задрожавший голос Фрэнни, она быстро вернулась обратно к стулу, с которого встала.

Разумеется, этот стул стоял недалеко от Фрэнни. Он представлял собой отличный наблюдательный пункт. Минут пятнадцать назад, когда Фрэнни настолько оправилась, что села и стала искать свою расческу, миссис Гласс принесла стоявший возле письменного стола стул и приставила его вплотную к кофейному столику. Позиция была выигрышной для наблюдения за Фрэнни, кроме того, наблюдатель мог свободно пользоваться пепельницей, стоявшей на мраморной столешнице.

Усевшись на прежнее место, миссис Гласс вздохнула, как вздыхала всегда, всякий раз, когда люди отказывались от чашек с куриным бульоном. Но она, можно сказать, так много лет курсировала на патрульном катере по пищеварительным каналам своих детей, что этот вздох вовсе не означал капитуляции, и она почти сразу же сказала:

– Не понимаю, как ты собираешься восстанавливать свои *силы*, если ты не хочешь подкрепиться чем-нибудь питательным. Прости, но я не понимаю. Ты ведь уже целых...

– Мама, прошу тебя. В двадцатый раз! *Пожалуйста*, перестань твердить про куриный бульон! Меня тошнит при одном... – Фрэнни замолчала и прислушалась. – Это наш телефон?

Миссис Гласс уже вскочила со стула. Губы у нее слегка сжались. Телефонный звонок, любой звонок в любом месте и в любое время неизменно заставлял миссис Гласс слегка поджимать губы.

– Я сейчас вернусь, – сказала она и вышла из комнаты. Она позвякивала отчетливее, чем обычно, как будто в одном из карманов ее кимоно рассыпалась коробка с гвоздями всех размеров.

Она отсутствовала минут пять. Возвратилась она с тем особым выражением на лице, о котором ее старшая дочь, Бу-Бу, говорила, что оно означает всегда одно из двух: или она только что говорила по телефону с кем-то из своих сыновей, или ей сию минуту сообщили из достоверных источников, что у всех людей на земле – поголовно – желудок целую неделю будет действовать с гигиенической регулярностью, точно по расписанию.

– Это звонит Бадди, – сообщила она, входя в комнату.

Многолетняя тренировка помогла ей скрыть малейшие признаки удовольствия, которые могли прозвучать в ее голосе.

Внешняя реакция Фрэнни на это сообщение была далеко не восторженной. Она явно нервничала.

– Откуда он звонит? – сказала она.

– А я его не спросила. Судя по голосу, у него ужасный насморк. – Миссис Гласс не садилась. Она стояла над Фрэнни.

– Поторопись-ка, молодая леди. Он хочет поговорить с *тобой*.

– Он так сказал?

– *Конечно*, он так сказал! Поспеш, пожалуйста... И тапочки надень.

Фрэнни выбралась из розовых простыней и из-под бледно-голубого пледа. Она сидела, бледная, на краю дивана, и явно тянула время, глядя на мать снизу вверх. Ногами она пыталась нашарить тапочки.

– Что ты ему наговорила? – тревожно спросила она.

– Иди, пожалуйста, к телефону, молодая леди, – уклончиво сказала миссис Гласс. – И поторопись ты хоть капельку, ради бога.

– Наверно, ты ему сказала, что я при смерти или что-нибудь такое, – сказала Фрэнни. Ответа она не получила. Она встала с дивана, далеко не с такой немощью, как встал бы выздоравливающий после операции больной, но в ее движениях был намек на робость и неуверенность, словно она ждала или даже надеялась, что у нее вот-вот закружится голова. Она поглубже засунула ноги в тапочки, а потом с мрачным видом выбралась из-за кофейного столика, то завязывая, то развязывая пояс своего халата. Примерно год тому назад, в неоправданном, самоуничижительном письме к брату Бадди она назвала свою фигуру «безукоризненно американской». Глядя на нее, миссис Гласс, великий знаток фигур и походок молодых девушек, снова сжала губы, вместо того чтобы улыбнуться. Но в ту же секунду, как Фрэнни скрылась за дверью, она перенесла свое внимание на диван. Ее взгляд ясно говорил, что мало найдется на свете вещей, которые возмущали бы ее больше, чем вид дивана, прекрасного стеганого дивана, превращенного в постель. Она вошла в проход между диваном и кофейным столиком и принялась, как массажист, взбивать все подушки, которые попадались ей под руку.

Фрэнни прошла мимо телефона в передней, не удостоив его вниманием. Она явно предпочитала пройти подальше через переднюю в спальню родителей, где находился телефон, пользовавшийся в семье большей популярностью. И хотя в ее походке, пока она шла через переднюю, не было ничего бросающегося в глаза – она не плелась и не особенно торопилась, – но все же она удивительно менялась прямо на глазах. Казалось, что с каждым шагом она становится младше. Может быть, длинные коридоры, да еще остаточное действие пролитых слез, да еще телефонный звонок, да запах свежей краски, да газеты под ногами – для нее, может быть, все это в сумме было равно новой кукольной колясочке. Так или иначе, когда она подошла к дверям родительской спальни, ее модный, сшитый на заказ шелковый халат – быть может, олицетворение всего, что в дортуарах считается шикарным и *роковым*, – выглядел как шерстяной купальный халатик маленькой девчушки.

В комнате мистера и миссис Гласс от крашенных стен шел резкий, даже режущий запах. Вся мебель сгрудилась посередине комнаты под холстом – старым, испещренным пятнами, почти растительным на вид полотном. Кровати тоже были отодвинуты от стен, но их закрывали ситцевые покрывала, о которых позаботилась лично миссис Гласс. Телефон оказался на подушке, на кровати мистера Гласса. Миссис Гласс тоже явно предпочитала этот аппарат тому, который стоял в передней, у всех на ходу. Трубка лежала рядом в ожидании Фрэнни. Было что-то почти человеческое в том, как покорно она дожидалась, пока вспомнят о ее существовании. Чтобы добраться до нее, чтобы выручить ее, Фрэнни пришлось перейти вброд шуршащее море газет и обогнуть пустое ведро из-под краски. Добравшись до телефонной трубки, она не стала ее брать, а просто присела рядом с ней на кровать, взглянула на нее, отвела взгляд в сторону и отбросила волосы со лба. Ночной столик, обычно стоявший вплотную к кровати, был отодвинут не очень далеко, так что Фрэнни могла дотянуться до него, не вставая. Она сунула руку под кусок особенно замызанного холста и шарила под ним, пока не наткнулась на то, что искала, – на фарфоровую сигаретницу и коробку спичек в медном футляре. Она закурила сигарету и бросила на телефон еще один, долгий и очень встревоженный взгляд. Надо сказать, что за исключением ее покойного брата Симора, у всех остальных братьев голоса по телефону звучали чересчур мощно, чтобы не сказать оглушительно. И надо полагать, что в данный момент Фрэнни никак не могла набраться решимости просто услышать голос такого тембра, какой был у всех ее братьев, не говоря уж о том, чтобы выслушать словесное содержание. И все же она нервно затянулась сигаретой и довольно решительно взяла трубку.

– Алло, Бадди? – сказала она.

– Привет, радость моя. Как ты там – все в порядке?

– В полном. А ты как? У тебя как будто насморк. – И добавила, не дожидаясь ответа: – Наверно, Бесси тебе тут целый час на меня *наговаривала*.

– Ну – в некотором роде. И да и нет. Сама знаешь. У тебя все хорошо, радость моя?

– У меня все прекрасно. Все же голос у тебя забавный. Или у тебя жуткий насморк, или те-

лефон жутко барахлит. Где ты, кстати?

– Где я? Я в своей стихии, Флопси. Я сижу в маленьком домике с привидениями, по соседству. Не важно, где. Давай поговорим.

Фрэнни беспокойно скрестила ноги.

– Я как-то не представляю, о чем ты хочешь со мной поговорить, – сказала она. – То есть что тебе Бесси наговорила?

На том конце провода возникла весьма характерная для Бадди пауза. Это была как раз такая пауза – совсем немного перенасыщенная сознанием своего старшинства, – какие не раз испытывали терпение не только Фрэнни, но и виртуоза на том конце провода, еще в те времена, когда они были малышами.

– Видишь ли, я не так уж точно помню, что она мне сказала, радость моя. После определенного момента слушать, что Бесси говорит по телефону, даже как-то невежливо. Можешь быть уверена, что о сырниках, на которых ты сидишь, я все слышал. И, само собой, о книжках странника. А потом я, кажется, просто сидел и держал трубку возле уха, но не прислушивался. Сама понимаешь.

– А, – сказала Фрэнни. – Она перехватила сигарету той рукой, в которой была телефонная трубка, а свободную руку опять сунула под холст, выудила из-под него крохотную керамическую пепельницу и поставила ее рядом с собой на кровать. – Какой у тебя смешной голос, – сказала она. – Простудился или еще что-нибудь?

– Я себя прекрасно чувствую, радость моя. Сижу здесь, болтаю с тобой и чувствую себя прекрасно. Очень радостно слышать твой голос. Просто нет слов.

Фрэнни опять откинула волосы со лба одной рукой и промолчала.

– Флопси? Ты не вспомнишь, что Бесси забыла сказать? Ты вообще-то хочешь поговорить?

Фрэнни подтолкнула крохотную пепельницу пальцами, слегка изменив ее положение на кровати.

– Знаешь, я немного устала от разговоров. *Честно говоря*, сказала она, – Зуи обрабатывал меня все утро.

– Зуи? А как он там?

– *Как он? Прекрасно.* У него все *тип-топ*. Только я убить его готова, вот что.

– Убить? За что? За что, радость моя? За что ты хочешь убить нашего Зуи?

– *За что?* Просто убила бы, и все тут. Он все разбивает в пух и прах. В жизни не встречала такого ниспровергателя! И это так *бессмысленно*! То он бросается в сокрушительную атаку на Иисусову молитву – а сейчас это меня как раз интересует, – так что и вправду начинаешь считать себя какой-то истеричной идиоткой только потому, что интересуешься этой молитвой. А ровно через две минуты он уже набрасывается на тебя, как ненормальный, доказывая, что Иисус – единственная в мире личность, которую он способен хоть немного *уважать* – такой *светлый* ум, и так далее. Он такой непоследовательный. Понимаешь, он все кружит, и кружит, такими жуткими *кругами*.

– Расскажи-ка. Расскажи-ка про жуткие круги.

Тут Фрэнни имела неосторожность сердито фыркнуть – а она только что затянулась сигаретой. Она закашлялась.

– Расскажи! Да мне на это целого дня не хватит, вот что!

Она поднесла руку к горлу и подождала, пока не прошел кашель от дыма, попавшего «не в то горло».

– Он настоящее чудовище! – сказала она. – Чудовище! Ну, может, не в прямом смысле слова – но... не знаю. Его так все злит. Его злит *религия*. Его злит *телевидение*. Он злится на тебя и на Симора – все твердит, что вы сделали из нас уродов. Я не знаю. Он так и перескакивает с одного...

– А почему уродов? Я знаю, что он так думает. Или думает, что он так думает. Но он хоть сказал почему? Дал он определение понятия «урод»? Что он говорил, радость моя?

Именно после этих его слов Фрэнни, явно в отчаянии от наивности вопроса, хлопнула себя рукой по лбу. Возможно, она уже лет пять-шесть как позабыла про этот жест – тогда она, кажет-

ся, на полпути домой в автобусе-экспрессе вспомнила, что забыла в кино свой шарф.

– Какое определение? – сказала она. – Да у него на любое слово по сорок определений! И если тебе кажется, что я слегка тронулась, то вот тебе и причина. Сначала он говорит, как вчера вечером, что мы – уроды, потому что нам вдолбили одну-единственную систему принципов. А *десять минут спустя* он говорит, что он – урод, потому что ему никогда не хочется пойти и выпить с кем-нибудь. Только один раз...

– Никогда не хочется чего?

– Пойти с кем-нибудь *выпить*. Видишь ли, ему пришлось вчера вечером поехать и выпить со своим сценаристом в Вилледж и так далее. С этого все и началось. Он говорит, что единственные люди, с которыми ему хотелось бы пойти выпить, или на том свете, или у черта на куличках. Он говорит, что ему даже и *завтракать* ни с кем не хочется, если он не уверен, что это окажется Иисус – собственной персоной, – или Будда, или Хой-нэн, или Шанкарачарья, или кто-нибудь в этом роде. Сам знаешь. Фрэнни неожиданно и довольно неловко сунула свою сигарету в маленькую пепельницу – вторая рука у нее была занята, и придержать пепельницу было нечем.

– А знаешь, что он мне еще рассказал? – сказала она. – Знаешь, в чем он мне клялся и божился? Он мне вчера вечером сказал, что как-то распил по стаканчику эля с Иисусом в кухне, и было ему тогда восемь лет. Ты слушаешь?

– Слушаю, слушаю... радость моя.

– Он сказал – это его собственные слова, – что сидит он как-то на кухне, за столом, один-одинешенек, попивает эль, грызет сырные палочки и читает «Домби и сын», как вдруг, откуда ни возьмись, на соседний стул садится Иисус и спрашивает, нельзя ли ему выпить маленький стаканчик эля. *Маленький* стаканчик, заметь – так он и сказал. Понимаешь, он несет такую чепуху и при этом уверен, что имеет право давать *мне* кучу советов и указаний! Вот что меня бесит! Можно лопнуть от злости! Да, лопнуть! Как будто сидишь в сумасшедшем доме, и к тебе подходит другой больной, одетый точь-в-точь как доктор, и начинает считать твой пульс или как-то еще придуливаться. Просто ужас. Он говорит, говорит, говорит. А когда он на минутку умолкает, то дымит своими вонючими сигарами по всему дому. Мне так тошно от сигарного дыма, что просто хоть ложись и *умирай*.

– Сигары – это балласт, радость моя. Просто балласт. Если бы он не держался за сигару, он бы оторвался от земли. И не видать бы нам больше нашего брата Зуи.

В семействе Гласс был не один опытный мастер высшего словесного пилотажа, но, может быть, только Зуи был настолько хорошо ориентирован в пространстве, чтобы без риска доверить эту фразу телефонным проводам. Во всяком случае, так считает рассказчик. И Фрэнни, видимо, тоже это почувствовала. Как бы то ни было она вдруг поняла, что с ней разговаривает не кто иной, как Зуи. Она медленно поднялась с краешка кровати.

– Ну, ладно, Зуи, – сказала она. – Кончай.

– Простите: не понял? – не сразу ответили ей.

– Я говорю: кончай, Зуи.

– Зуи? Что это значит, Фрэнни? Слышишь?

– Слышу. Прекрати, пожалуйста. Я знаю, что это ты.

– Что это ты там говоришь, радость моя? А? Какой еще Зуи?

– Зуи *Гласс*, – сказала Фрэнни. – Ну, перестань, пожалуйста. Это вовсе не смешно. Между прочим, я только стала приходить...

– Гласс, вы сказали? Зуи Гласс? Норвежец? Такой белокурый увалень, спортсмен...

– Ну, *хватит*, Зуи. Пожалуйста, перестань. Пора и честь знать. Это вовсе не смешно. Если хочешь знать, я чувствую себя препаршиво. Так что если тебе нужно сказать мне что-нибудь особенное, пожалуйста, говори поскорее и оставь меня в *покое*.

Это последнее, выразительно подчеркнутое слово было странным образом как бы брошено на полдороге, словно его раздумали подчеркивать.

На другом конце провода воцарилась непонятная тишина. И Фрэнни реагировала на нее тоже непонятным образом. Она встревожилась. Она опять присела на край отцовской кровати.

– Я не собираюсь бросать трубку или еще что-нибудь, – сказала она. – Но я... не знаю... я

устала, Зуи. Я вымоталась, честное слово.

Она прислушалась. Ответа не было. Она скрестила ноги.

– Ты-то можешь продолжать это целыми днями, а я не могу, – сказала она. – Я только и делаю, что слушаю. И это не такое уж громадное удовольствие, знаешь ли. По-твоему, все мы железные, что ли?

Она прислушалась. Потом начала было говорить, но замолчала, услышав, как Зуи откашляется.

– Я не считаю, что все вы железные, дружище.

Эти простые в своем смирении слова, казалось, взволновали Фрэнни гораздо больше, чем взволновало бы дальнейшее молчание. Она быстро протянула руку и достала сигарету из фарфоровой сигаретницы, но закуривать не стала.

– Ну а можно подумать, что ты так считаешь, – сказала она.

Она прислушалась. Подождала.

– Я хотела спросить, ты позвонил по какой-то особой причине?

– Никаких особых причин, брат, никаких особых причин.

Фрэнни ждала. Затем на другом конце снова заговорили.

– Кажется, я позвонил тебе более или менее ради того, чтобы сказать: твори себе свою Иисусову молитву, если хочешь. В общем, это твое дело. Молитва чертовски хорошая, и не слушай никого, кто станет возражать.

– Я знаю, – сказала Фрэнни. Сильно волнуясь, она потянулась за спичками.

– Не думаю, чтобы я когда-нибудь всерьез собирался *остановить* тебя. Во всяком случае, я так не думаю. Не знаю. Не знаю, что за чертовщина взбрела мне на ум. Но одно я знаю точно. Я не имею никакого права вещать, как какой-то чертов *ясновидец*, а я именно так и делал. Хватит с нас ясновидящих в нашей семье, черт побери. Вот что меня тревожит. Вот что меня даже малость пугает.

Фрэнни воспользовалась наступившей паузой и слегка выпрямила спину, как будто по неизвестной причине хорошая, более правильная осанка могла в ближайший момент пригодиться.

– Это меня малость пугает, но не ужасает. Давай говорить начистоту. Меня это не ужасает. Потому что ты об одном забываешь, дружище. Когда ты впервые почувствовала желание, точнее, призвание творить молитву, ты не бросилась шарить по всему миру в поисках учителя. *Ты явилась домой*. И не только явилась домой, но и устроила этот нервный срыв, черт побери. Так что если ты посмотришь на это определенным образом, то поймешь, что ты вправе претендовать только на духовные советы самого низшего порядка, которые мы в силах тебе дать, и больше ни на что. Но ты, по крайней мере, знаешь, что в этом сумасшедшем доме ни у кого нет корыстных мотивов. Какие бы мы ни были, нам можно доверять, брат.

Фрэнни неожиданно сделала попытку закурить, хотя у нее была свободна только одна рука. Она сумела открыть спичечный коробок, но так неловко чиркнула спичкой, что коробок полетел на пол. Она быстро нагнулась и подняла коробок, не трогая рассыпавшиеся спички.

– Скажу тебе одно, Фрэнни. Одну вещь, которую я *знаю*. И не расстраивайся. Ничего плохого я не скажу. Но если ты стремишься к религиозной жизни, то да будет тебе известно: ты же в упор не видишь ни одного из тех религиозных обрядов, черт побери, которые совершаются прямо у тебя под носом. У тебя не хватает соображения даже на то, чтобы *выпить*, когда тебе подносят чашу освященного куриного бульона – а ведь только таким бульоном Бесси угощает всех в этом сумасшедшем доме. Так что ответь, ответь, брат, честно. Даже если ты пойдешь и обшаришь весь мир в поисках учителя – какого-нибудь там гуру или святого, – чтобы он научил тебя творить Иисусову молитву по всем правилам, чего ты этим добьешься? Как же ты, черт побери, узнаешь подлинного святого, если ты неспособна даже опознать чашку освященного куриного бульона, когда тебе суют ее под самый нос? Можешь ты мне ответить?

Фрэнни сидела, почти неестественно выпрямившись.

– Я просто тебя спрашиваю. Я не хочу тебя расстраивать. Я тебя расстраиваю?

Фрэнни ответила, но ее ответ явно не дошел до собеседника.

– Что? Я тебя не слышу.

– Я сказала – нет. Откуда ты звонишь? Где ты?

– А, какая, к черту, разница! Ну, хотя бы в Пьере, Южная Дакота. Боже ты мой. Послушай меня, Фрэнни, прости и не сердись. Только послушай. Еще одна-две мелочи, и я оставлю тебя в покое, честное слово. А знаешь ли ты, что мы с Бадди приезжали посмотреть тебя на сцене этим летом? Известно ли тебе, что мы видели одно из представлений «Повесы с Запада»? Вечер был адски жаркий, должен тебе сказать. А ты знала, что мы приезжали?

Видимо, он ждал ответа. Фрэнни встала, но тут же снова села. Она отодвинула пепельницу чуть подальше, словно та очень ей мешала.

– Нет, не знала, – сказала она. – Никто ни одним словом... Нет, не знала.

– Так вот, мы там были, мы там были. И я вот что скажу тебе, брат. Ты играла хорошо. Когда я говорю «хорошо», это значит *хорошо*. Весь этот чертов хаос держался на тебе. Даже вся эта валявшаяся до обалдения на солнце курортная публика это понимала. А теперь мне говорят, что ты навсегда порвала с театром – да, слухи до меня доходят, слухи доходят. И я помню, какой концерт ты тут устроила, когда кончился сезон. Ох, и зол же я на тебя, Фрэнни! Извини, но я на тебя так зол! Ты сделала великое, *потрясающее* открытие, черт побери, что среди актерской братии полно торгашей и мясников. Я помню, у тебя был такой вид, словно тебя огорошило то, что не все билетерши гениальны. *Что* с тобой, брат? Где твой ум? Раз уж ты получила уродское воспитание, то хоть *пользуйся* им, *пользуйся*. Можешь долбить Иисусову молитву хоть до Судного дня, но если ты не понимаешь, что единственный смысл религиозной жизни в *отречении*, не знаю, как ты продвинешься хоть на *дюйм*. Отречение, брат, и только отречение. Отрешенность от желаний. «Устранение всех вожделений». А ведь именно умение *желать*, если хочешь знать, черт побери, всю правду, – это самое главное в настоящем актере. Зачем ты заставляешь меня говорить тебе то, что ты сама знаешь? В том или ином воплощении, где-то на протяжении этой цепочки, ты желала, черт возьми, быть актрисой, да еще и *хорошей* актрисой. И теперь тебе не увернуться. Ты не можешь взять да и бросить то, чего так горячо желала. Причина и следствие, брат, причина и следствие. И тебе остается только одно – единственный религиозный путь – это *играть*. Играй ради Господа Бога, если хочешь – будь актрисой Господа Бога, если хочешь. Что может быть прекрасней? Если тебе хочется, ты можешь хотя бы попробовать – попытка не пытка. – Он на минуту примолк. – И лучше бы тебе, не мешкая, взяться за дело. Этот чертов песок так и сыплется вниз, стоит только отвернуться. Я знаю, о чем говорю. Если ты успеешь хотя бы чихнуть в этом проклятом материальном мире, то считай, что тебе крупно повезло. – Он снова помолчал. – Меня это всю жизнь тревожило. А теперь как-то перестало тревожить. По крайней мере, я до сих пор люблю череп Йорика. Я хочу оставить после себя почтенный череп, брат. Я ж е л а ю, чтобы после моей смерти остался такой же достойный уважения череп, черт побери, как череп Йорика. И т ы желаешь того же, Фрэнни Гласс. Да, и ты, и ты тоже... О господи, что толку в разговорах? Ты получила точно такое же треклятое уродское воспитание, как и я, и если ты до сих пор не знаешь, какой именно *череп* ты хочешь оставить, когда помрешь, и что надо делать, чтобы *добиться* этого, то есть если ты до сих пор не поняла хотя бы того, что актриса должна *играть*, тогда какой смысл в разговорах?

Фрэнни сидела, прижав ладонь свободной руки к щеке, как человек, у которого невыносимо разболелся зуб.

– И еще одно. Последнее. Клянусь. Дело в том, что ты приехала домой и принялась возмущаться и издеваться над тупостью зрителей. «Животный смех», черт побери, раздающийся в пятом ряду. Все верно, верно – видит бог, от этого тошно становится. Я не отрицаю этого. Но ведь тебе до этого нет дела. Это не твое дело, Фрэнни. Единственная цель артиста – достижение совершенства в чем-то и *так, как он это понимает*, а не по чьей-то указке. Ты не имеешь права обращать внимание на подобные вещи, клянусь тебе. Во всяком случае, всерьез, понимаешь, что я хочу сказать?

Наступило молчание. Оба выдержали паузу без малейшего нетерпения или чувства неловкости. Можно было подумать, что у Фрэнни, которая все еще держала руку у щеки, по-прежнему сильно болит зуб, но выражение ее лица никак нельзя было назвать страдальческим.

Снова на том конце провода послышался голос.

– Помню, как я примерно в пятый раз шел выступать в «Умном ребенке». Я несколько раз дублировал Уолта, когда он там выступал – помнишь, когда он был в этом составе? В общем, как-то вечером, накануне передачи, я стал капризничать. Симор напомнил мне, чтобы я почистил ботинки, когда я уже выходил из дому с Уэйкером. Я взбеленился. Зрители в студии были идиоты, ведущий был идиот, заказчики были идиоты, и я сказал Симору, что черта с два я буду ради них наводить блеск на свои ботинки. Я сказал, что оттуда, где они сидят, моих ботинок *все равно* не видать. А он сказал, что их все равно надо почистить. Он сказал, чтобы я их почистил ради Толстой Тети. Я так и не понял, о чем он говорит, но у него было очень «симоровское» выражение на лице, так что я пошел и почистил ботинки. Он так и не сказал мне, кто такая эта Толстая Тетя, но с тех пор я чистил ботинки ради Толстой Тети каждый раз, перед каждой передачей, все годы, пока мы с тобой были дикторами, – помнишь? Думаю, что я поленился раза два, не больше. Потому что в моем воображении возник отчетливый, ужасно отчетливый образ Толстой Тети. Она у меня сидела целый день на крыльце, отмахиваясь от мух, и радио у нее орало с утра до ночи. Мне представлялось, что стоит адская жара, и, может, у нее рак, и ну, не знаю, что еще. Во всяком случае, мне было совершенно ясно, почему Симор хотел, чтобы я чистил свои ботинки перед выходом в эфир. В этом был *смысл*.

Фрэнни стояла возле кровати. Она перестала держаться за щеку и обеими руками держала трубку.

– Он и мне тоже это говорил, – сказала она в трубку. – Он мне один раз сказал, чтобы я постаралась быть позабавней ради Толстой Тети. – Она на минуту освободила одну руку и очень быстро коснулась ею своей макушки, но тут же снова взялась за трубку. – Я никогда не представляла ее на крыльце, но у нее были очень – понимаешь, – очень толстые ноги, и все в узловатых венах. У меня она сидела в жутком плетеном кресле. Но рак у нее *тоже* был, и радио орало целый день! И у моей все это было, точь-в-точь!

– Да. Да. Да. Ладно. А теперь я хочу тебе что-то сказать, дружище. Ты слушаешь?

Фрэнни кивнула, слушая с крайним нервным напряжением.

– Мне все равно, где играет актер. Может, в летнем театре, может, на радио, или на телевидении, или в театре на Бродвее, черт побери, перед самыми расфуфыренными, самыми откормленными, самыми загорелыми зрителями, каких только можно вообразить. Но я открою тебе страшную тайну. Ты меня слушаешь? *Все они, все до одного* – это Толстая Тетя, о которой говорил Симор. И твой профессор Таппер тоже, брат. И вся его чертова куча родственников. На всем белом свете нет ни одного человека, который не был бы Симоровой Толстой Тетей. Ты этого не знала? Ты не знала этой чертовой тайны? И разве ты не знаешь – слушай же, *слушай*, – не знаешь, кто эта Толстая Тетя на самом деле? Эх, брат. Эх, брат. Это же сам Христос. Сам Христос, дружище.

Было видно, что от радости Фрэнни только и может, что двумя руками держаться за трубку.

Прошло не меньше полминуты, и ни одно слово не нарушило молчания. Затем:

– Больше я говорить не могу, брат.

Было слышно, как трубку положили на рычаг.

Фрэнни тихонько ахнула, но не отняла трубку от уха. Разумеется, после отбоя послышался гудок. Очевидно, этот звук казался ей необыкновенно прекрасным, самым лучшим после первоначальной тишины. Но она, очевидно, знала и то, когда пора перестать его слушать, как будто сама мудрость мира во всем своем убожестве или величии теперь была в ее распоряжении. И, после того как она положила трубку, казалось, что она знает и то, что надо делать дальше. Она убрала все курительные принадлежности, откинула ситцевое покрывало с кровати, на которой сидела, сбросила тапочки и забралась под одеяло. Несколько минут, перед тем как заснуть глубоким, без сновидений, сном, она просто лежала очень тихо, глядя на потолок и улыбаясь.

Симор: Введение

Перевод: Р. Райт-Ковалева

Те, о ком я пишу, постоянно живут во мне, и этим своим присутствием непрестанно доказывают, что все, написанное о них до сих пор, звучит фальшиво. А звучит оно фальшиво оттого, что я думаю о них с неугасимой любовью (вот и эта фраза уже кажется мне фальшивой), но не всегда пишу достаточно умело, и это мое неумение часто мешает точно и выразительно дать характеристику действующих лиц, и оттого их образы тускнеют и тонут в моей любви к ним, а любовь эта настолько сильней моего таланта, что она как бы становится на защиту моих героев от моих неумелых стараний.

Выходит так, говоря фигурально, будто писатель нечаянно сделал какую-то опisku, а эта случайная описка вдруг сама поняла, что тут что-то не так. Но может быть, эта ошибка не случайно, а в каком-то высшем смысле вполне законно появилась в повествовании. И тогда такая случайная ошибка как бы начинает бунтовать против автора, она злится на него и кричит: «Не смей меня исправлять – хочу остаться в рукописи как свидетель того, какой ты никудышный писатель».

Откровенно говоря, все это мне кажется иногда довольно жалким самооправданием, но теперь, когда мне уже под сорок, я обращаюсь к единственному своему поверенному, последнему своему настоящему современнику, – к моему доброму, старому другу – обыкновенному рядовому читателю. Когда-то, – мне еще и двадцати не было, – один из самых интересных и наименее напыщенных редакторов, из тех, с кем я был лично знаком, сказал мне, что писатель должен очень трезво и уважительно относиться к мнению рядового читателя, хотя иногда взгляды этого человека и могут показаться автору странными и даже дикими – он считал, что со мной так и будет. Но спрашивается – как писатель может искать что-то ценное в мнении такого читателя, если он о нем никакого представления не имеет. Чаше бывает наоборот – писателя хорошо знают, но разве бывало так, что его спрашивают, каким он представляет себе своего читателя? Не стоит слишком размазывать эту тему, скажу коротко, что я сам, к счастью, уже много лет тому назад выяснил для себя всё, что мне надо знать о *своем* читателе, то есть, прошу прощения – ЛИЧНО о Вас.

Боюсь, что Вы станете всячески открещиваться, но уж тут позвольте мне Вам не поверить.

Итак, вы – заядлый орнитолог. Вы похожи на героя одного рассказа Джона Бьюкена, под названием «Скуул Кэрри», – этот рассказик мне дал прочитать Арнольд Л. Шугарман, когда моими литературными занятиями почти никто как следует не руководил. А стали Вы изучать птиц главным образом потому, что они окрыляли вашу фантазию, они восхищали вас тем, что «из всех живых существ эти крохотные создания с температурой тела 50,8 градуса по Цельсию являлись наиболее полным воплощением чистого Духа». Наверно, и вам, как герою бьюкеновского рассказа, приходило в голову много занятных мыслей: не сомневаюсь, что вы вспоминали, что, например, королек, чей желудочек меньше боба, перелетает Северное море, а куличок-поморник, который выводит птенцов так далеко на севере, что только трем путешественникам удалось видеть его гнездовье, летает на отдых в Тасманию! Разумеется, я не решаюсь рассчитывать на то, что именно вы, мой читатель, и окажетесь вдруг одним из тех троих, кто видел это гнездовье, но я определенно чувствую, что я своего читателя, то есть Вас, знаю настолько хорошо, что могу легко угадать, как выразить свое хорошее отношение к Вам, чем Вас порадовать. Итак, дружище, пока мы с вами остались наедине, так сказать, *entre-nous*, и не связались со всякими этими лихачами, а их везде хватает, – тут и космочудики средних лет, которым лишь бы запульнуть нас на Луну, и бродяжки-дервиши, якобы помешанные на Дхарме, и фабриканты сигареток с «начинкой», словом, всякие битники, немытики и нытики, «посвященные» служители всяких культов, все эти знатоки, которые лучше всех понимают, что нам можно и что нельзя делать в нашей жалкой ничтожной сексуальной жизни, – значит, пока мы в стороне от этих бородатых, спесивых малограмотных юнцов, самоучек-гитаристов, дзенубийц и всех этих эстетствующих пижонов, которые смеют с высоты своего тупоносого величия взирать на чудесную нашу планету (только, пожалуйста, не затыкайте мне рот!) – на планету, где все же побывали и Христос, и Килрой, и Шекспир, – так вот, прежде чем нечаянно попасть в их компанию, позвольте мне, старый мой

друг, сказать вам, вернее, даже *возвестить*: я прошу Вас принять от меня в дар сей скромный букет первоцветов-скобок: (((()))).

При этом речь идет не о каких-то цветистых украшениях текста, а скорее о том, чтобы эти мои кривульки помогли вам понять: насколько я хром и косолап душой и телом, когда пишу эти строки. Однако с профессиональной точки зрения – а я только так люблю разговаривать (кстати, не обижайтесь, но я знаю девять языков, из них четыре мертвых, и постоянно разговариваю на них сам с собой), итак, повторяю: с профессиональной точки зрения я чувствую себя сейчас совершенно счастливым человеком. Раньше со мной так не бывало. Впрочем, нет, было, когда, лет четырнадцати, я написал рассказ, в котором все персонажи, как студенты-дуэлянты Гейдельбергского университета, были изукрашены шрамами: и герой, и злодей, и героиня, и ее старая нянька, и все лошади, и все собаки. *Тогда я был в меру* счастлив, но не в таком восторженном состоянии, как сейчас. Кстати сказать: я не хуже других знаю, что писатель в таком экстатически-счастливом настроении способен всю душу вымотать своим близким. Конечно, чересчур вдохновенные поэты – весьма «тяжелый случай», но и прозаик в припадке такого экстаза тоже не слишком подходящий человек для приличного общества – «божественный» у него припадок экстаза или нет, все равно: припадочный он и есть припадочный. И хотя я считаю, что в таком счастливом состоянии прозаик может написать много прекрасных страниц – говоря откровенно, хочется верить, – самых лучших своих страниц, но, как всем понятно, и вполне очевидно, – он, как я подозреваю, потеряет всякую меру, сдержанность, немногословность, словно разучившись писать короткими фразами. Он уже не может быть объективным, разве только на спаде этой волны. Его так захлестывает огромный всепоглощающий поток радости, что он невольно лишает себя как писателя скромного, но всегда восхитительного ощущения: будто с написанной им страницы на читателя смотрит человек, безмятежно сидящий на заборе. Но хуже всего то, что он никак не может пойти навстречу самому насущному требованию читателя: чтобы автор, черт его дери, скорее досказал толком всю эту историю." (Вот почему я и предложил несколько выше столь многозначительный набор скобок. Знаю, что многие вполне интеллигентные люди таких комментариев в скобках не выносят, потому что они только тормозят изложение. Об этом нам много пишут и чаще всего, разумеется, разные диссертанты, с явным и довольно пошлым желанием – уморить нас своей досужей писаниной. А мы все это читаем, и даже с доверием: все равно – хорошо пишут или плохо – мы любой английский текст прочитываем внимательно, словно эти слова изрекает сам Просперо.) Кстати, хочу предупредить читателя, что я не только буду отвлекаться от основной темы (я даже не уверен, что не сделаю две-три сноски), но я твердо решил, что непременно сяду верхом на своего читателя, чтобы направить его в сторону от уже накатанной проезжей дороги сюжета, если где-то там, в стороне, что-то мне покажется увлекательным или занятным. А уж тут, спаси Господи мою американскую шкуру, мне дела нет – быстро или медленно мы поедem дальше. Однако есть читатели, чье внимание может всерьез привлечь только самое сдержанное, классически-строгое и, по возможности, весьма искусное повествование, а потому я им честно говорю – насколько автор вообще может честно говорить об этом: уж лучше сразу бросьте читать мою книгу, пока это еще легко и просто. Вероятно, по ходу действия я не раз буду указывать читателю запасной выход, но едва ли стану притворяться, что сделаю это с легким сердцем.

Начну, пожалуй, с довольно пространного разъяснения двух цитат в самом начале этого повествования. «Те, о ком я пишу, постоянно присутствуют...» – взята у Кафки. Вторая – «...Выходит так, говоря фигурально...» – взята у Кьеркегора (и мне трудно удержаться, чтобы не потирать злорадно руки при мысли, что именно на этой цитате из Кьеркегора могут попасть впросак кое-какие экзистенциалисты и чересчур разрекламированные французские «мандарины» с этой ихней – ну... короче говоря, они несколько удивятся)¹⁷.

¹⁷ Быть может, этот легкий укол более чем неуместен, но тот факт, что великий Кьеркегор НИКОГДА не был кьеркегорианцем, а тем более экзистенциалистом, чрезвычайно радует сердце некоего провинциального интеллигента и еще больше укрепляет в нем веру во вселенскую поэтическую справедливость, а может быть даже во вселенского Санта-Клауса.

Я вовсе не считаю, что непременно надо искать уважительный повод, для того, чтобы процитировать своего любимого автора, но, честное слово, это всегда приятно.

Мне кажется, что в данном случае эти две цитаты, особенно поставленные рядом, поразительно характерны не только для Кафки и Кьеркегора, но и для всех тех четырех давно усопших людей, четырех по-своему знаменитых Страдальцев, к тому же не приспособленных к жизни холостяков (из всех четверых одного только Ван Гога я не потревожу и не выведу на страницах этой книги), а к остальным я обращаюсь чаще всего – иногда в минуты полного отчаяния, – когда мне нужны вполне достоверные сведения о том, что такое современное искусство. Словом, я привел эти две цитаты просто для того, чтобы отчетливо показать, как я отношусь к тому множеству фактов, которые я надеюсь здесь собрать, – и, скажу откровенно, автору обычно приходится заранее неустанно растолковывать это свое отношение. Но тут меня отчасти утешает мысль, даже мечта, о том, что эти две короткие цитаты вполне могли бы послужить отправным пунктом для работ некой новой породы литературных критиков, этих трудяг (можно даже сказать *воинов*), – тех, что, даже не надеясь на славу, тратят долгие часы, изучая Искусство и Литературу в наших переполненных нео-фрейдистских клиниках. Особенно это относится к совсем еще юным студентам-практикантам и малоопытным клиницистам, которые сами безусловно обладают железным здоровьем в душевном отношении, а также (в чем я не сомневаюсь) никакого врожденного болезненного *attrait*¹⁸ к красоте не имеют, однако собираются со временем стать специалистами в области патологической эстетики. (Признаюсь, что к этому предмету у меня сложилось вполне твердокаменное отношение с тех пор, как в возрасте одиннадцати лет я слушал, как настоящего Поэта и Страдальца, которого я любил больше всех на свете – тогда он еще ходил в коротких штанишках, – целых шесть часов и сорок пять минут обследовали уважаемые доктора, специалисты-фрейдисты. Конечно, на мое свидетельство положиться нельзя, но мне казалось, что они вот-вот начнут брать у него пункцию из мозговой ткани и что только из-за позднего времени – было уже два часа ночи – они воздержались от этой пробы. Может, это звучит слишком сурово, но я никак не придираюсь. Я и сам понимаю, что иду сейчас чуть ли не по проволоке, во всяком случае, по жердочке, но сойти сию минуту не собираюсь; не год и не два копились во мне эти чувства, пора дать им выход.) Нет спору, о талантливых, выдающихся художниках ходят немыслимые толки – я говорю тут исключительно о живописцах и стихотворцах, тех, кого можно назвать настоящими *Dichter*¹⁹. Из всех этих толков для меня всего забавней всеобщее убеждение, что художник никогда, даже в самые темные времена до психоаналитического века, не питал глубокого уважения к своим критикам-профессионалам и со своим нездоровым представлением о нашем обществе валил их в одну кучу с обыкновенными издателями и торговцами и вообще со всякими, быть может завидно богатыми, спекулянтами от искусства, прихлебателями в стане художников, людьми, которые, как он считает, безусловно предпочли бы более чистое ремесло, попадись оно им в руки. Но чаще всего, особенно в наше время, о чрезвычайно плодовитом – хотя и страдающем поэте или художнике – существует твердое убеждение, что он хотя и существо «высшей породы», но должен быть безоговорочно причислен к «классическим» невротикам, что он – человек ненормальный, который по-настоящему никогда не желает выйти из своего ненормального состояния; словом, проще говоря, он – Страдалец; с ним даже довольно часто случаются припадки, когда он вопит от боли, и хотя он упрямо по-детски отрицает это, но чувствуется, что в такие минуты он готов прозакладывать и душу, и все свое искусство, лишь бы испытать то, что у людей считается нормой, здоровьем. И все же продолжают ходить слухи, что, если кто-то, даже человек, искренне любящий, силком ворвется в его неприятное убежище и станет упорно допрашивать – где же у него болит, то он либо замкнется в себе, либо не захочет, не сумеет с клинической точностью объяснить, что его мучает; а по утрам, когда даже великие поэты и художники обычно выглядят куда бодрее, у этого человека вид такой, будто он нарочно решил культивировать в себе свою болезнь, – вероятно, оттого, что он при свете дня, да еще,

¹⁸ Влечения (фр.).

¹⁹ Поэтами (нем.).

возможно, дня рабочего, вдруг вспомнил, что все люди, включая здоровяков, постепенно перемрут, да еще и не всегда достойно, тогда как его, этого счастливчика, доконает «высокая болезнь» – лучший спутник его жизни, зови ее хворью или как-то иначе. В общем, хотя от меня, человека, семья которого, как я уже упоминал, потеряла именно такого художника, эти слова могут быть восприняты как предательство, но скажу, что никак нельзя безоговорочно отрицать, что эти слухи, вернее сплетни, и особенно все выводы, безосновательны и не подкреплены достаточно убедительными фактами. Пока был жив мой выдающийся родич, я следил за ним – не в переносном, а, как мне кажется, в самом буквальном смысле, – словно ястреб. С логической точки зрения он был нездоров, он *действительно* по ночам или поздним вечером, когда ему становилось плохо, стонал от боли, звал на помощь, а когда незамедлительно подоспевала помощь, он *отказывался* просто и понятно объяснить – что именно у него болит. Но даже тут я решительно расхожусь с мнением признанных авторитетов в этой области, с учеными, с биографами и особенно с правящей в наши дни интеллектуальной аристократией, выпестованной в какой-нибудь из привилегированных психоаналитических школ; и особенно резко я с ними расхожусь вот в чем: не умеют они как следует слушать, когда кто-нибудь кричит от боли. Разве они на это способны? Это же глухари высшего класса. А разве с *таким* слухом, с *такими* ушами, можно понять по крику, по звуку – откуда эта боль, где ее истоки? При таком жалком слуховом аппарате, по-моему, можно только уловить и проследить какие-то слабые, еле слышные обертоны, – даже не контрапункт, – отзвуки трудного детства или «неупорядоченного либидо». Но откуда рвется эта лавина боли, ведь ею впору заполнить целую карету «скорой помощи», где ее истоки? Откуда не может не родиться эта боль? Разве истинный поэт или художник не *ясновидящий*? Разве он не единственный ясновидящий на нашей Земле? Конечно же, нельзя считать ясновидцем ни ученого, ни тем более психиатра. (Кстати, был среди психоаналитиков один-единственный великий поэт – сам Фрейд, правда, и он был несколько туговат на ухо, но кто из умных людей станет оспаривать, что в нем жил эпический поэт!) Простите меня, пожалуйста, я скоро кончу. Какая же часть человеческого организма у ясновидящего нужней и ранимей всего? Конечно, *глаза*. Прошу снисхождения, мой читатель (если Вы еще тут), посмотрите еще раз обе цитаты – из Кафки и Кьеркегора, с которых я начал. Теперь вам ясно? Чувствуете, чувствуете, что крик идет из *глаз*? И как бы ни было противоречиво заключение судебного эксперта – пусть он объявит причиной смерти Туберкулез, или Одиночество, или Самоубийство, неужто Вам не понятно, отчего умирает истинный поэт-ясновидец?

И я заявляю (надеюсь, что все следующие страницы этой повести вопреки всему докажут мою правоту), – прав я или неправ, что настоящего поэта-провидца, божественного безумца, который может творить и творит красоту, ослепляют насмерть его собственные сомнения, слепящие образы и краски его собственной священной человеческой совести. Вот я и высказал свое «кредо». Я усаживаюсь поудобнее. Я вздыхаю, говоря откровенно, с облегчением. Сейчас закурю и перейду с божьей помощью к другой теме.

Но сначала – кратко, если удастся, – скажу о второй половине названия: «Введение».

«Введение» похоже на приглашение «Добро пожаловать!» в дом. Во всяком случае, в те светлые минуты, когда я смогу заставить себя сесть и по возможности успокоиться, главным героем моего повествования станет мой покойный старший брат, Симор Гласс, который (тут я предпочитаю ограничиться очень кратким псевдонекрологом) в 1948 году покончил с собой на тридцать втором году жизни, отдыхая с женой во Флориде. При жизни он значил очень много для очень многих людей, а для своих многочисленных братьев и сестер – семья же у нас немалая – был, в сущности, всем на свете. Безусловно он был для нас всем – и нашим синим полосатым носорогом, и двояковыпуклым зажигательным стеклом – словом, всем, что нас окружало. Он был и нашим гениальным советчиком, нашей портативной совестью, нашим штурманом, нашим единственным и непревзойденным поэтом, а так как молчаливостью он никогда не отличался, и более того, целых семь лет, с самого детства, участвовал в радиопрограмме «Умный ребенок», которая транслировалась по всей Америке, и о чем только он в ней не распространялся. Поэтому он прослыл среди нас «мистиком», и «оригиналом», и «эксцентриком». И так как я решил сразу взять быка за рога, я с самого начала собираюсь провозгласить – если только можно одновре-

менно и орать, и провозглашать, — что именно он — человек, которого я ближе всего знал, с кем неизменно дружил, чаще всего подходил под классическое определение «МУКТА», как я его понимаю, то есть был подлинным провидцем, богознатцем. Во всяком случае, насколько я понимаю, его нельзя описать в традиционном лаконичном стиле, и мне трудно представить себе, что кто-нибудь — и меньше всего я сам — мог бы рассказать о нем точно и определенно, в один присест или в несколько приемов, будь то за месяц или за год. Первоначально я хотел на этих страницах написать короткий рассказ о Симоре и назвать его «Симор. Часть ПЕРВАЯ», нарочно выделив слово «ПЕРВАЯ» крупными буквами и тем самым поддерживая больше во мне самом, Бадди Глассе, чем в читателе, уверенность, что за «первым» последуют другие (второй, третий, а может быть, и четвертый) рассказы о нем же. Эти планы давно не существуют. Но если они еще живы, а я подозреваю, что при создавшемся положении это вполне вероятно, то прячутся они где-то в подполье, быть может, выжидая, чтобы я, когда придет охота писать, трижды постучался к ним. В данном же случае я отнюдь не являюсь просто автором небольшого рассказика о моем брате. Скорее всего, я похож на *запасник*, где полным-полно каких-то пристрастных, еще не распутанных сведений о нем. Думаю, что я главным образом был и остаюсь до сих пор просто рассказчиком, но рассказчиком целеустремленным, кровно заинтересованным. Мне хочется всех перезнакомить, хочется описывать, дарить сувениры, амулеты, хочется открыть бумажник и раздавать фотографии, словом, хочется поступать, как бог на душу положит. Разве тут осмелишься даже близко подойти к чему-то законченному, вроде короткой новеллы? Да в таком материале художники-одиночки, толстячки вроде меня, тонут с головой.

А ведь мне надо рассказать вам массу вещей, и вещей не всегда приятных. Например, я уже сказал, вернее разгласил, очень многое про моего брата. И вы, безусловно, не могли этого не заметить. Разумеется, вы также заметили — и от *меня* это тоже не ускользнуло, — что все сказанное мной про Симора (а это относится вообще к людям одной с ним крови), было чистейшим панегириком. Тут мне приходится остановиться. Хотя ясно, что я «пришел не хоронить, пришел отрыть»²⁰, а вернее всего, «хвалить», я тем не менее подозреваю, что тут каким-то образом поставлена на карту честь всех спокойных, бесстрастных рассказчиков. Неужто у Симора *совсем* не было серьезных недостатков, пороков, никаких подлых поступков, о которых можно упомянуть хотя бы мимоходом? Да кто же он был, в конце концов? *Святой*, что ли?

Слава Богу, не моя забота отвечать на этот вопрос. (Уф, какое счастье!) Позвольте мне переменить тему и без всяких околичностей доложить вам, что в характере Симора было столько разных, противоречивых сторон, что их труднее перечислить, чем названия всех супов фирмы Белл. И в различных обстоятельствах, при различной чувствительности и обидчивости младших членов нашего семейства, это их всех доводило до белого каления. Прежде всего, существует одна довольно жуткая черта, свойственная всем богоискателям, — они иногда ищут Творца в самых немыслимых и неподходящих местах: например, в радиорекламе, в газетах, в испорченном счетчике такси — словом, буквально где попало, но как будто всегда с полнейшим успехом. Кстати, мой брат, будучи уже взрослым, имел неприятнейшую привычку — совать указательный палец в переполненную пепельницу и раздвигать окурки по краям, ухмыляясь при этом во весь рот, словно ожидая, что вдруг, в пустоте посреди пепельницы, увидит Младенца-Христа, безмятежно спящего меж окурков, причем ни следа разочарования на физиономии Симора я никогда не видал. (Кстати, есть у человека верующего одна примета — тут не имеет значения: принадлежит он к какой-либо определенной Церкви или нет. Кстати, сюда я почтительно причисляю всех верующих христиан, которые подходят под определение великого Вивекананды: «Узри Христа, и ты христианин. Все остальное — суесловие»). Итак, примета, свойственная таким людям, заключается в том, что они часто ведут себя как юродивые, почти как идиоты. А семья человека поистине выдающегося часто проходит великое испытание страхом, боясь, что он будет вести себя не так, как положено такому человеку. Я уже почти покончил с перечислением всех странностей Симора, но не могу не упомянуть еще об одной его черте, которая, по-моему, изводила людей больше всего. Речь идет о его манере говорить, вернее — о всяческих странностях в его

²⁰ Тут и дальше перифраза из Шекспира: монолог Брута из «Юлия Цезаря». (Примеч. перев.)

разговоре. Иногда он был немногословен, как привратник траппистского монастыря, – и это могло тянуться целыми днями, а иногда и неделями, – а иногда он говорил не умолкая. Когда его заводили (а надо для ясности сказать, что его вечно кто-нибудь заводил и тут же, конечно, подсаживался поближе, чтобы выкачать из него как можно больше мыслей), так вот, стоило его завести, и он мог говорить часами, иногда не обращая ни малейшего внимания, сколько человек – один, два или десять – с ним в комнате. Он был великий оратор, неумолкаемый, вдохновенный, но я утверждаю, что самый вдохновенный оратор, если он говорит не умолкая, может, мягко говоря, осточертеть. Кстати должен добавить, и не из противного «благородного» желания вести с моим невидимым читателем честную игру, а скорее потому – и это куда хуже, – что мой безудержный болтун – может выдержать любые нападки. От меня, во всяком случае. Я нахожусь в исключительном положении: вот обозвал брата болтуном – слово довольно гадкое, – а сам преспокойно развалился в кресле и со стороны, как игрок, у которого в рукаве полным-полно козырей, без труда припоминаю тысячи смягчающих обстоятельств (хотя, пожалуй, слово «смягчающие» тут не совсем уместно). Могу коротко суммировать это так: к тому времени, как Симор вырос – лет в шестнадцать-семнадцать, – он не только научился следить за своей речью, избегать тех бесчисленных и далеко не изысканных, типично нью-йоркских словечек и выражений, но уже овладел своим метким и сверхточным поэтическим языком. И его безостановочные разглагольствования, его монологи, чуть ли не речи трибуна нравились, во всяком случае большинству из нас, с первого до последнего слова, как, скажем, бетховенские произведения, написанные после того, когда слух перестал ему мешать, – тут мне приходят на память квартеты (си-бемоль и до-диез), хотя это звучит немного претенциозно. Но нас в семье было семеро. И надо признаться, что косноязычием никто из нас никогда не отличался. А это что-нибудь да значит, когда среди шести прирожденных болтунов и краснобаев живет непобедимый чемпион ораторского искусства. Правда, Симор никогда этого титула не добивался. Наоборот, он страстно хотел, чтобы кто-нибудь его переспорил или переговорил. Мелочь, конечно, и сам он этого не замечал – слепые пятна и у него были, как у всех, – но нас это иногда тревожило. Но факт остается фактом: титул чемпиона оставался за ним и хотя, по-моему, он дорого бы дал, чтобы от него отказаться (эта тема до чрезвычайности важна, но я, конечно, заняться ею в ближайшие годы не смогу), – словом, он так и не придумал, как бы отречься от этого звания – вполне вежливо и пристойно.

Тут мне кажется вполне уместно, без всякого заигрывания с читателем, упомянуть, что я уже писал о своем брате. Откровенно говоря, если меня как следует прощупать, то не так трудно заставить меня сознаться, что почти не было случая, когда бы я о нем не писал, и если, скажем, мне пришлось бы завтра под дулом пистолета писать очерк о динозавре, я наверняка придал бы этому симпатичному великану какие-то малюсенькие черточки, напоминающие Симора, – например, особенно обаятельную манеру откусывать цветочек цикуты или помахивать тридцатифутовым хвостиком. Некоторые знакомые – не из близких друзей – спрашивали меня: не был ли Симор прообразом героя той единственной моей повести, которая была напечатана? Говоря точнее, эти читатели и не спрашивали меня, они просто мне об этом заявляли. Для меня оспаривать их слова всегда мучение, но должен сказать, что люди, знавшие моего брата, никогда таких глупостей не говорили и не спрашивали, за что я им очень благодарен, а отчасти и несколько удивлен, так как почти все мои герои разговаривают, и весьма бегло, на типичном манхэттенском жаргоне и схожи в том, что летят туда, куда безумцы, черт их дери, и вступать боятся²¹, и всех их преследует некий ОБРАЗ, который я, грубо говоря, назову просто Старцем на Горе. Но я могу и должен отметить, что написал и опубликовал два рассказа, можно сказать, непосредственно касавшиеся именно Симора. Последний из них, напечатанный в 1955 году, был подробнейшим отчетом о его свадьбе в 1942 году. Детали были сервированы читателю в самом исчерпывающем виде, разве что на желе из замороженных фруктов не были сделаны, в виде сувениров, отпечатки ступни каждого гостя ему на память. Но лично Симор – так сказать, главное блюдо, – в сущности, подан не был. С другой стороны, в куда более коротком рассказе,

²¹ Перифраза известного изречения «Мудрец боится и вступить туда, куда летит безумец без оглядки». (Примеч. перев.)

напечатанном еще раньше, в конце сороковых годов, он не только появлялся во плоти, но ходил, разговаривал, купался в море и в последнем абзаце пустил себе пулю в лоб. Однако некоторые члены моей семьи, хотя и разбросанные по всему свету, регулярно выискивают в моей прозе всяких мелких блох и очень деликатно указали мне (даже с излишней деликатностью, поскольку обычно они громят меня как начетчики), что тот молодой человек, «Симор», который ходил и разговаривал, не говоря уж о том, что он и стрелялся, в этом раннем моем рассказике никакой не Симор, но, как ни странно, поразительно походит на – алле-гоп! – на меня самого. Пожалуй, это справедливо, во всяком случае, настолько, чтобы я как писатель почувствовал и принял этот упрек. И хотя *полного* оправдания такому «faux pas»²² найти нельзя, все же я позволю себе, заметить, что именно этот рассказ был написан всего через два-три месяца после смерти Симора, и вскоре после того, как я сам подобно тому «Симору» в рассказе и Симору в жизни, вернулся с европейского театра военных действий. И писал я в то время на очень разболтанной, чтобы не сказать свихнувшейся, немецкой трофейной машинке.

О, эта радость – крепкое вино! Как оно тебя раскрепощает. Я чувствую себя настолько *свободным*, что уже могу рассказать Вам, мой читатель, именно то, что Вы так жаждете услышать. Хочу сказать, если вы, в чем я уверен, больше всего на свете любите эти крохотные существа, воплощение чистого Духа, чья нормальная температура тела – 50,8° по Цельсию, то, естественно, и среди людей вам больше всех нравится именно такой человек – богознаец или богоборец (тут никаких полумер для вас нет), святой или вероотступник, высоконравственный или абсолютно аморальный, но обязательно такой человек, который умеет писать стихи, и стихи *настоящие*. Среди людей он – куличок-поморник, и я спешу рассказать вам то, что я знаю о его перелетах, о температуре его тела, о его невероятном, фантастическом сердце.

С начала 1948 года я сижу (и мое семейство считает, что сижу буквально) на отрывном блокноте, где поселились сто восемьдесят четыре стихотворения, написанных моим братом за последние три года его жизни как в армии, так и вне ее, главным образом именно в армии, в самой ее гуще. Я собираюсь в скором времени – надеюсь, это дело нескольких дней или недель – оторвать от себя около ста пятидесяти из них и отдать первому охочему до стихов издателю, у которого есть хорошо отглаженный костюм и сравнительно чистая пара перчаток, пусть унесет их от меня в свою темную типографию, где, по всей вероятности, их втиснут в двухцветную обложку и на обороте поместят несколько до странности неуважительных отзывов, выпрошенных у каких-нибудь поэтов и писателей «с именем», которые не стесняются публично высказаться о своих братьях по перу (обычно приберегая свои двусмысленные, более лестные, половинчатые похвалы для своих приятелей или для скрытой бездари, для иностранцев и всяких юродствующих чудил, а также для представителей смежных профессий), а потом стихи передадут на отзыв в воскресные литературные приложения, где, ежели найдется место и ежели критическая статья о новой, полной, *исчерпывающей* биографии Гровера Кливленда окажется не слишком длинной, эти стихи будут мимоходом, в двух словах представлены любителям поэзии кем-нибудь из небольшой группки штатных, умеренно-оплачиваемых буквоедов или подсобников со стороны, которым можно поручить отзыв о новой книге стихов не потому, что они сумеют написать его толково или душевно, а потому, что напишут как можно короче и выразительнее других. (Пожалуй, не стоит так презрительно о них отзываться.) Но уж если придется, я попытаюсь все объяснить четко и ясно. И вот, после того как я просидел на этих стихах больше десяти лет, мне показалось, что было бы неплохо, во всяком случае вполне нормально, без всякой задней мысли обосновать две главные, как мне кажется, причины, побудившие меня встать и сойти с этого блокнота. И я предпочитаю обе эти причины сжать в один абзац, упаковать их, так сказать, в один вещмешок отчасти потому, что не хочу их разрознять, а отчасти потому, что я вдруг почувствовал: они мне больше в дороге не понадобятся.

Итак, первая причина – нажим со стороны всей семьи. Вообще-то наша семья – обычное, может быть, вы скажете, даже слишком обычное явление, а мне и слушать про это неохота, но факт тот, что у меня есть четверо живых, шибко грамотных и весьма бойких на язык младших

²² Ложный шаг (фр.).

братьев и сестер, полуеврейских, полуирландских кровей, да еще, наверно, и с примесью каких-то черт характера, унаследованных от Минотавра, — двое братьев, из которых старший, Уэйкер, — бывший странствующий картезианский проповедник и журналист, ныне ушедший в монастырь, и второй, Зуи, — актер по призванию и убеждениям, тоже человек страстно увлеченный, но ни к какой секте не принадлежащий — из них старшему тридцать шесть, а младшему, соответственно, двадцать девять, — и две сестры, одна — подающая надежды молодая актриса, Фрэнни, другая, Бу-Бу, — бойкая, хорошо устроенная мать семейства — ей тридцать восемь, младшей — двадцать пять лет. С 1949 года ко мне то и дело приходили письма — то из духовной семинарии, то из пансиона, то из родильного отделения женской клиники или библиотеки на пароходе «Куин Элизабет», на котором плыли в Европу студенты по обмену, словом, — письма, написанные в перерывах между экзаменами, генеральными репетициями, утренними спектаклями и ночными кормлениями младенцев, и все письма моих достойных корреспондентов содержали довольно расплывчатые, но весьма мрачные ультиматумы, грозя мне всяческими карами, если я как можно скорее не сделаю наконец что-нибудь со стихами Симора. Необходимо тут же добавить, что я не только пишу, но и состою лектором по английской литературе, на половинном окладе, в женском колледже, на севере штата Нью-Йорк, неподалеку от канадской границы. Живу я один (и кошки, прошу запомнить, у меня тоже нет) в очень скромном, чтобы не сказать ветхом, домике, в глухом лесу, да еще на склоне горы, куда довольно трудно добираться. Не считая учащихся, преподавателей и пожилых официанток, я во время рабочей недели, да и всего учебного года, почти ни с кем не встречаюсь. Короче говоря, я принадлежу к тому разряду литературных затворников, которых простыми письмами можно запросто напугать и даже заставить что-то сделать. Но у каждого человека есть свой предел, и я уже не могу без дрожи в коленках отпирать свой почтовый ящик, боясь найти среди каталогов сельскохозяйственного инвентаря и повесток из банка многословную, пространную, угрожающую открытку от кого-нибудь из моих братьев или сестриц, причем не мешает добавить, что двое из них пишут шариковыми ручками.

Второй повод, который заставляет меня наконец отделаться от стихов Симора, то есть сдать их в печать, честно говоря, относится скорее не к эмоциональным, а к физическим явлениям. (Распускаю хвост, как павлин, потому что эта тема ведет меня прямо в дебри риторики.) Воздействие радиоактивных частиц на человеческий организм — излюбленная тема 1959 года, для закоренелых любителей поэзии далеко не новость. В умеренных дозах первоклассные стихи являются превосходным и обычно быстродействующим средством термотерапии. Однажды в армии, когда я больше трех месяцев болел, как тогда называли, амбулаторным плевритом, я впервые почувствовал облегчение, когда положил в нагрудный карман совершенно безобидное с виду лирическое стихотворение Блейка и день-два носил его как компресс. Конечно, всякие злоупотребления такими контактами рискованны и просто недопустимы, причем опасность продолжительного соприкосновения с такой поэзией, которая явно превосходит даже то, что мы называем первоклассными стихами, просто чудовищна. Во всяком случае, я с облегчением, хотя бы на время, вытащу из-под себя блокнот со стихами моего брата. Чувствую, что у меня обожжен, хотя и не сильно, довольно большой участок кожи. И причина мне ясна: еще начиная с отрочества и до конца своей взрослой жизни, Симор неудержимо увлекся сначала китайской, а потом и японской поэзией, и к тому же так, как не увлекался никакой другой поэзией на свете²³.

²³ Так как я пишу что-то вроде отчета, то приходится в данном месте хотя бы торопливо пробормотать, что он читал и китайцев, и японцев в оригинале. В другой раз, и может быть, подробнее и скучнее, я расскажу об одной странной, врожденной способности, характерной для всех семи детей в нашем семействе, выраженной у троих из нас столь же отчетливо, как, скажем, небольшая хромота, — это способность с необыкновенной легкостью усваивать иностранные языки. Впрочем, это примечание относится главным образом к молодым читателям. И если это не помешает делу и я случайно узнаю, что пробудил в некоторых юных читателях интерес к японской и китайской поэзии, я буду очень рад. Во всяком случае, очень прошу молодых читателей запомнить, что много первоклассных китайских стихотворений уже переведено на английский язык очень верно и вдохновенно такими выдающимися поэтами, как Уиттер Биннер и Лайонел Джайлс, — их имена приходят на память прежде всего. Лучшие же короткие японские стихи — главным образом хокку, но часто и сэнрю — с особым удовольствием читаешь в переводе Р.-Г. Блайтса. Иногда переводы Блайтса таят в себе некую опасность, что вполне естественно, так как он и сам — высокая поэма, но и это опасность возвышенная, а кто же ищет в поэзии безопасность! (Повторяю: эти небольшие, довольно педантические замечания предназначены главным образом для молодых — тех, кто пишет письма писателям

Конечно, я никоим образом не могу сразу определить – знаком или незнаком мой дорогой многострадальный читатель с китайской и японской поэзией. Но, принимая во внимание, что даже *сжатое* рассуждение об этом предмете может пролить некоторый свет на характер моего брата, я полагаю, что нечего мне тут себя окорачивать, обходить эту тему. Я считаю, что лучшие стихи классических китайских и японских поэтов – это вполне понятные афоризмы, и допущенный к ним слушатель почувствует радость, откровение, вырастет духовно и даже как бы физически. Стихи эти почти всегда особенно приятны на слух, но скажу сразу: если китайский или японский поэт знает точно, что такое наилучшая айва, или наилучший краб, или наилучший укус комара на наилучшей руке, то на Таинственном Востоке все равно скажут, что у него «кишка тонка». И как бы эта поэтическая «кишка» ни была интеллектуально семантически изысканна, как бы искусно и обаятельно он на ней ни тренькал, все равно Таинственный Восток никогда не будет всерьез считать его великим поэтом. Чувствую, что мое вдохновенное настроение, которое я точно и неоднократно называл «счастливым», грозит превратиться в какой-то дурацкий монолог все мое сочинение. Все же, кажется, и у меня не хватит нахальства определить: почему китайская и японская поэзия – такое чудо, такая радость? И все-таки (с кем это не бывает?) какие-то соображения мне приходят на ум. Правда, я не воображаю, что именно это нужное, новое, но все-таки жаль просто взять да и выбросить эту мысль. Когда-то, давным-давно, – Симору было восемь, мне – шесть, – наши родители устроили прием человек на шестьдесят в своей нью-йоркской квартирке в старом отеле «Аламак», где мы занимали три с половиной комнаты. Отец и мать тогда уходили со сцены, и прощание было трогательным и торжественным. Часов в одиннадцать нам с Симором разрешили встать и выйти к гостям, поглядеть, что делается. Но мы не только глядели. По просьбе гостей мы очень охотно стали танцевать и петь – сначала соло, потом дуэтом, как часто делали все наши ребята. Но по большей части мы просто сидели и слушали. Часа в два ночи Симор попросил Бесси – нашу маму – позволить ему разнести всем уходящим гостям пальто, а их вещи были развешаны, разложены, разбросаны по всей маленькой квартирке, даже навалены в ногах кровати нашей спящей сестренки. Мы с Симором хорошо знали с десятков гостей, еще с десятков иногда видели издали или слышали о них, но с остальными были совсем незнакомы или почти с ними не встречались. Добавлю, что мы уже легли, когда гости собирались. Но оттого, что Симор часа три пробыл в их обществе, смотрел на них, улыбался им, оттого, что он, по-моему, их любил, он принес, ничего не спрашивая, почти всем гостям именно их собственные пальто, а мужчинам – даже их шляпы и ни разу не ошибся. (С дамскими шляпами ему пришлось повозиться.)

Разумеется, я вовсе не хочу сказать, что такое достижение характерно для китайских или японских поэтов, и, уж конечно, не стану утверждать, что именно эта черта делает поэта поэтом. Но все же я полагаю, что если китайский или японский стихотворец не может узнать, чье это пальто, с первого взгляда, то вряд ли его поэзия когда-нибудь достигнет истинной зрелости. И я считаю, что истинный поэт уже должен полностью овладеть этим мастерством не позже, чем в восьмилетнем возрасте.

(Нет, нет, ни за что не замолчу. Мне кажется, что в моем теперешнем состоянии я не только могу указать место моего брата среди поэтов: чувствую, что я за две-три минутки отвинчиваю все детонаторы от всех бомб в этом треклятом мире, – очень скромный, чисто временный акт вежливости по отношению к обществу, зато вклад лично мой.) Считается, что китайские и японские поэты всему предпочитают простые темы, но я буду решительно чувствовать себя глупей, чем всегда, если не скажу, что для меня слово «простой» хуже всякого яда, во всяком случае, у нас это слово было синонимом немыслимой упрощенности, примитивности, зажатости, скаредности, пошлости, голизны. Но, даже не упоминая о том, чего я лично не выношу, я, откровенно говоря, не верю, что на каком-либо языке можно найти слова, чтобы описать, как именно китайский или японский поэт отбирает материал для своих стихов. Кто, например, сможет объяснить смысл такого стиха, где описано, как честолобивый и чванный сановник, гуляя по своему сади-

и никогда от этих скотов ответа не получает. А кроме того, я тут говорю и вместо героя этого рассказа — ведь и он, балда несчастная, тоже был учителем.)

ку и самодовольно переживая свое сегодняшнее, особо ядовитое выступление в присутствии самого императора, вдруг с *сожалением* растаптывает чей-то брошенный или оброненный рисунок пером? (Горе мне: оказывается, к нам затесался некий прозаик, которому захотелось поставить *курсив* там, где поэту Востока это и не понадобилось.) Кстати, великий Исса радостно сообщает нам, что в его саду расцвел «круглощекий» пион. (И все!) А пойдем ли мы поглядеть на его круглощекий пион – дело десятое. Он за нами не подглядывает, не то что некоторые прозаики и западные стихоплеты, – не мне перечислять их имена. Одно имя «Исса» уже служит для меня доказательством, что истинный поэт тему не выбирает. Нет, тема сама выбирает его. И круглощекий пион никому не предстанет – ни Бузону, ни Шики, ни даже Басе. И с некоторой оглядкой на прозу можно то же самое сказать и о честолобивом и чванном сановнике. Он не посмеет с божественно человеческим сожалением наступить на чей-то брошенный рисунок, пока не появится и не станет за ним подглядывать великий гражданин, безродный поэт, Лао Дигао. Чудо китайской и японской поэзии еще в том, что у чистокровных поэтов абсолютно одинаковый тембр голоса, и вместе с тем они абсолютно непохожи и разнообразны. Тан Ли, заслуживший в свои девяносто три года всеобщую похвалу за мудрость и милосердие, вдруг сознается, что его мучит геморрой. И еще один, последний пример: Го Хуан, обливаясь слезами, замечает, что его покойный хозяин очень некрасиво вел себя за столом. (Всегда существует опасность как-то слишком унижительно относиться к Западу. В дневниках Кафки есть строчка – и не одна, – которую можно было бы написать в поздравлении к китайскому Новому году: «Эта девица, только потому, что она шла под ручку со своим кавалером, спокойно оглядывала все вокруг».) Что же касается моего брата Симора – ах да, брат мой Симор. Нет, об этом кельтско-семитском ориенталисте мне придется начать совершенно новый абзац.

Неофициально Симор писал и даже разговаривал китайскими и японскими стихами почти все те тридцать с лишком лет, что он жил среди нас. Но скажу точнее: формально он впервые стал сочинять эти стихи однажды утром, одиннадцати лет от роду, в читальном зале на первом этаже бродвейской библиотеки, неподалеку от нашего дома. Была суббота – в школу не ходить, до обеда делать было нечего, – и мы с наслаждением лениво плавали или шлепали вброд между книжными полками, иногда успешно выуживая какого-нибудь нового автора, как вдруг Симор поманил меня к себе, показать, что он выудил. А выудил он целую кучу переведенных на английский стихов Панги. Панга – чудо одиннадцатого века. Но, как известно, рыбачить вообще, а особенно в библиотеках, – дело хитрое, потому что никогда не знаешь, кто кому попадется на удочку. (Всякие неожиданные случаи при рыбной ловле были вообще любимой темой Симора. Наш младший брат, Уолт, еще совсем мальчишкой отлично ловил рыбу на согнутую булавку, и, когда ему исполнилось не то девять, не то десять лет, Симор подарил ему ко дню рождения стих, чем и обрадовал его, по-моему, на всю жизнь, – а в стихе говорилось про богатого мальчишку, который поймал в Гудзоне на удочку рыбу «зебру» и, вытаскивая ее, почувствовал страшную боль в своей нижней губе, потом позабыл об этом, но, когда он пустил еще живую рыбу плавать дома в ванне, он вдруг увидел, что на ней синяя школьная фуражка с тем же школьным гербом, как и у него самого, а внутри этой малюсенькой мокрой фуражечки нашит ярлычок с его именем.) В это прекрасное утро Симор и попался нам на удочку. Когда ему было четырнадцать лет, кто-нибудь из нашего семейства постоянно шарил у него по карманам курток и штормовок в поисках какой-нибудь добычи – ведь он мог что-то набросать и в гимнастическом зале, во время перерыва, или сидя в очереди у зубного врача. (Прошли целые сутки, с тех пор как я написал последние строчки, и за это время я позвонил «со службы» по междугородному телефону своей сестре Бу-Бу в Такахо, в Восточную Виргинию, и спросил ее, нет ли у нее какого-нибудь стишка Симора, когда он был совсем маленьким, и не хочет ли она включить этот стих в мой рассказ. Она обещала позвонить. Выбрала она не совсем то, что мне в данном случае подходило, и я на нее немного зол, но это пройдет. А выбрала она стишок, написанный, когда, как мне известно, Симору было восемь лет: «Джон Китс // Джон Китс // Джон // Надень свой капюшон!» В двадцать два года у Симора уже набралась довольно внушительная пачка стихов, которые мне очень, очень нравились, и я, никогда не написавший ни одной строчки от руки, чтобы тут же не представить себе, как она будет выглядеть на книжной странице, стал упорно приставать к нему, что-

бы он их где-нибудь опубликовал. Нет, он считал, что этого делать нельзя. Пока нельзя. А может быть, и вообще не надо. Стихи слишком не западные, слишком «лотосовые». Он сказал, что в них есть что-то слегка обидное. Он не вполне отдает себе отчет, в чем именно стихи звучат обидно, но иногда у него такое чувство, как будто их писал человек неблагодарный, как будто — так ему кажется — автор повернулся спиной ко всему окружающему, а значит, и ко всем своим близким людям. Он сказал, что ест пищу из наших огромных холодильников, водит наши восьмицилиндровые американские машины, решительно принимает наши лекарства, когда заболевает, и возлагает надежды на американскую армию, защитившую его родителей и сестер от гитлеровской Германии, но в его стихах ни одна-единственная строка не отражает эту реальную жизнь. Значит, что-то ужасно несправедливо. Он сказал, что часто, дописав стихотворение, он вспоминает мисс Оверман. Тут надо объяснить, что мисс Оверман была библиотекарем в той первой нью-йоркской районной библиотеке, куда мы постоянно ходили в детстве. Симор сказал, что он обязан ради мисс Оверман настойчиво и неустанно искать такую форму стиха, которая соответствовала бы и его собственным особым стандартам, но вместе с тем была бы как-то даже на первый взгляд совместима с литературным вкусом мисс Оверман. Когда он высказался, я объяснил ему спокойно и терпеливо — причем, конечно, орал на него во всю глотку, — чем именно мисс Оверман не годится не только на роль судьи, но даже и на роль читателя поэтических произведений. Тут он напомнил мне, как в первый день, когда он пришел в библиотеку (один, шести лет от роду), мисс Оверман — могла она или нет судить о стихах — открыла книгу с изображением катапульты Леонардо да Винчи и, улыбаясь, положила перед ним, и что он никакой радости не испытывает, если, закончив стихотворение, поймет, что мисс Оверман будет читать его с трудом, не чувствуя ни того удовольствия, ни той душевной приязни, какую она чувствует, читая своего любимого мистера Браунинга или столь же ей дорогого и столь же понятного мистера Вордсворта. На этом наш спор — мои аргументы и его возражения — был исчерпан. Нельзя спорить с человеком, который верит — или, вернее, страстно хочет поверить, — что задача поэта вовсе не в том, чтобы писать, как он сам хочет, а скорее в том, чтобы писать так, как если бы под страхом смертной казни на него возложили ответственность за то, что его стихи будут написаны только таким языком, чтобы его поняли все или хотя бы почти все знакомые старушки-библиотекарши.

Человеку преданному, терпеливому, идеально чистому все важнейшие явления в мире — быть может, кроме жизни и смерти, так как это только слова, — все действительно важные явления всегда кажутся прекрасными. В течение почти трех лет до своего конца Симор, по всей вероятности, всегда чувствовал самое полное удовлетворение, какое только дано испытать опытному мастеру. Он нашел для себя ту форму версификации, которая ему подходила больше всего, отвечала его давнишним требованиям к поэзии вообще, и, кроме того, как мне кажется, даже сама мисс Оверман, будь она жива, вероятно, сочла бы эти стихи «интересными», быть может, даже «приятными по стилю» и, уж во всяком случае, «увлекательными», конечно, если бы она уделяла этим стихам столько же любви, сколько она так щедро отдавала своим старым, закадычным друзьям — Браунингу и Вордсворту. Разумеется, описать точно то, что он нашел для себя, сам для себя выработал, очень трудно²⁴.

Для начала следует сказать, что Симор, наверно, любил больше всех других поэтических форм классическое японское хокку — три строки, обычно в семнадцать слогов, и что сам он тоже писал-истекал, как кровью, такими стихами (почти всегда по-английски, но иногда — надеюсь, что я говорю об этом с некоторым стеснением, — и по-японски, и по-немецки, и по-итальянски). Можно было бы написать — и об этом, наверно, напишут, — что поздние стихотворения Симора в основном похожи на английский перевод чего-то вроде двойного хокку, если только такая форма существует, и я не терял бы на это описание столько лишних слов, если бы мне не становилось

²⁴ Самым естественным и единственно рациональным поступком было бы для меня сейчас взять и привести полностью одно, два или все сто восемьдесят четыре стихотворения Симора — пусть читатель судит сам. Но сделать этого я не могу. Я даже не уверен, что имею право говорить его стихах. Мне разрешено держать стихи у себя, редактировать их, хранить их и впоследствии найти хорошего издателя, но по чисто личным причинам вдова поэта, его законная наследница, категорически запретила мне даже цитировать их тут, целиком или частично.

как-то муторно при мысли о том, что в каком-нибудь тысяча девятьсот семидесятом году какой-нибудь преподаватель английской литературы, человек усталый, но неутомимый остряк, – а может быть, упаси Боже, это буду я сам! – отмочит шутку, что, мол, стих Симора отличается от классического хокку, как двойной мартини отличается от простого. А тот факт, что это неверно, нашего педанта даже не затронет, лишь бы аудитория оживилась и приняла остроту как должное. Словом, пока можно, постараюсь объяснить толково и неторопливо: поздние произведения Симора – шестистрочный стих, не имеющий определенного размера, хотя ближе всего к ямбу, причем, отчасти из любви к давно ушедшим японским мастерам, отчасти же по своей врожденной склонности как поэта – работать в полюбившейся ему, привлекательной и строгой форме, он сознательно ограничил свой стих тридцатью четырьмя слогами, то есть удвоил размер классического хокку. Кроме этого, все сто восемьдесят четыре стихотворения, которые пока лежат у меня дома, похожи только на самого Симора, и ни на кого больше. Хочу сказать, что даже по звучанию они своеобразны, как он сам. Стих льется негромко, спокойно, как, по его представлению, и подобает стиху, но в него внезапно врываются короткие звучные аккорды, и эта эвфония (не могу найти менее противное слово) действует на меня так, будто какой-то человек, скорее всего не вполне трезвый, распахнул мою дверь, блестяще сыграл три, четыре или пять неоспоримо прекрасных тактов на рожке и сразу исчез. (Никогда до того я не встречал поэта, который умел бы создать впечатление, что посреди стиха он вдруг заиграл на рожке, да еще так прекрасно, что лучше мне об этом больше не говорить. Хватит.) В этой шестистрочной структуре, в этой очень своеобразной звукописи Симор, по-моему, делает со стихом все, что от него ожидаешь. Большинство из его ста восьмидесяти четырех произведений скорее глубоки, чем легкомысленны, и читать их можно где угодно и кому угодно, хоть вслух ночью в грозу сироткам из детского приюта, но я ни одной живой душе не стану безоговорочно советовать прочитать последние тридцать – тридцать пять стихотворений, если этому читателю когда-нибудь, хотя бы два в жизни, не грозила смерть, да еще смерть медленная. Любимые мои стихотворения, а у меня, безусловно, такие есть, – это два последних стихотворения из этого собрания. Думаю, что я никому не наступлю на любимую мозоль, если просто расскажу, о чем эти стихи. В предпоследнем рассказывается о молодой замужней женщине, матери семейства, у которой, как это называется в моей старой книге о браке, есть внебрачная связь. Симор ее никак не описывает, но она появляется в стихе там, где поэт вдруг выводит на своем рожке особенно эффектную фиоритуру, и мне эта женщина сразу представляется изумительно хорошенькой, не очень умной, очень несчастливой и, вероятно, живущей в двух-трех кварталах от музея изящных искусств «Метрополитен». Она возвращается домой со свидания очень поздно – глаза у нее, как мне кажется, распухли, губная помада размазалась – и вдруг видит у себя на постели воздушный шарик. Кто-то просто его там забыл. Поэт об этом ничего не говорит, но это обязательно должен быть огромный детский шар, вероятно, зеленый, как листва в Центральном парке по весне. Второе стихотворение, последнее в моем собрании, описывает молодого вдовца, живущего за городом, который как-то вечером, разумеется в халате и пижаме, вышел на лужайку перед домом поглядеть на полную луну. Скучающая белая кошка – явно член его семьи, и притом когда-то очень любимый – подкрадывается к нему, ложится на спинку, и он, глядя на луну, дает ей покусывать свою левую руку. Это последнее стихотворение может представить для моего постоянного читателя исключительный интерес по двум совершенно особым причинам, и мне очень хочется о них поговорить.

Как присуще поэзии вообще, и особенно стихам с ярко выраженным «влиянием» китайской и японской поэтики, и у Симора в его стихах тоже все предельно обнажено и неизменно лишено всякого украшательства. Но приехавшая ко мне на уикенд с полгода назад младшая сестра, Фрэнни, случайно, роясь в моем столе, нашла именно то стихотворение про вдовца, которое я только что (преступно) пересказал своими словами: листок лежал отдельно, и я хотел его перепечатать. Не важно почему, но Фрэнни никогда этого стихотворения не читала и, конечно, тут же прочла его. Потом, когда зашел разговор об этих стихах, она сказала, что ее удивляет, почему Симор написал, что молодой вдовец дал кошке покусывать именно левую руку. Ей было как-то не по себе. Вообще, говорит, это больше похоже на тебя, чем на Симора, – подчеркивать, что именно речь идет о левой руке. Кроме клеветнического намека в мой адрес насчет того, что я

в своих писаниях все больше и больше вдаюсь во всякие детали, она, очевидно, хотела сказать, что этот эпитет показался ей навязчивым, слишком подчеркнутым, непоэтичным. Я ее переспорил и, откровенно говоря, готов, если понадобится, поспорить и с вами. Я совершенно уверен, что Симор считал жизненно важным упоминание о том, что именно в левую, в менее нужную руку молодой вдовец дал белой кошке запустить острые зубки, тем самым оставляя *правую* руку свободной, чтобы можно было бить себя в грудь или ударить по лбу, – впрочем, зря я вдался в такой разбор, многим читателям он, наверно, покажется ужасно скучным. Пожалуй, так оно и есть. Но я-то знаю, как мой брат относился к человеческим рукам. Кроме того, тут кроется и другая весьма немаловажная сторона этого отношения. Может быть, разговор на эту тему покажется безвкусицей – вроде того, как вдруг начать читать по телефону совершенно чужому человеку все либретто «Эби и его ирландской Розы», – но я должен сказать, что Симор был наполовину еврей, и хотя не могу говорить на эту тему так же авторитетно, как великий Кафка, но в сорок лет уже имею право трезво утверждать, что всякий думающий индивид, с примесью семитской крови в жилах, живет или жил в особо близких, почти интимных взаимоотношениях со своими руками, и хотя потом он годами, буквально или иносказательно, прячет их в карман (боюсь, что иногда он убирает их, как двух назойливых и старых непрезентабельных приятелей или родственников, которых предпочитают не брать с собой в гости), и все-таки он вдруг, в какой-то критический момент, начнет жестикулировать и уж в такую минуту может сделать самый неожиданный жест – например, чрезвычайно прозаически упомянуть, что именно левую руку кусала кошка, – а ведь поэтическое творчество, безусловно, является таким *критическим* для человека, его наиболее личным переживанием, за которое мы ответственны. (Прошу прощения за это словоизвержение, боюсь только, что чем дальше, тем его будет больше.) Вторая причина – почему я думаю, что именно это стихотворение Симора представляет особый – и, надеюсь, истинный – интерес для моего постоянного читателя; в нем есть то странное, исключительно сильное чувство, которое автор и хотел в него вложить. Ничего похожего я в других книгах не встречал, а ведь я, смею сказать, с самого раннего детства почти до сорока лет прочитывал не менее двухсот тысяч слов в день, а бывало, и тысяч до четырехсот. А теперь, когда мне стукнуло сорок, мне редко хочется что-то выискивать и, когда мне не приходится проверять сочинения – свои собственные или моих юных слушательниц, – я читаю совсем мало – разве что сердитые открытки от своих родичей, каталоги цветочных семян, разные отчеты, любителей птиц и трогательные записочки с пожеланиями скорейшего выздоровления от моих старых читателей, которые где-то прочли дурацкую выдумку о том, будто я полгода провожу в буддистском монастыре, а другие полгода – в психбольнице. Во всяком случае, я понял, что высокомерие человека, ничего не читающего или читающего очень мало, куда противнее, чем высокомерие некоторых заядлых читателей, – поэтому я и пытаюсь (и вполне серьезно) по-прежнему упорно настаивать на своем прежнем литературном всезнайстве. Возможно, что самое смешное – моя глубокая уверенность в том, что я обычно могу сразу сказать: пишет ли поэт или прозаик о том, что он узнал по опыту из первых, вторых или десятых рук, или он подсовывает нам то, что ему самому кажется чистой выдумкой. И все же, когда я впервые, в 1948 году, прочитал – вернее услышал – стихи Симора «молодой вдовец – белая кошка», мне трудно было себя убедить, что Симор не похоронил хотя бы одну жену втайне от нашей семьи. Но этого, конечно, не было. Во всяком случае, если это и произошло с ним (первым тут покраснею никак не я, а скорее мой читатель), то в каком-нибудь предыдущем воплощении. И, зная моего брата так близко и досконально, могу сказать, что никаких молодых вдовцов среди его хороших знакомых не было. Наконец, могу сказать, хоть это и лишнее, что сам он – обыкновенный молодой американец – нисколько не походил на вдовца. (И хотя вполне возможно, что иногда, в минуту мучительную или радостную, любой женатый человек, в том числе предположительно и Симор, мог бы мысленно представить себе, как сложилась бы жизнь, если бы его юной подруги не стало, думается мне, что первоклассный поэт мог бы сделать на основе такой фантазии прелестную элегию, но все эти мои соображения – только вода на мельницу всяческих психологов и моего предмета не касаются.) А хочу я сказать и постараюсь, как это ни трудно, сказать покороче, что чем больше стихи Симора кажутся мне чисто личными, чем больше они звучат лично, тем меньше в них отражены известные мне подробности

его реальной повседневной жизни в нашем западном мире. Мой брат Уэйкер (надеюсь, что его настоятель никогда об этом не узнает) говорил, что в своих самых личных стихах Симор пользуется опытом своих прежних перевоплощений – всеми до странности запомнившимися ему радостными или печальными событиями его жизни в заштатном Бенаресе, феодальной Японии, столичной Атлантиде. Молчу, молчу – пусть читатель успеет в отчаянии развести руками или, вернее, умыть руки и отречься от нас всех. И все же мне кажется, что те мои братья и сестры, которые еще живы, громогласно подтвердят, что Уэйкер прав, хотя кто-то из них и внесет свои небольшие поправки. Например, Симор в день своего самоубийства написал четкое, классическое хокку на промокашке письменного стола в номере гостиницы. Мне самому не очень нравится мой подстрочный перевод этого стиха, написанного по-японски, но в нем коротко рассказано про маленькую девочку в самолете, которая поворачивает головку своей куклы, чтобы та взглянула на поэта. За неделю до того, как стихотворение было написано, Симор действительно летел на пассажирском самолете и моя сестра, Бу-Бу, как-то предательски намекнула, что на этом самолете и *вправду* была такая девочка с куклой. Но я-то сомневаюсь. А если бы так и было – во что я ни на минуту не поверю, – то могу держать пари, что девочка и не думала обращать внимание своей подружки именно на Симора.

Не слишком ли я распространяюсь насчет стихов моего брата? Не разболтался ли я чересчур? Да. Да. Я слишком распространяюсь о стихах моего брата. Да, я разболтался. И мне очень неловко. Но, только я хочу замолчать, всякие доводы против этого начинают размножаться во мне, как кролики. Кроме того, как я уже категорически заявлял, что хотя я и счастлив, когда пишу, но могу поклясться, что я никогда не писал и не пишу весело; моя профессия милостиво разрешает мне иметь определенную норму невеселых мыслей. Например, мне уже не раз приходило на ум, что, если я начну писать все, что я знаю о Симоре как о человеке, у меня, вероятно, не останется места говорить о его стихах, пульс у меня участится и пропадет всякое желание писать о поэзии вообще, в широком, но точном смысле слова. И в эту минуту, хватаясь за пульс и попрекая себя за болтливость, я вдруг пугаюсь, что вот тут, сейчас, я упускаю свой единственный в жизни шанс – скажу даже, последний шанс – публично, громогласно заявить, верней прохрипеть, свое окончательное спорное, но решительное мнение о месте моего брата в американской поэзии. Нет, эту возможность мне упустить нельзя. Так вот: когда я оглядываюсь и прислушиваюсь к тем пяти-шести наиболее самобытным старым американским поэтам – может их и больше, – а также читаю многочисленных, талантливых эксцентрических поэтов и – особенно в последнее время – тех способных, ищущих новых путей стилистов, у меня возникает почти полная уверенность, что у нас было только три или четыре почти *абсолютно* незаменимых поэта и что, по-моему, Симор, безусловно, будет причислен к ним. Не завтра, конечно, – чего вы хотите? И я почти уверен, хотя, быть может, и преувеличиваю эту свою догадку, что в первых же довольно скупых отзывах рецензенты исподтишка угрожат его стихи, называя их «интересными» или, что еще убийственней, «весьма интересными», а в подтексте, в туманном косноязычии, намекают, что эти стихи – мелочь, чуть слышный лепет, который никак не дойдет до современной западной аудитории, хоть читай их там со своей переносной трансатлантической кафедры, где на столике – стаканчик и чашка со льдом из океанской водички. Но, как я заметил, настоящий художник все перетерпит (даже, как я с радостью думаю, и похвалу); Кстати, мне тут вспомнилось, как однажды, когда мы были совсем мальчишками, Симор разбудил меня, – а спал я очень крепко, – возбужденный, в расстегнутой желтой пижаме. Вид у него был, как любил говорить наш брат Уолт, словно он хотел крикнуть «Эврика!». Оказывается, Симор хотел мне сообщить, что он, как ему кажется, наконец понял, почему Христос сказал, что нельзя никого звать глупцом. (Эта проблема мучила его целую неделю, так как ему казалось, что такой совет больше похож на «Правила светского поведения» Эмили Пост, чем на слово Того, Кто творит волю Отца Своего.) А Христос так сказал, сообщил мне Симор, потому, что глупцов вообще не бывает. Тупицы есть, это так, а глупцов нет. И Симору казалось, что для такого откровения стоило меня разбудить, но если признать, что он прав (а я это признаю безоговорочно), то придется согласиться с тем, что если немного переждать, то даже критики поэзии докажут в конце концов, что они не так глупы. Откровенно говоря, мне трудновато согласиться с этой мыслью, и я рад, что в

конце концов дошел до самой головки этого абсцесса, до этих неотвязных и, боюсь, все болезненней нарывавших во мне рассуждений о стихах моего брата. Я сам это чувствовал с самого начала. Ей-богу, жалко, что читатель заранее не сказал мне какие-то жуткие слова. (Эх вы, с вашим «молчанием – золотом». Завидую я вам всем.)

Меня часто – а с 1959 года хронически – тревожит предчувствие, что с того дня, как стихи Симора повсеместно, и даже официально, признают первоклассными (и его сборники заполняют университетские библиотеки, им будут отведены специальные часы в курсе «Современная поэзия»), дипломанты и дипломантки парами и поодиночке с блокнотами наготове станут стучаться в мои слегка скрипучие двери. (Сожалею, что пришлось коснуться этого вопроса, но уже поздно делать вид, будто мне все безразлично, и тем более скромничать, – что мне никак не свойственно, – и придется тут открыть, что моя прославленная, душещипательная проза возвела меня в сан самого любимого, безыскусного автора из всех, кого издавали после Ферриса, Л. Монагана²⁵. Уже немало молодых слушателей факультета английской литературы знают, где я живу, вернее скрываюсь (следы их шин на моих клумбах с розами – этому доказательство). Короче говоря, я, ни минуты не сомневаясь, скажу, что есть три рода студентов, которые и жаждут, и откровенно решаются смотреть в рот любому литературному чревоушателю. Во-первых, есть юноши и девушки, до страсти и трепета влюбленные во всякую, мало-мальски отвечающую требованиям литературу, и, если им непонятен англичанин Шелли, они довольствуются исследованиями отечественной, но вполне достойной продукции. Как мне кажется, я очень хорошо знаю таких студентов. Они наивны, они живые люди, энтузиасты, часто ошибаются, и, по-моему, именно на них делает ставку наша литературная элита и пресыщенные эстеты во всем мире. (Мне выпала удача, может быть и незаслуженная, но на курсе, где я преподаю последние двенадцать лет, каждые два или три года обязательно попадалось хоть одно такое восторженное, самоуверенное, невыносимое, часто обаятельное существо.) Теперь – о второй категории молодых слушателей, тех, кто без стеснения звонит к тебе домой в поисках литературных сведений. Такие обычно страдают застарелым «академичтом», подхваченным у одного из профессоров или доцентов – преподавателей Современной литературы, с кем они общались чуть ли не с первого курса. И нередко, если такой юнец уже сам преподает или готовится преподавать, эта болезнь зашла настолько далеко, что сомневаешься, можешь ли ты ее излечить, даже если ты сам настолько подкован, что мог бы попытаться помочь. Например, в прошлом году ко мне заехал молодой человек – поговорить о моей статье, написанной несколько лет назад, где многое касалось Шервуда Андерсона. Гость подоспел к тому времени, как я стал пилить на зиму дрова пилой с бензиновым моторчиком, – и, хотя я уже восемь лет пользуюсь этой штукой, я все еще смертельно боюсь ее. Уже таяло по-весеннему, день стоял чудесный, солнечный, и я, откровенно говоря, чувствовал себя таким Торо²⁶ (что мне доставляло редкое и несказанное удовольствие, так как я из тех людей, которые, прожив тринадцать лет в деревне, по-прежнему меряют сельские расстояния, сравнивая их с кварталами Нью-Йорк-Сити). Короче говоря, день обещал быть приятным, хоть и с литературным разговором, и я, помнится, очень надеялся, что мне удастся а-ля Том Соьер, с его ведерком белил, заставить моего гостя попилить дрова. С виду он был здоровяк, можно даже сказать – силач. Однако эта его внешность оказалась обманчивой, и я чуть не поплатился левой пяткой, потому что под жужжание и взвизги моей пилы, когда я почти окончил коротко и не без удовольствия излагать свои мысли о сдержанном и проникновенном стиле Шервуда Андерсона, мой юный гость после вдумчивой, таившей некую угрозу паузы спросил, существует ли эндемический чисто американский ЦАЙТ-ГАЙСТ²⁷. (Бедный малый. Даже если он будет следить всю

²⁵ Л. Монаган — популярный писатель. (Примеч. перев.)

²⁶ Г. Торо — знаменитый автор повести «Уолден», проповедник буколической жизни. (Примеч. перев.)

²⁷ Кстати, я, быть может, зря смущаю своих студенток. Школьные учителя давно этим грешат. А может быть, я выбрал неподходящую поэму. Но если, как я невежливо предполагаю, «Озимандия» и впрямь никакого интереса для моих слушательниц не представляет, то, может быть, виновато в этом само стихотворение. Может быть, «безумец Шелли» был не так уж безумен? Во всяком случае, его безумие не было безумием сердца. Мои барышни безусловно знают, что Роберт Бернс пил и гулял всюду, и они им, наверно, восхищаются, но я также уверен, что все они знают

за своим здоровьем, ему больше пятидесяти лет успешной академической жизни нипочем не выдюжить.)

И наконец, поговорим отдельно, с новой строки, о третьей категории посетителей, о том или той, кто, как мне кажется, станет частым гостем этих мест, когда стихи Симора будут окончательно распакованы и расфасованы.

Разумеется, нелепо говорить, что большинство молодых читателей куда больше интересуются не творчеством поэта, а теми немногими или многими подробностями его личной жизни, которые можно для краткости назвать «мрачными». Я бы даже согласился написать об этом небольшое научное эссе, хотя это может показаться абсурдным. Во всяком случае, я убежден, что если бы я спросил у тех шестидесяти лишних (вернее, у тех шестидесяти с лишним) девиц, которые слушали мой курс «Творческий опыт» (все они были старшекурсницами, все сдали экзамен по английской литературе) если бы я их попросил процитировать хоть одну строку из «Озимандии» или хотя бы вкратце рассказать, о чем это стихотворение, то я сильно сомневаюсь, что даже человек десять смогли бы сказать что-то дельное, но могу прозакладывать все мои недавно посаженные тюльпаны, что, наверно, человек пятьдесят из них смогли бы доложить мне, что Шелли был сторонником «свободной любви» и что у него было две жены, и одна из них написала «Франкенштейна», а другая утопилась. Нет, пожалуйста, не думайте, что меня это шокирует или бесит. По-моему, я даже не жалею. И вообще, раз дураков нет, то уж меня никто дураком не назовет, и я имею право устроить себе, недураку, праздник и заявить, что, независимо от того, кто мы такие, сколько свечей на нашем именинном пироге пылает ярче доменной печи и какого высокого, интеллектуального, морального и духовного уровня мы достигли, все равно наша жадность до всего совсем или отчасти запретного (и сюда, конечно, относятся все низменные и возвышенные сплетни), эта жажда, должно быть, и есть самое сильное из всех наших плотских вожделений, и ее подавить трудней всего. (Господи, да что это я разболтался? Почему я сразу не приведу в подтверждение стихи моего поэта? Одно из ста восьмидесяти четырех стихотворений Симора только с первого раза кажется диким, а при втором прочтении – одним из самых проникновенных гимнов всему живому, какой я только читал, – а речь в этом стихе идет о знаменитом старике аскете, который на смертном ложе, окруженный сонмом учеников и жрецов, поющих псалмы, напряженно прислушивается к голосу прачки, которая треплется во дворе про белье его соседа. И Симор дает читателю понять, что старому мудрецу хочется, чтобы жрецы пели немножко потише.) Впрочем, тут, как всегда, я слегка запутался, что обычно связано с попыткой выдвинуть какое-то устойчивое, доступное всем обобщение, чтобы я мог на него опереться, когда начну высказывать так и по женской линии – потомками стариннейшего рода профессиональных артистов варьете самых разнообразных жанров. Можно сказать громко или вполголоса, что все мы, по наследственности, поем, танцуем и – в чем вы уже наверно, убедились – любим и «поострить». Но я считаю, что особенно важно помнить – а Симор это помнил с детских лет, – что наша семья дала и много циркачей – и профессионалов, и любителей. Особенно красочный пример – наш с Симором прадедушка, весьма знаменитый клоун по имени Зозо. Он был польским евреем и работал на ярмарках и очень любил – до самого конца своей карьеры, как вы понимаете, – нырять с огромной высоты в небольшие бочки с водой. Другой наш прадед, ирландец по имени Мак-Мэгон (которого моя матушка, дай ей Бог здоровья, никогда не называла «славным малым»), работал «от себя»: обычно он расставлял на травке две октавы подобранных по звуку бутылок из-под виски и, собрав денежки с толпы зрителей, начинал танцевать, и, как говорили нам, очень музыкально, по этим бутылкам. (Так что, можете поверить мне на слово, чудачков в нашем семействе хватало.) Наши собственные родители – Лес и Бесси Гласс – выступали в театрах-варьете и мюзик-холлах с очень традиционным, но, на наш взгляд, просто ве-

про изумительную «Мышь, чье гнездо он разорил своим плугом». (Тут я вдруг подумал: а может быть, «огромные, без туловища, каменные ноги», стоящие в пустыне, — это ноги самого Перси? Можно ли себе представить, что его биография куда сильнее его лучших стихов? И если это так, то причина тому... Ладно, тут я умолкаю. Но берегитесь, молодые поэты. Если вы хотите, чтобы мы вспоминали ваши лучшие стихи хотя бы с такой же теплотой, как мы вспоминаем вашу Красивую Красочную Жизнь, то напишите нам хоть про одну «полевую мышь» так, чтобы каждая строфа была согрета сердечным теплом.)

ликолепным танцевально-вокальным и чечеточным номером, особенно прославившимся в Австралии (где мы с Симором, совсем еще маленькими, провели с ними почти два триумфальных года). Но и позже, гастролируя тут, в Америке, в старых цирках «Орфей» и «Пантаж», они стали почти знаменитостями. По мнению многих, они могли бы еще долго выступать со своим номером. Однако у Бесси были насчет этого свои соображения. Она не только обладала способностью мысленно читать пророчества, начертанные на стенах, — а начиная с 1925 года им уже мало приходилось выступать, всего только дважды в день в хороших мюзик-холлах, а Бесси, как мать пятерых детей и опытная балерина, была решительно против четырехразовых выступлений перед сеансами в огромных новых кинотеатрах, которые росли, как грибы, — но, что было куда важнее, с самого детства, когда ее сестренка-близнец скорострительно умерла от истощения за кулисами цирка в Дублине, наша Бесси больше всего на свете ценила. Уверенность В Завтрашнем Дне в любом виде.

Так или иначе, но весной 1925 года, после гастролей, и не ахти каких удачных, в бруклинском театре «Олби», когда мы, все пятеро, болели корью в невзрачной квартирке — три с половиной комнатенки в старом манхэттенском отеле «Алама» и Бесси подозревала, что она опять беременна (что оказалось ошибкой: наши младшие, Зуи и Фрэнни, родились позже, он — в 1930-м, она — в 1935 году), наша Бесси вдруг обратилась к преданному ей поклоннику «с огромными связями», и отец получил спокойное место, и с тех пор, неизменно, годами величал себя не иначе, как «главным администратором коммерческого радиовещания», чего никто и никогда не оспаривал. Так официально закончились затянувшиеся гастроли эстрадной пары «Галлахер и Гласс». И тут я хочу особо подчеркнуть и как можно достовернее доказать, что это необычное мюзик-холльно-цирковое наследие несомненно и постоянно играло очень значительную роль в жизни всех семи отпрысков нашего семейства. Как я уже говорил, двое младших стали просто профессиональными актерами. Но влияние наследственности сказалось не только на них. Например, моя старшая сестра Бу-Бу по всем внешним признакам — обыкновенная провинциалка, мать троих детей, совладелица гаража на две машины, и однако она в особенно радостные минуты жизни готова плясать до упаду, и я сам видел, к своему ужасу, как она отбивала — и очень лихо — чечетку, держа на руках мою племяншку, которой только что исполнилось пять дней. Мой покойный брат Уолт, погибший в Японии уже после войны от случайного взрыва (об этом брате я постараюсь говорить как можно меньше, чтобы как можно скорее закончить нашу портретную галерею), тоже танцевал отлично, и даже более профессионально, чем Бу-Бу, хотя и не так непосредственно. Его близнец — наш брат Уэйкер, наш монах, наш затворник-картезианец — еще мальчишкой втайне боготворил У.-С. Филдса²⁸, подражая этому вдохновенному, крикливому и все же почти святому человеку. Он часами мог жонглировать коробками от сигар и всякими другими штуками, пока не достиг удивительного мастерства. (В нашей семье бытует легенда, что его заточили в картезианский монастырь, то есть лишили места священника в городе Астория, чтобы избавить от постоянного искушения — причащать своих прихожан, стоя к ним спиной, шагах в трех, и бросая облатку через левое плечо, так, чтоб она, описав красивую дугу, попадала им прямо в рот.) Что до меня — о Симоре лучше скажу под конец, — то и я, само собой разумеется, тоже немножко танцую. Если попросят, конечно. Кроме того, могу добавить, что у меня нередко появляется такое ощущение, словно меня, как ни странно, иногда опекает мой прадедушка Зозо: я чувствую, как он неведомыми путями старается не дать мне споткнуться, как бы запутавшись в моих широченных клоунских штанах, когда я задумываюсь, бродя по лесу или входя в аудиторию, а может быть, он еще заботится и о том, чтобы, когда я сижу за машинкой, мой наклеенный нос иногда поворачивался на Восток.

Да, в конце концов, и наш Симор всю жизнь до самой смерти не меньше нас всех чувствовал на себе влияние нашей «родословной». Я уже упоминал, что, хотя, по-моему, трудно найти более *личные* стихи, чем стихи Симора, и что в них он открывается весь, до конца, все же ни в одной строчке, даже когда Муза Беспредельной Радости гонит его галопом, он не проронит ни единого словца из своей автобиографии. И хотя не всем это придется по вкусу, но я утверждаю,

²⁸ У.-С. Филдс — знаменитый циркач, впоследствии антрепренер. (Примеч. перев.)

что все его стихи на самом деле – цирковой номер высокого класса, традиционный выход, где клоун жонглирует словами, чувствами и балансирует золотым рожком на подбородке вместо обычной палки, на которой вертится хромированный столик с бокалом воды. Могу привести еще более убедительные и точные доказательства. Давно уже хотел рассказать вам такую историю: в 1922 году, когда Симору было пять, а мне – три, Лес и Бесси несколько недель подряд выступали в одной программе с неподражаемым фокусником Джо Джексон – он работал на сверкающем никелированном велосипеде, чей блеск ослеплял зрителей даже в самых последних рядах цирка почище всякой платины. Через много лет, вскоре после начала второй мировой войны, когда мы с Симором только что перебрались в собственную нью-йоркскую квартиру, наш отец – будем его называть просто Лес – как-то зашел к нам по дороге домой. Весь вечер он играл в пинокль, и, очевидно, ему очень не везло. Во всяком случае, он решительно отказывался снять пальто. Он сел. Он хмуро разглядывал нашу мебель. Он повертел мою руку, явно ища следы от никотина, потом спросил Симора, сколько сигарет он выкуривает за день. Ему почудилось, что в его коктейль попала муха. Наконец, когда наши попытки наладить разговор, по крайней мере для меня, явно провалились, он вдруг встал и подошел к недавно прикреплённой на стенку фотографии его с Бесси. Целую минуту он угрюмо разглядывал карточку, потом резко повернулся – наше семейство давно привыкло к его порывистым движениям – и спросил Симора, помнит ли он, как Джо Джексон долго катал его, Симора, вокруг арены на руле своего велосипеда. Сейчас Симор сидел в старом бархатном кресле у дальней стены с сигаретой в зубах – на нем была синяя рубашка, серые штаны, стоптанные мокасины, а на щеке, повернутой ко мне – порез после бритья, – но на вопрос он ответил сразу, и очень серьезно, в том тоне, в каком он обычно отвечал Лесу, – как будто тот всегда задавал ему именно такие вопросы, на какие он любил отвечать больше всего в жизни. Он сказал, что ему кажется, будто он никогда и не слезал с чудного велосипеда Джо Джексона. Не говоря о том, какие трогательные воспоминания этот ответ вызвал у моего отца, Симор сказал правду, чистую правду.

После предыдущей записи прошло два с половиной месяца. Пролетело. Приходится, слегка поморщившись, выпустить бюллетень, который, как мне теперь кажется, будет очень похожим на интервью с корреспондентом воскресного литературного приложения, где я собираюсь сообщить, что работаю в кресле, пью во время Творческого Процесса до тридцати чашек черного кофе, а в свободное время сам мастерю себе мебель; словом, все это звучит так, будто некий писатель без стеснения треплется о своей манере «творить», своем «хобби», своих наиболее пристойных «человеческих слабостях». Право, я вовсе не собираюсь тут *интимничать*. (По правде говоря, я даже себя сдерживаю изо всех сил. Мне и то кажется, что моему рассказу именно сейчас, как никогда, грозит опасность стать столь же интимным, как нижнее белье.) Так вот, я сообщаю читателю, что пропустил столько времени между этими главами, потому что девять недель пролежал в постели с острым приступом гепатита. (А что я вам говорил про нижнее белье? То, что я почти дословно повторил реплику из комического номера варьете: *"Первая груша. Девять недель пролежала в постели с хорошеньким гепатитом. Вторая груша. Вот счастливица! А с которым именно? Они ведь оба очень хорошенькие, эти братья Гепатиты"*. Да, если я так заговорил о своем здоровье, лучше давайте вернемся к истории болезни.) Но если я сейчас сообщу, что уже почти неделя как я встал и румянец снова розой расцвел на моих щеках, не истолкует ли мой читатель неправильно это признание? И главным образом в двух отношениях. Во-первых, не подумает ли он, что я деликатно упрекаю его за то, что он позабыл окружить мое ложе букетами камелий? (Тут читатель, полагаю, с облегчением отметит, что Чувство Юмора с каждой секундой изменяет мне все больше и больше.) Во-вторых, может быть, он подумает, читая эту «историю болезни», что моя эйфория, о которой я так громко возвещал в начале этого рассказа, может быть, вовсе не ощущение радости, а просто, как говорится, «печенка взыграла». Возможность такого толкования меня крайне тревожит. Знаю одно – я был счастлив, работая над этим «Введением». Даже разлегшись, как я привык, на кровати, под Гипнозом Гепатита – одна эта аллитерация может привести в восторг, – я, с присущим мне умением приспособиться, был беспредельно счастлив.

Да, я счастлив сообщить вам, что и в данную минуту я себя не помню от радости. Хотя, не

стану отрицать (и сейчас придется, как видно, изложить истинную причину – почему я выставлю напоказ мою бедную печенку), повторяю: я не стану отрицать, что после болезни я обнаружил одну жуткую потерю. Терпеть не могу драматических отступлений, но все же придется начать с нового абзаца.

В первый же вечер на прошлой неделе, когда я почувствовал, что выздоровел и что мне охота снова взяться за работу, я вдруг обнаружил, что для этого не то что не достает вдохновения, а просто силенок не хватит писать о Симоре. *Слишком он вырос, пока я отсутствовал.* Я сам себе не верил. Этот прирученный великан, с которым я вполне справлялся до болезни, вдруг, за каких-нибудь два с лишним месяца, снова стал самым близким мне существом, тем единственным в моей жизни человеком, которого никогда нельзя было втиснуть в печатную страничку – во всяком случае на моей машинке, – настолько он был неизмеримо велик. Проще говоря, я очень перепугался, и этот испуг не проходил суток пять. Впрочем, не стоит сгущать краски. Оказалось, что тут для меня неожиданно открылась очень утешительная подоплека. Лучше сразу сказать вам, что, после того что я сделал нынче вечером, я почувствовал: завтра вернусь к работе и она станет смелей, уверенней, но, может быть, еще и противоречивее, чем прежде. Часа два назад я просто еще раз перечитал старое письмо ко мне, вернее – целое послание, оставленное однажды утром после завтрака на моей тарелке. В тысяча девятьсот сороковом году и, если уж быть совсем точным, – под половинкой недоеденного грейпфрута. Через две-три минуты я испытала невыразимое (нет, «удовольствие» не то слово), невыразимое Нечто, переписывая дословно этот длинный меморандум. (О Живительная Желтуха! Не было еще для меня такой болезни – или такого горя, такой неудачи, которая в конце концов не расцветала бы, как цветок или чудесное послание. Надо только уметь ждать.) Как-то одиннадцатилетний Симор сказал по радио, что его любимое слово в Библии – «Бодрствуй». Но, прежде чем для ясности перейти к главной теме, мне надлежит обговорить кое-какие мелочи. Может быть, другой такой случай и не представится.

Кажется, я ни разу не упоминал – и это серьезное упущение, – что я имел обыкновение, вернее потребность, зачастую – надо или не надо – проверять на Симоре мои рассказы. То есть читать их ему вслух. Что я и делал *molto agitato*²⁹, после чего непременно объявлялось что-то вроде Передышки для всех без исключения. Я хочу этим сказать, что Симор никогда ничего не говорил, не высказывался сразу, после того как я умолкал. Вместо комментариев он минут пять-десять смотрел в потолок – обычно он слушал мое чтение, лежа на полу, – потом вставал, осторожно разминал затекшую ногу и выходил из комнаты. Позже – обычно через несколько часов, но случалось, и через несколько дней – он набрасывал две-три фразы на листке бумаги или на картонке, какие вкладывают в воротники рубаш, и оставлял эти записки на моей кровати или около моей салфетки на обеденном столе или же (очень редко) посылал по почте. Вот образцы его критических замечаний. Откровенно говоря, они сейчас нужны мне для разминки. Может быть, и не стоит в этом сознаваться, а впрочем – зачем скрывать?

Жутко, но очень точно. Голова Медузы, честь по чести.

Не знаю, как объяснить. Женщина показана прекрасно, но в образе художника явно угадывается твой любимец, тот, что писал портрет Анны Карениной в Италии. Сделано здорово, лучше не надо. Но разве у нас самих нет таких же мизантропов-художников?

По-моему, все надо переделать, Бадди. Доктор у тебя очень добрый, но не слишком ли поздно ты его полюбил? Во всей первой части рассказа он в тени, ждет, бедняга, когда же ты его полюбишь. А ведь он – твой главный герой. Ты же хотел, чтобы после душевного разговора с медсестрой он почувствовал раскаяние. Но тогда тут нужно было вложить религиозное чувство, а у тебя вышло что-то пуританское. Чувствуется, как ты его осуждаешь, когда он ругается в бога в душу мать. Мне кажется, это ни к чему. Когда он, твой герой, или Лес, или еще кто, Богом кля-

²⁹ Очень взволнованно (ит.; муз.).

нется, поминает имя божье всуе, так ведь это тоже что-то вроде наивного общения с Творцом, молитва, только в очень примитивной форме. И я вообще не верю, что Создатель признает само понятие «богохульство». Нет, это слово ханжеское, его попы придумали.

Сейчас мне очень стыдно. Я плохо слушал. Прости меня. С первой же фразы я как-то выключился. «Гэншоу проснулся с дикой головной болью». Я так настойчиво хочу, чтобы ты раз и навсегда покончил со всякими этими фальшивыми гэншоу. Нет таких гэншоу – и всё. Прочитай мне эту вещь еще раз, хорошо?

Прошу тебя, примиришься с собственным умом. Никуда тебе от него не деться. Если ты сам себя начнешь уговаривать отказаться от своих домыслов, выйдет так же неестественно и глупо, как если бы ты стал выкидывать свои прилагательные и наречия, потому что так тебе велел некий, профессор Б. А что он в этом понимает? И что ты сам понимаешь в работе собственного ума?

Сижу и рву свои записки к тебе. Все время выходят какие-то не те слова: «Эта вещь отлично построена» – или: «Очень смешно про женщину в грузовике!», «Чудный разговор двух полисменов на страже». Вот я и не знаю – как быть. Только ты начал читать, как мне стало как-то не по себе. Похоже на те рассказы, про которые твой смертельный враг Боб Б. говорит: «Потрясная повестушка!» Тебе не кажется, что он сказал бы, что ты «стоишь на верном пути?» И тебя это не мучает? Ведь даже то, смешное, про женщину в грузовике, совершенно не похоже на то, что ты сам считаешь смешным. А тут ты просто написал то, что, по-твоему, все считают смешным. И я чувствую: меня надули. Сердишься? Скажешь, что я пристрастен, оттого что мы с тобой – родные? Меня и это беспокоит. Но ведь я, кроме того, твой читатель. Так кто же ты: настоящий писатель или же автор «потрясных повестушек»? Не хочу я от тебя никаких повестушек. Хочу видеть всю твою *добычу*.

Последний твой рассказ не идет у меня из головы. Не знаю, что тебе сказать. Понимаю, как близка была опасность – впасть в сантименты. Ты смело обошел ее. Может, даже слишком смело. Не знаю, почему мне вдруг захотелось, чтобы ты хоть раз оступился. Можно мне рассказать тебе одну историю? Жил-был знаменитый музыкальный критик, признанный специалист по Вольфгангу Амадею Моцарту. Его дочурка училась в частной школе и участвовала в хоровом кружке, и этот большой знаток музыки был ужасно недоволен, когда девочка как-то пришла домой с подружкой и стала с ней репетировать всякие популярные песенки Ирвинга Берлина, Гарольда Арлена, Джерома Керна, словом, всяких модных композиторов. Почему же дети не поют простые прекрасные песни Шуберта вместо этой «дряни»? И он пошел к директору школы и устроил страшный скандал.

Конечно, на директора речь такого выдающегося критика произвела большое впечатление, и он обещал задать хорошую трепку учительнице пения, очень-очень старенькой даме. Почтенный любитель музыки ушел от директора в отличнейшем настроении. По дороге домой он вновь и вновь перебрал все блестящие аргументы, которыми он потряс директора школы, и настроение у него становилось все лучше и лучше. Он выпятил грудь. Он зашагал быстрее. Он стал насвистывать веселую песенку. А песня была такая: «Кэ-кэ-кэ-Кэти, // Ах, Кэ-кэ-кэ-Кэти!»

Теперь я прилагаю некий «меморандум» – письмо Симора. Предлагаю его с гордостью и опаской. С гордостью, потому что... Впрочем, умолчу... А с опаской, потому что, потому что вдруг мои коллеги по факультету – по большей части заматерелые старые шутники – вдруг подсмотрят, что я пишу, и я предчувствую, что этот вкладыш раньше или позже кто-нибудь из них опубликует под заголовком: «Старинный, девятнадцатилетней давности рецепт – Совет писателю и брату, выздоравливающему после гепатита, который сбился с пути и дальше идти не в силах». Да, тут от их шуточек не избавиться. (А я, кроме того, чувствую, что для таких дел у меня кишка тонка.)

Прежде всего мне сдается, что этот меморандум был самым пространным критическим отзывом Симора по поводу моих Литературных Опытов и, добавлю, его самым длинным письменным обращением ко мне, которое я получил от Симора за всю его жизнь. (Мы очень редко писали друг дружке, даже во время войны.) Написано это письмо карандашом на нескольких листах почтовой бумаги, которую наша мама «увела» из отеля «Бисмарк» в Чикаго, за несколько лет до того. Отзыв этот касался моей самоуверенной попытки – собрать все написанное мной до тех пор. Было это в 1940 году, и мы оба еще жили с родителями в довольно тесной квартирке в одном из восточных кварталов Семидесятой авеню. Мне шел двадцать второй год, и я чувствовал себя настолько независимо, насколько может себя чувствовать молодой, начинающий, еще не печатавшийся, совершенно «зеленый» автор. Симору же было двадцать три года, и он уже пятый год преподавал в одном из университетов Нью-Йорка. Вот этот его отзыв, полностью. (Представляю, что разборчивый читатель не раз почувствует неловкость, но самое худшее, по-моему, пройдет, когда он преодолеет обращение ко мне. По-моему, ежели это обращение меня самого не особенно смущает, то я не вижу причины, почему должны смущаться другие.)

Дорогой мой старый Спящий Тигр!

Не знаю, много ли на свете читателей, которые перелистывают рукопись в то время, как автор мирно похрапывает в той же комнате. Мне захотелось самому прочесть всю рукопись. На этот раз твой голос мне как-то мешал. По-моему, твоя проза и так настолько театральна, что этого твоим героям за глаза хватает. Столько надо тебе сказать, а с чего начать – не знаю.

Сегодня после обеда я написал целое письмо декану английского факультета, и, как ни странно, в основном это письмо как-то вышло в твоем стиле. Мне было так приятно, что захотелось тебе об этом рассказать. Прекрасное письмо! Чувствовал я себя так, как в ту субботу прошлой весной, когда я пошел слушать «Волшебную флейту» с Карлом и Эми, и они привели специально для меня очень странную девочку, а на мне был твой зеленый «вырви-глаз». Я тебя тогда не предупредил, что взял его.

(Он тут говорит про один из четырех, очень дорогих галстуков, которые я приобрел в тот сезон. Я *строго-настрого* запретил всем своим братьям, и особенно Симору, с которым у нас был общий платяной шкаф, даже прикасаться к ящику, где я прятал эти галстуки. И я специально хранил их в целлофановых мешочках.)

Но я никакой вины за собой не чувствовал за то, что на мне был этот галстук, только смертельно боялся, а вдруг ты появишься на сцене и увидишь в темноте, что я «позаимствовал» твой галстук. Но письмо – не галстук. Мне подумалось, что, если бы все было наоборот – и ты написал бы письмо в моем стиле, тебе было бы неприятно. А я просто выбросил это из головы. Есть одна штука на свете, не считая всего остального, которая меня особенно огорчает. Ведь я знаю, что ты расстраиваешься, когда Бу-Бу или Уэйкер говорят тебе, что ты разговариваешь совершенно, как я. Тебе кажется, что тебя как будто обвиняют в плагиате, и это удар по твоему самолюбию. Да разве так уж плохо, когда наши слова иногда похожи? Нас отделяет друг от друга такая тоненькая пленка. Стоит ли нам помнить, что чье? В то лето, два года назад, когда я так долго был в отъезде, я обнаружил, что ты, и З., и я уже были братьями, по крайней мере, в четырех воплощениях, а может и больше. Разве это не прекрасно? Разве для каждого из нас его личная неповторимая индивидуальность не начинается именно с той точки, где в высшей степени ощущается наша неоспоримая связь, и мы понимаем, что неизбежно будем занимать друг у друга остроты, таланты, дурачества. Как видишь, галстуки я сюда не включаю. И хотя галстуки Бадди – это галстуки Бадди, все-таки забавно брать их без спросу.

Наверно, тебе неприятно, что я думаю про галстуки и всякую чепуху, а не про твои рассказы.

Это не так. Просто я шарю где попало – ловлю свои мысли. Мне показалось, что все эти пустяки помогут мне собраться. Уже светает, а я сижу с тех пор, как ты лег спать. Какая благодать – быть твоим первым читателем. Но еще большей благодатью было бы не думать, что мое мнение ты почему-то ценишь больше, чем свое собственное. Ей-богу, мне кажется неправильным, что ты так безоговорочно считаешься с моим мнением о твоих рассказах. Вернее – о тебе

самом. Попробуй когда-нибудь меня опровергнуть, но я убежден, что такое положение создалось оттого, что я в чем-то очень, очень тебе напортил. Нет, я сейчас вовсе не мучаюсь из-за какой-то вины, но все же вина есть вина. От нее не уйдешь. Ее стереть невозможно. Уверен, что ее даже трудно понять как следует – слишком глубоко она ушла корнями в нашу личную, издавна накопившуюся Карму. И когда я это чувствую, то меня спасает только мысль, что чувство вины – только незавершенное познание. Но эта незавершенность вовсе ничему не препятствует. Трудно только извлечь пользу из чувства вины, прежде чем эта вина тебя не доконает. Лучше уж я поскорее напишу все, что я думаю про этот твой рассказ. У меня определенное ощущение, что, если я потороплюсь, чувство вины поможет мне и безусловно принесет настоящую, большую пользу. Честное слово, я так думаю. Я думаю, что если я напишу все сразу, то я наконец смогу сказать тебе то, что я хотел сказать годами.

Наверно, ты сам знаешь, что в этом рассказе много огромных скачков. Прыжков. Когда ты лег спать, я сначала хотел перебудить весь дом и закатить бал в честь нашего замечательного братца-прыгуна. Но почему же я побоялся всех разбудить? Сам не знаю. Наверно, я просто человек беспокойный. Беспокоюсь, когда слишком высоко прыгают у меня на глазах. Кажется, я даже во сне вижу, как и ты посмел прыгнуть в никуда, прочь от меня. Прости меня. Пишу ужасно быстро. Я считаю, что такого рассказа, как ты написал, тебе долго пришлось ждать. Да и мне в каком-то смысле тоже. Знаешь, больше всего мне мешает спать моя *гордость* за тебя. Вот откуда идет мое беспокойство. Ради тебя самого не заставляй меня гордиться тобой. Да, как будто я нашел правильное определение. Хоть бы ты больше никогда не мешал мне спать от гордости за тебя. Напиши такой рассказ, чтобы мне вдруг неизвестно почему расхотелось спать. *Не давай* мне спать часов до пяти, но только потому, что над тобой *уже взошли все звезды*. Прости за подчеркнутую строчку, но я впервые одобрительно киваю головой, говоря о твоих рассказах. Не заставляй меня еще как-то высказываться. Сейчас я подумал: если попросишь писателя – «пусть взойдут твои звезды», то уж дальше начнутся просто всякие литературные советы. А я сейчас убежден, что все «ценные» литературные советы похожи на то, как Максим Дюкамп и Луи Буйэ уговаривали Флобера написать «Мадам Бовари». Допустим, что они вдвоем, с их изысканнейшим литературным вкусом, заставили его написать этот шедевр. Но они убили в нем всякую возможность излить свою душу. Умер он знаменитым писателем, а ведь он никогда не был таким. Его письма читать невыносимо. Настолько они лучше, чем все, что он написал. В них звучит одно: «Зря, зря, зря». У меня сердце разрывается, когда я их перечитываю. Бадди, дорогой мой, боюсь говорить тебе сейчас что-нибудь, кроме банальностей, общих мест. Прошу тебя, верь себе, все ставь на карту. Ты так разозлился на меня, когда мы записывались в армию.

(За неделю до того мы, заодно с несколькими миллионами молодых американцев, записались в армию в помещении соседней школы. Я увидел, как он усмехнулся, подсмотрев, как я заполнил свою регистрационную карточку. По дороге домой Симор нипочем не хотел сказать мне, что его так насмешило. Вся наша семья знала: если он упрется, по каким-то своим соображениям, то из него ни за что слова не вытянешь.) А знаешь, почему я смеялся? Ты написал, что твоя профессия – писатель. Мне показалось, что такого прелестного эвфемизма я еще никогда не видел. Когда это литературное творчество было твоей профессией? Оно всегда было твоей *религией*. Всегда. Я сейчас даже взволновался. А раз творчество – твоя религия, знаешь, что тебя спросят на том свете? Впрочем, сначала скажу тебе, о чем тебя спрашивать не станут. Тебя не спросят, работал ли ты перед самой смертью над прекрасной задушевной вещью. Тебя не спросят, длинная ли была вещь или короткая, грустная или смешная, опубликована или нет. Тебя не спросят, был ли ты еще в полной форме, когда работал, или уже начал сдавать. Тебя даже не спросят, была ли эта вещь такой значительной для тебя, что ты продолжил бы работу над ней, даже зная, что умрешь, как только ее кончишь, – по-моему, так спросить могли бы только бедного Серена К.³⁰ А тебе задали бы только два вопроса: *настал ли твой звездный час? Старался ли ты писать от всего сердца? Вложил ли ты всю душу в свою работу?* Если бы ты знал, как легко тебе будет ответить на оба вопроса: да. Но, перед тем как сесть писать, надо, чтобы ты вспомнил,

³⁰ Имеется в виду Серен Кьеркегор. (Примеч. перев.)

что ты был *читателем* задолго до того, как стать писателем. Ты просто закрепи этот факт в своем сознании, сядь спокойно и спроси себя как читателя, какую вещь ты, Бадди Гласс, хотел бы прочитать больше всего на свете, если бы тебе предложили выбрать что-то по душе? И мне просто не верится, как жутко и вместе с тем как просто будет тогда сделать шаг, о котором я сейчас тебе напишу. Тебе надо будет сесть и без всякого стеснения самому написать такую вещь. Не буду подчеркивать эти слова. Слишком они значительны, чтобы их подчеркивать. Ах, Бадди, решись! Доверься своему сердцу. Ведь мастерством ты уже овладел. А сердце тебя не подведет. Спокойной ночи. Очень я взволнован и слишком все драматизирую, но, кажется, я отдал бы все на свете, чтобы ты написал *что-нибудь* – рассказ, стихи, дерево, что угодно, лишь бы это действительно было от всего сердца. В «Талии» идет фильм «Сыщик из банка». Давай завтра вечером соберем всю нашу братию и махнем в кино. С любовью С.

Дальше уже пишу я – Бадди. Гласс. (Кстати, Бадди Гласс – мой литературный псевдоним), *настоящая* моя фамилия – майор Джордж Фильдинг Анти-Развязкинд). Я и сам очень взволнован и драматически настроен, и мне хочется в горячем порыве дать обещание моему читателю, при встрече с ним завтрашним вечером, что встреча эта буквально будет звездной. Но думаю, что сейчас самое разумное – почистить зубы и лечь спать. И если вам было трудно читать записку моего брата, то не могу не пожаловаться, что перепечатывать ее для друзей было просто мучением. А сейчас я укрываю колени тем звездным небом, которое он подарил мне вместе с напутствием: "Скорее выздоравливай от гепатита – и от малодушия".

Не слишком ли будет преждевременно, если я расскажу читателю, чем я собираюсь его занять завтрашним вечером? Уже больше десяти лет я мечтаю, чтобы вопрос: «Как Выглядел Ваш Брат?» – был мне задан человеком, который не требовал бы непременно получить краткий, сжатый ответ на очень прямой вопрос. Короче говоря, мне больше всего хотелось бы прочитать, свернувшись в кресле, *что-нибудь, что угодно*, как мне рекомендовал мой признанный авторитет, а именно: полное описание внешности Симора, сделанное неторопливо, без дикой спешки, без желания отделаться от него, то есть прочесть главу, написанную, скажу без всякого стеснения, лично мной самим.

Его волосы так и разлетались по всей парикмахерской. (Уже настал Завтрашний Вечер, и я, само собой разумеется, сижу тут, в смокинге.) *Его волосы так и разлетались по всей парикмахерской.* Свят, свят, свят! И это называется вступлением! Неужели вся глава мало-помалу, очень постепенно, наполнится кукурузными пышками и яблочным пирогом? Возможно. Не хочется верить, но всё может случиться. А если я стану заниматься отбором деталей, то я все брошу к черту, еще до начала. Не могу я все сортировать, не могу заниматься канцелярщиной, когда пишу о нем. Могу только надеяться, что хоть *часть* этих строк будет достаточно осмысленной, но хоть *раз в жизни* не заставляйте меня рентгеноскопировать каждую фразу, не то я совсем брошу писать. А разлетающиеся волосы Симора мне сразу вспомнились как совершенно необходимая деталь. Стриглись мы обычно через одну радиопередачу, то есть каждые две недели, после школы. Парикмахерская на углу Бродвея и Сто восьмой улицы зеленела, угнездившись (хватит красота!) между китайским рестораником и кошерной гастрономической лавочкой. Если мы забывали съесть свой завтрак или, вернее, *теряли* наши бутерброды неизвестно где, мы иногда покупали центов на пятнадцать нарезанной саями или пару маринованных огурцов и съедали их в парикмахерских креслах, пока нас не начинали стричь. Парикмахеров звали Марио и Виктор. Уже немало лет прошло, и они оба, наверно, померли, объевшись чесноком, как и многие нью-йоркские парикмахеры. (Брось ты эти штучки, *слышишь*? Постарайся, пожалуйста, убить их в зародыше.) Наши кресла стояли рядом, и когда Марио кончал меня стричь, снимал салфетку и – начинал ее стряхивать, с нее летело больше Симоровых волос, чем моих. За всю мою жизнь мало что так меня бесило. Но пожаловался я только раз, и это было колоссальной ошибкой. Я что-то буркнул, очень ехидно, про его «подлые волосья», которые все время летят на меня. Сказал – и тут же раскаялся. А он ничего не ответил, но тут же из-за этого *огорчился*. Мы шли домой, молчали, переходя улицы, а он расстраивался все больше и больше. Видно, придумывал,

как сделать, чтобы в парикмахерской его волосы не падали на брата. А когда мы дошли до Сто десятой улицы, то весь длинный пролет от Бродвея до нашего дома Симор прошел в такой тоске, что даже трудно себе представить, чтобы кто-то из нашей семьи мог так надолго упасть духом, даже если бы на то была Важная Причина, как у Симора. На этот вечер хватит. Я очень вымотался.

Добавлю одно. Чего я *хочу* (разрядка везде моя), добиться в описании его внешности? Более того, что именно я *хочу сделать*? Хочу ли я отдать это описание в журнал? Да, хочу. И напечатать хочу. Но дело-то не в этом: печататься я *хочу всегда*. Тут дело больше в том, как я хочу переслать этот материал в журнал. Фактически, это главное. Кажется, я знаю. Да, я хорошо знаю, что я это *знаю*. Я хочу переслать словесный портрет Симора не в толстом конверте и не заказным. Если портрет будет верный, то мне придется только дать ему мелочь на билет, может быть, завернуть на дорогу бутербродик, налить в термос чего-нибудь горячего – вот и хватит. А соседям по купе придется малость потесниться, отодвинуться от него, будто он чуть-чуть навеселе. Вот блестящая мысль! Пускай по этому описанию покажется, что он чуть-чуть пьян. Но почему мне кажется, что он чуточку пьян? По-моему, именно таким кажется человек, которого ты очень любишь, а он вдруг входит к тебе на террасу, расплываясь в широкой-широкой улыбке, после трех труднейших теннисных сетов, выигранных сетов, и спрашивает: видел ли ты его последнюю подачу? Да. Oui³¹.

Снова вечер. Помни, что тебя будут читать. Расскажи читателю, где ты сейчас. Будь с ним мил, – *кто его знает...* Конечно, конечно. Да, я сейчас у себя, в зимнем саду, позвонил, чтобы мне принесли портвейн, и сейчас его подаст наш добрый старый дворецкий – очень интеллигентный, дородный, вылощенный Мыш, который съедает подчистую все, что есть в доме, кроме экзаменационных работ.

Вернусь к описанию волос Симора, раз уж они залетели на эти страницы. До того как, примерно лет в девятнадцать, волосы у Симора стали вылезать целыми прядями, они были жесткие, черные и довольно круто вились. Можно было бы сказать «кудрявые», но если бы понадобилось, я так бы и сказал. Они вызывали непреодолимое желание подергать их, и как их вечно дергали! Все младенцы в нашем семействе сразу вцеплялись в них даже прежде, чем схватить Симора за нос, а нос у него был, даю слово, Выдающийся. Но давайте по порядку. Да, он был очень волосат, и взрослым, и юношей, и подростком. Все наши дети, и не только мальчишки, а их у нас было много, были очарованы его волосатыми запястьями и предплечьями. Мой одиннадцатилетний брат Уолт постоянно глазел на руки Симора и просил его снять свитер: "Эй, Симор, давай снимай свитер, тут ведь *жарко*". И Симор ему улыбался, озарял его улыбкой. Ему нравились эти ребячьи выходки. Мне – тоже, но далеко не всегда. А ему – всегда. Казалось, он даже в самых бестактных, самых бесцеремонных замечаниях младших ребят черпал какое-то удовольствие, даже силу. Сейчас, в 1959 году, когда до меня доходят слухи о довольно огорчительном поведении моей младшей сестрицы и братца, я стараюсь вспомнить, сколько радости они приносили Симору. Помню, как Фрэнни, когда ей было года четыре, сидя у него на коленях, сказала, глядя на него с нескрываемым восхищением: "Симор, у тебя зубки такие красивые, *желтенькие*". Он буквально бросился ко мне, чтобы спросить – слышал я или нет.

В последнем абзаце меня вдруг обдала холодом одна мысль: почему меня так редко забавляли выходки наших ребят? Наверно, оттого, что со мной они обычно проделывали злые шутки. Может быть, я и заслужил такое отношение. Я себя спрашиваю: знает ли мой читатель, что такое огромная семья? И еще: не надоедят ли ему мои рассуждения по этому поводу? Скажу хотя бы вот что: если ты старший брат в большой семье (особенно, когда между тобой и младшим существует разница в восемнадцать лет, как между Симором и Фрэнни), то либо ты сам берешь на себя роль наставника, ментора, или тебе ее навязывают, и существует опасность стать для детей чем-то вроде настырного гувернера. Но даже гувернеры бывают разной породы, разных мастей.

³¹ Да (фр.).

Например, когда Симор говорил близнецам, или Зуи, или Фрэнни, или даже мадам Бу-Бу (а она всего на два года моложе меня и тогда уже стала совсем барышней), что надо снять калоши, когдаходишь в дом, то каждый поймет его слова в том смысле, что иначе нанесешь грязь и Бесси придется возиться с тряпкой. А когда им то же самое говорил я, они считали, будто я *намекал*, что тот, кто не снимает калоши, – грязнуля, неряха. Поэтому они и дразнили, и высмеивали нас с Симором по-разному. Признаюсь с тяжелым вздохом: что-то слишком заискивающе звучат эти Честные, Искренние признания. А что прикажете делать? Неужели надо бросать работу каждый раз, как только в моих строчках зазвучит голос этакого Честного Малого? Неужто мне нельзя надеяться, что читатель поймет: разве я стал бы принижать себя – в частности, подчеркивать, какой я негодный воспитатель, – если бы не был твердо уверен, что моя семья ко мне относилась более чем прохладно? Может быть, полезно напомнить вам, сколько мне лет? Я сорокалетний, седоватый писака, с довольно внушительным брюшком и довольно твердо уверенный, что мне уже никогда больше не придется швырять оземь свою серебряную ложку в обиду на то, что меня в этом году не включили в состав баскетбольной команды или не послали на военную подготовку оттого, что я плохо умею отдавать честь. Да и вообще, всякая откровенная исповедь всегда пахнет гордостью: пишущий гордится тем, как он здорово преодолел свою гордость. Главное, надо уметь в такой публичной исповеди подслушать именно то, о чем исповедующийся умолчал. В какой-то период жизни (к сожалению, обычно в период *успехов*) человек может Почувствовать В Себе Силу. Сознаться, что он сжульничал на выпускных экзаменах... А может, настолько разоткровенничается, что сообщит, как с двадцати двух до двадцати четырех лет он был импотентом; но сами по себе эти мужественные признания вовсе не гарантируют, что мы когда-нибудь узнаем, как он разозлился на своего ручного хомячка и наступил на него. Простите, что я вдаюсь в такие мелочи, но тут я беспокоюсь не зря. Пишу я о единственном знакомом мне человеке, которого я, по своему критерию, считал действительно выдающимся, – он – единственный по-настоящему *большой* человек из всех, который никогда не внушал мне подозрения, что где-то, втайне, у него внутри, как в шкафу, набито противное, скучное мелкое тщеславие. Мне становится нехорошо и, по правде говоря, как-то жутко при одной только мысли, что я могу невольно затмить Симора на этих страницах своим личным обаянием. Простите меня, пожалуйста, за эти слова, но не все читатели достаточно опытные. (Когда Симору шел двадцать второй год и он уже два года преподавал, я спросил его, что его особенно угнетает в этой работе – если вообще что-то его угнетает. Он сказал, что по-настоящему его *ничто* не угнетает, но есть одна вещь, которая как-то пугает его: ему становится не по себе, когда он читает карандашные заметки на полях книг из университетской библиотеки.) Сейчас я объясню. Не все читатели, повторяю, достаточно опытные, а мне говорили – критики ведь говорят нам *всё*, и самое худшее прежде всего, – что во многом я как писатель обладаю некоторым поверхностным шармом. Я искренне боюсь, что есть и такие читатели, которые подумают, что с моей стороны было очень мило дожить до сорока лет; то есть не быть таким «эгоистом», как *Тот Другой*, и не покончить с собой, оставив Свою Любящую Семью на мели. (Я обещал исчерпать эту тему, но, пожалуй, до конца все выкладывать не стану. И не только потому, что я не такой железный человек, каким полагается быть, но потому, что, говоря об этом, мне пришлось бы коснуться (о господи – *коснуться!*) – подробностей его самоубийства, а судя по теперешнему моему состоянию, я не смогу об этом говорить еще много лет.)

Перед тем как лечь спать, скажу вам еще только одно, и мне кажется, что это очень существенно. И я буду очень благодарен, если все честно постараются не считать, что я «поздно спохватился». Хочу сказать, что я могу привести убедительнейшие доказательства того, что сейчас, когда я пишу эти страницы, мой возраст – сорок лет – является и огромным преимуществом, и в то же время огромным недостатком. Симору шел тридцать второй год, когда он умер. Даже довести его жизнеописание до этого далеко не преклонного возраста потребует у меня, при моем темпе работы, много-много месяцев, если не лет. Сейчас вы его увидите ребенком и мальчиком (только, ради Бога, не *малышом*), и там, где я сам появляюсь в этой книге рядом с ним, я тоже ребенок, тоже мальчик. Но вместе с тем я все время чувствую, да и читатель это ощущает, хотя и не так пристрасно, что сейчас заправляет всем этим рассказом довольно пугатый и далеко не

юный тип. С моей точки зрения эта мысль ничуть не печальнее, чем все факты, касающиеся жизни и смерти, но и ничуть не веселее. Конечно, вам придется поверить мне на слово, но должен вам сказать, что я твердо знаю одно: если бы мы поменялись местами и Симор сейчас сидел бы за столом вместо меня, он был бы так огорошен, вернее, так потрясен своим старшинством и ролью рассказчика и официального рефери³², что он бросил бы всю эту затею. Больше я об этом, конечно, говорить не стану, но я рад, что пришлось к слову. Это правда. Пожалуйста, постарайтесь не просто *понять*; прочувствуйте мои слова.

Кажется, я в конце концов не лягу спать. Кто-то «зарезал сон»³³. Молодец!

Резкий, неприятный голос (говорит не м о й читатель): «Вы обещали рассказать нам, Как Выглядел Ваш Брат. Не нужен нам этот Ваш треклятый психоанализ, вся эта тягомотина». А мне нужна. Нужен каждый слог этой «тягомотины». Могу, конечно, не вдаваться так глубоко в анализ, но, повторяю, мне нужен каждый слог этой «тягомотины». И если я молю судьбу, чтобы мне до конца довести это дело, то помочь мне в этом может только «вся эта тягомотина».

Думаю, что мне удастся описать, как он выглядел, как держался и вел себя (словом, всю эту петрушку) в любой момент его жизни (кроме того времени, когда он был в Европе), и создать верный *образ*. Нет, это вовсе не оговорка. Портрет будет точный. (Где же, когда же мне придется объяснять читателю – если только буду писать дальше, – какой памятью, каким огромным запасом воспоминаний обладали некоторые члены нашей семьи – Симор, Зуи, я сам. Нельзя до бесконечности откладывать это дело, но не покажется ли такая откровенность в печати чем-то уродливым?) Мне очень помогло бы, если бы какая-нибудь добрая душа прислала мне телеграмму, где было бы уточнено – о каком именно Симоре ему хотелось бы от меня услышать. Если меня попросят просто описать *Симора*, то есть Симора *вообще*, я мог бы несомненно дать довольно живой портрет, но передо мной Симор появляется одновременно и в восемь, и в восемнадцать, и в двадцать восемь лет, кудрявый – и уже сильно лысеющий, в красных полосатых шортах скаута из летнего лагеря – и в мятой защитной гимнастерке с сержантскими нашивками, и сидит он то в позе «падмасана»³⁴, то на балконе кино, на Восемьдесят шестой улице. Чувствую, как мне угрожает именно такой стиль описания, а мне он не нравится. И прежде всего потому, что и Симор был бы, как мне кажется, недоволен. Тяжко, если твой Герой одновременно и твой «шер мэтр»³⁵. Впрочем, он, быть может, и не очень расстроился бы, если б я, проконсультировавшись со своим внутренним чутьем, постарался бы изобразить его внешность в стиле, так сказать, литературного кубизма. Да и вообще вряд ли он стал бы расстраиваться, пиши я про него только петитом, – если мне так подскажет мое внутреннее чутье. Я-то сам в данном случае не возражал бы против какой-то формы кубизма, но вся моя интуиция подсказывает мне, что с этим надо бороться всеми своими мелкобуржуазными силеньками. В общем, лучше сначала выспаться. Спокойной ночи. Спокойной ночи, миссис Калабаш. Спокойной ночи, Растреклятый Литпортрет.

Так как мне самому рассказывать довольно трудно, то сегодня утром на лекции я решил (уставившись, хотя и неловко признаться, на невероятно стройные «топтушки» некой мисс Вальдемар), что истинная учтивость требует предоставить слово моим родителям, а кому же в первую очередь, как не самой Праматери? Однако тут это весьма и весьма рискованно. И если от избытка чувств человек не станет вруном, то его наверняка подведет его отвратительная память. Например, Бесси всегда считала главной особенностью Симора его высокий рост. Ей казалось, что у него необычайно длинные руки и ноги, как у ковбоя, и что он, входя в комнату, всегда пригибает голову. А на самом деле в нем было что-то около пяти с половиной футов, и при совре-

³² Рефери — судья на спортивных состязаниях. (Примеч. перев.)

³³ Цитата из Шекспира: «Гламис зарезал сон, зато теперь не будет спать его убийца Макбет». (Примеч. перев.)

³⁴ Лотоса.

³⁵ Дорогой учитель (фр.).

менных «витаминизированных» стандартах он был совсем невысок. Ему это даже нравилось. Он за ростом не гонялся. А когда наши близнецы вымахнули на шесть футов с лишним, я даже подумывал – не пошлет ли он им открыточку с соболезнаванием. Наверно, будь он сейчас жив, он бы сиял улыбкой, видя, что Зуи, актер по профессии, роста небольшого. Он, С., всегда был твердо уверен, что центр тяжести у актера должен быть расположен невысоко.

Впрочем, некрасиво писать «сиял улыбкой». Вот теперь он у меня так и будет непрестанно ухмыляться. Как было бы чудесно, если бы на моем месте сейчас сидел серьезный писатель. Когда я стал писать, я первым делом поклялся, что сразу приторможу своих героев, посмей они только Усмехнуться или Улыбнуться: («Жаклин усмехнулась», «Ленивый толстый Брюс Браунинг кисло улыбнулся», «Обветренное лицо капитана Миттагэссена озарилось мальчишеской улыбкой»). Но сейчас мне никак от этого не отвязаться. Лучше уж сразу покончить с этим делом: по-моему, у Симора была очень-очень славная улыбка, особенно для человека с довольно неважными, даже плохими зубами. Однако его манеру улыбаться мне не так уж трудно описать. Улыбка то появлялась, то исчезала на его лице, без всякой связи с улыбками всех окружающих, а то и наперекор им. И его улыбки даже в нашей нестандартной семье всегда казались неожиданными. Симор мог, например, сидеть с серьезным, чтобы не сказать, похоронным лицом, когда маленький именинник тушил свечи на своем именинном пироге. А с другой стороны, он мог весь просиять от восторга, когда кто-то из младших ребят показывал ему, как он или она раскрывали себе плечо, заплывая под лодку. Мне кажется, что светская улыбка ему вообще была несвойственна, и все же, говоря точно (хотя, быть может, несколько пристрастно), любое выражение его лица казалось вполне естественным. Конечно, его «улыбка-над-расцарапанным-плечом» могла взбесить тебя, если царапина досталась именно *твоему* плечу, но эта улыбка могла и отвлечь тебя, если это было нужно. И его мрачная мина почти никогда не портила настроения на веселых именинах или других сборищах, так же как его ухмылки на всяких конфирмациях или бармицах³⁶. Думаю, что в моих словах нет никакой родственной предвзятости. Люди, которые либо совсем его не знали или знали мало, может быть, только как участника или бывшего вундеркинда радиопрограммы, иногда тоже *терялись* от неподобающего выражения, вернее – отсутствия подходящего выражения на его лице, но, по-моему, только на минуту-другую. И по большей части эти «жертвы» ощущали что-то вроде приятного любопытства – и ничуть, насколько мне помнится, на него не обижались и не ершились. А причина тут была самая простая: полное отсутствие у него всякого притворства. А когда он совсем возмужал – и тут я уже говорю как пристрастный брат, – не было во всем центре Нью-Йорка взрослого человека с более искренним беззащитным выражением лица. Только в те разы, когда он нарочно хотел позабавить кого-нибудь из наших родных, я вспоминаю, как он притворялся, играл. Однако так бывало далеко не каждый день. В общем, надо сказать, что для него Юмор был не такой расхожей валютой, чего об остальных членах нашего семейства никак не скажешь. Нет, я вовсе не хочу сказать, что юмор ему совсем не был свойствен, но пользовался он им обычно очень умеренно, так сказать, небольшими порциями. Стандартный Семейный Юмор, особенно в отсутствие нашего отца, всегда был его обязанностью, и он выполнял эту роль с большим достоинством.

Для понятности приведу пример: когда я ему читал вслух свои рассказы, он неизменно прерывал меня посреди чтения, даже посреди диалога и спрашивал: понимаю ли я, как я хорошо слышу и передаю *ритм* и *звучание* повседневной речи? И при этом он с особым удовольствием делал умное лицо.

Теперь поговорим о его *ушах*. Фактически я вам продемонстрирую почти стертый короткометражный фильм, как моя одиннадцатилетняя сестренка Бу-Бу вдруг в порыве восторга вскакивает из-за стола, мчится вон и, вернувшись, нацепляет Симору на оба уха металлические кольца, вытасканные из настольного календаря. Она была ужасно довольна результатом опыта. А Симор не снимал эти «серьги» весь вечер, должно быть до тех пор, пока они ему не натерли уши до крови. Но они ему не шли. К сожалению, уши у него были не пиратские, а скорее похожи на уши старого каббалиста или престарелого Будды. Мочки были уж очень мясистые и длинные.

³⁶ Конфирмации и бармицы — католические и еврейские праздники совершеннолетия. (Примеч. перев.)

Помню, как падре Уэйкер, приехав в мой городок в своей жаркой черной сутане несколько лет назад, спросил меня – я в это время решал кроссворд из «Таймса», – не кажется ли мне, что у Симора уши были характерными для искусства династии Тан?

Я лично отнес бы их к более раннему периоду.

Надо лечь спать. Выпить бы рюмочку на ночь в библиотеке с полковником Эстраттером – потом в постель. Ох почему это описание меня так изматывает? Руки потеют, под ложечкой сосет. Тут уж никак не назовешь меня Цельным Человеком.

Кажется, я склоняюсь к тому, чтобы, кроме глаз и, возможно (подчеркиваю: *возможно*), носа, обойти все остальные черты лица Симора. К черту все эти Исчерпывающие Описания. Я не вынес бы, если б меня обвинили, что я ничего не дал *додумать* самому читателю.

В двух отношениях – их определить нетрудно – глаза Симора походили и на мои глаза, и на глаза Леса, и Бу-Бу: а) во-первых, наши глаза можно было бы, хотя это и не совсем ловко, уподобить по цвету очень крепкому бульону или назвать их Грустными Карими Библейскими Глазами и б) у всех нас под глазами были синие круги, а иногда и ясно выраженные мешки. Но тут всякое семейное сходство кончается. Конечно, по отношению к нашим дамам это не совсем галантно, но если бы спросили мое мнение, чьи глаза в нашей семье «красивее всех», я проголосовал бы за Симора и Зуи. А между тем их глаза были совершенно непохожи, и не только по цвету. Несколько лет тому назад я напечатал невероятно Жуткий, Напряженный, очень противоречивый и никому не понравившийся рассказ об «одаренном» мальчике – пассажире трансатлантического парохода, и там, в самом начале, были описаны его глаза. По счастливому совпадению, у меня в данный момент есть при себе экземпляр этого рассказа, элегантно приколотый к отвороту моего халата. Цитирую:...он вопросительно взглянул на отца светло-карими, удивительно чистыми глазами. Они вовсе не были огромными и слегка косили, особенно левый. Не то чтобы это казалось изьяном или было слишком заметно. Упомянуть об этом можно разве что вскользь, да и то лишь потому, что, глядя на них, вы бы всерьез и надолго задумались: а лучше ли было бы в самом деле, будь они у него, скажем, без косинки, или глубже посажены, или темнее, или расставлены пошире... (Может быть, остановиться на минутку, перевести дыхание, что ли.) Но на самом-то деле (честное слово, никакого «Ха-ха!» тут нет и в помине!) у мальчика были *совершенно* не такие глаза. У Симора глаза были темные, очень большие, очень широко расставленные и, уж конечно, ничуть не косоватые. Но, по крайней мере, двое моих родичей уверяли меня, что я в рассказе как-то хотел *задеть* Симора, и, как ни странно, мне это удалось. А на самом деле у него на глаза то и дело набегала какая-то тень, вроде прозрачной паутины, – то появится, то пропадет, но только никакой «паутины» тут не было, и я, как видно, совсем запутался. Кстати, другой писатель, тоже любитель пошутить, – Шопенгауэр, – где-то в своей веселенькой книжке тоже пытался описать похожие глаза, и тоже, к моей великой радости, попал в совершенно такой же переплет.

Ладно. *Нос*. Утешаю себя – будет больно только секунду.

Если когда-нибудь между 1919 и 1948 годами вы зашли бы в переполненную комнату, где находились мы с Симором, то по одному, но вполне надежному, признаку можно было бы сразу определить, что мы с ним – братья. Стоило только взглянуть на наши носы и подбородки. Впрочем, описание подбородков можно отбросить сразу, одним махом; просто сказать, что их у нас почти что не было. Носы, однако, у нас явно *были*, да еще какие, и почти что одинаковые: две большие мясистые выдающиеся трубообразные штуки, совершенно непохожие на носы всего нашего семейства, кроме слишком явного сходства с носом нашего милого старого прадедушки – клоуна Зозо, чей нос на одной старой фотографии так торчал, что я в раннем детстве его порядком побаивался. (Кстати, вспоминаю, что Симор, который никогда, как бы это сказать, не острил на анатомические темы, однажды очень удивил меня своими размышлениями насчет того, как мы с нашими носами – моим, его и прадедушки Зозо, – справляемся с такой же проблемой, какая смущает некоторых бородачей – то есть кладем ли мы нос во сне *поверх* одеяла или *под* него?) Может показаться, что я слишком легковесно про это рассказываю. Хочу сразу уточ-

нить — даже если это покажется обидным, — что наши носы никак не походили на романтическое украшение Сирано де Бержерака. (И вообще, это, по-моему, довольно щекотливая тема в нашем прекрасном новом психоаналитическом мире, где, конечно, каждый знает, что появилось сперва — нос Сирано или его дерзкие остроты, в том мире, где прочно укрепился некий, так сказать, интернациональный заговор молчания насчет всех длинноносых парней, которые сами, безусловно, не страдают болтливостью.) Мне думается, что, кроме общего сходства наших с Симором носов, во всем, что касается длины, ширины и формы, стоит упомянуть и о том, что у Симора, как ни больно об этом говорить, нос был довольно заметно начиная с переносицы свернут вбок, на правую сторону. Симор всегда подозревал, что мой нос по сравнению с его носом казался просто благородным. Этот «загиб» появился после того, как кто-то из нашей семьи, для практики, мечтательно размахивал бейсбольной битой в холле нашей старой квартиры на Риверсайд-Драйв. Нос Симора после этого так и не выправили.

Ура! С носами покончено. Ложусь спать.

Никак не осмелюсь перечитать все написанное до сих пор; мой застарелый писательский кошмар — а вдруг, как только пробьет полночь, я сам превращусь в использованную ленту для машинки — сейчас особенно навязчив. Впрочем, меня утешает мысль, что на портрете, предложенном читателю, изображен отнюдь не «Арабский шейх» из «Тысячи и одной ночи». Прошу мне поверить — это именно так. Но в то же время не надо, из-за моего дурацкого неумения и необузданности, делать вывод, что С. был, по скучному и пошлому определению, «Некрасив, но Обаятелен». (Во всяком случае, это очень подозрительное клише, и чаще всего им пользуются некие живые или выдуманные дамочки, чтобы оправдать свои довольно странные увлечения такими неопишимо сладкогласными демонами или, выражаясь мягче, дурно воспитанными лебедями.)

И надо еще раз вдолбить читателю, по-моему, я только это и делаю, — словом, надо подчеркнуть, что мы оба, хотя и по-разному, были явно «некрасивыми» мальчиками. Господи, до чего мы были некрасивы! И хотя, могу честно сказать, что с годами мы «значительно похорошели», когда наши лица «как-то округлились», все же я должен еще и еще раз сказать, что и в детстве, и в отрочестве, и в юности при виде нас многие даже очень тактичные люди явно вздрагивали от жалости. Конечно, я говорю о взрослых, а не о других детях. Детей, особенно маленьких, разжалобить не так легко — во всяком случае, не такими вещами. С другой стороны, многие ребята особым великодушием не страдают. Бывало, на детских вечеринках чья-нибудь особо добросердечная мамаша предлагала сыграть в «Почту» или во «Флирт цветов», и могу честно подтвердить, что оба старших глассовских мальчика были матерыми получателями целых мешков обидных писем «неизвестному адресату» (весьма нелогичное, но выразительное название), если только почтальоном не была девчонка по кличке «Шарлотка-идиотка», а она, кстати, и была немножко чокнутая. А было ли нам обидно? Было нам больно или нет? (*Подумай как следует, на то ты и писатель.*) Отвечаю обдуманно и не торопясь: нет, почти никогда. Насколько помнится, я лично не обижался по трем причинам. Во-первых, не считая каких-то кратких минут сомнения, я все детские годы безоговорочно верил — отчасти благодаря утверждениям Симора, что я — очаровательный малый и необыкновенно талантлив, а если я кому-то не нравлюсь, значит, вкус у него дурной и он сам не стоит внимания. Во-вторых (надеюсь, у вас-то хватит терпения выдержать то, что я скажу, хотя я сильно сомневаюсь), уже с пяти лет я был твердо убежден, что непременно исполнится моя голубая мечта стать знаменитым писателем. И в-третьих, за очень редкими исключениями, но неуклонно, всем сердцем, я втайне гордился и радовался, что я похож на Симора. Симор, разумеется, как всегда, относился к себе по-другому. То он очень огорчался своей смешной внешностью, то не обращал никакого внимания. А когда он огорчался, то скорее всего не из-за себя, а из-за других. Главным образом я имею в виду нашу сестрицу Бу-Бу. Симор ее обожал. Вообще особого значения это не имело, он всю нашу семью обожал, да и многих других людей тоже. Но, как и все мои знакомые девочки, Бу-Бу прошла через — к счастью — очень недолгий период жизни, когда она по меньшей мере раза два в день «обмирала» из-

за того, что кто-нибудь из «взрослых» делал какой-нибудь «фоп» или «гаффу»³⁷. Кульминационной точкой был тот случай, когда любимая учительница истории вошла в класс после ленча с кусочком яблочной шарлотки, прилипшей к щеке, – тут уж Бу-Бу по-настоящему «увяла» и «обмерла» на своей парте. Но домой она являлась в таком «обмирающем» виде из-за совершенных пустяков, и это беспокоило и огорчало Симора больше всего. Особенно он беспокоился за нее, когда взрослые подходили к нам (ко мне или к нему) в гостях или еще где-нибудь и говорили, как мы сегодня «мило выглядим». Замечания в этом роде бывали разные, но Бу-Бу почему-то всегда оказывалась где-то поблизости и каждую минуту ждала повода что-то услышать и «обмереть».

Может быть, меня мало беспокоит, что моя попытка дать представление о его лице – его *внешнем* образе – пойдет ко дну. Охотно соглашусь, что мой подход к созданию портрета Симора, в общем, далек от совершенства. Быть может, я и перестарался, описывая всякие подробности. Например, я вдавался в описание почти каждой черты его лица, но пока что ни слова не сказал о том, какая *жизнь* в них отражалась. Именно эти мысли меня страшно угнетают. Но, даже когда я так подавлен и отчаяние захлестывает, одно только не дает мне пойти ко дну – твердая уверенность, что я выплыву. Впрочем, «уверенность» – не то слово. Скорее похоже, что я надеюсь получить приз «лучшего любителя самобичевания» или диплом за повышенную выносливость. А я просто *все знаю*, как редактор своих прежних неудачных попыток: в течение одиннадцати лет я пытался описать Симора, и только теперь я понял, что любое умолчание тут противопоказано. Более того: начиная с 1948 года я написал – и демонстративно предал сожжению – больше десятка очерков и рассказиков, очень недурных и вполне увлекательных, хотя мне не следовало бы так хвалить самого себя. И все это был не Симор. Только попробуй чего-то про него *недоговорить* – и все *переродится*, обернется ложью. Может быть, даже художественной ложью, иногда даже прелестной ложью, но – *ложью*.

Надо бы еще посидеть часок-другой. *Эй, тюремщик, проследи, чтобы этот тип не лег спать!*

Ведь, в общем, он вовсе не походил на какую-то химеру. Руки, например, у него были чудесные. Не хочется сказать «красивые», чтобы не впасть в отвратительный штамп «красивые руки». Ладони широкие, мускул между большим и указательным пальцем очень развит, неожиданно «крепок» (к чему тут кавычки? Да не напрягайся ты, Бога ради!) – и все же пальцы у него были даже длиннее и тоньше, чем у Бесси, так что средние пальцы хотелось измерить сантиметром.

Задумался над последним абзацем. Вернее, над тем, с каким внутренним восхищением я это написал. До какого предела, спрашиваю я себя, брату позволено восхищаться руками старшего брата, чтобы кто-то из современных умников не приподнял брови? «Был я молод, папа Уильям»³⁸ и всегда во всех кругах, к которым я принадлежал, много болтали о моей нормальной гетеросексуальности (не считая некоторых, если можно сказать, перерывов). А сейчас, может быть, чуть-чуть насмешливей, чем следует, я вспоминаю, как Софья Толстая во время супружеских, не сомневаюсь, вполне оправданных ссор, обвиняла отца своих тринадцати детей, пожилого человека, по-прежнему докучавшего ей каждую ночь их совместной жизни, что у него есть «гомосексуальные наклонности». Но я считаю Софью Толстую поразительно неинтересной женщиной, да и по своей конституции я так устроен, что каждый мой атом подсказывает мне, что чаще нет дыма без клубничного желе, а вовсе не «без огня». Но я твердо уверен, что в любом, хорошем, дурном или даже будущем прозаике, заложено – и безусловно – что-то «андрогинное». И мне думается, что если такой писатель похихикивает над братьями по перу, на которых он мысленно видит женскую юбку, то ему самому грозит вечная погибель. Больше я на эту тему распространяться не стану. Именно такая доверительность легко может вызвать всякие Смачные Кривотолки. Удивительно, что мы в наших книгах иногда еще способны расхрабрить-

³⁷ От *faux-pas* — ложный шаг, от *gaffe* — промах (фр.).

³⁸ Цитата из «Алисы в Стране Чудес». (Примеч. перев.)

ся.

О голосе Симора, его невероятном голосовом аппарате сейчас распространяться не буду. Во-первых, тут не место подробно об этом говорить. Скажу пока что своим собственным Таинственным (и не очень приятным) Голосом, что его голос для меня был тем наилучшим, хоть и никак не совершенным музыкальным инструментом, который я мог слушать часами. Но, повторяю, сейчас я хотел бы отложить полное описание этого инструмента.

Кожа у Симора была смуглой, но ничуть не темной, не болезненной и всегда удивительно чистой. Даже в мальчишеском возрасте у него никогда не было ни единого прыщика, хотя мы с ним вечно ели одну и ту же дрянь с лотков – то, что наша мама называла Антисанитарной Стряпней Людей, Которые Даже Никогда Не Моют Руки, – да и пил он столько же содовой воды, сколько и я, и, конечно, купался не чаще меня. По правде сказать, он ванну принимал даже реже меня. Но он так следил, чтобы все наши ребята – особенно близнецы – регулярно купались, что часто пропускал свою очередь. Тут, может быть, не совсем кстати, придется опять затронуть тему «парикмахерская». Как-то под вечер, когда мы с ним шли стричься, он остановился прямо посреди мостовой на Амстердам-авеню и спросил меня очень серьезно, пока с обеих сторон на нас мчались машины и грузовики, не хочу ли я пойти стричься без него. Я перетащил его на обочину (хоть бы мне платили по пятицентовику за каждую обочину, на которую я его оттаскивал, – и мальчишкой и взрослым) и сказал, что я, *конечно*, не хочу. Ему показалось, что у него грязная шея. Вот он и решил, что Виктору, нашему парикмахеру, будет противно смотреть на его грязную шею. Откровенно говоря, на этот раз шея у него и вправду была грязная. И тут, как часто бывало, он, оттягивая пальцем воротник, попросил меня взглянуть на его шею. Обычно этот район вполне отвечал всем санитарным требованиям, но уж если нет, так определенно – *нет*.

Пойду спать, давно пора.

Староста Женского общежития – очень милая особа – с раннего утра придет пылесосить мое жилье.

Жуткая тема – «одежда» – тоже должна где-то найти себе место. Как удивительно удобно было бы писателям, если б они могли позволить себе описывать костюмы своих персонажей вещь за вещью, складку за складкой. Что же нас останавливает? Скорее всего, желание оставить читателя, которого мы и в глаза не видели, в полном неведении либо из-за того, что мы считаем его не таким знатоком людей и нравов, как мы сами, либо оттого, что нам не хочется признать, что он-то прекрасно, а может, и лучше нас, понимает все до мельчайших подробностей. Например, когда я сижу у своего педикюрщика и случайно вижу в журнале «Соглядатай» фото какого-нибудь преуспевающего американца: киноактера, политического деятеля, недавно назначенного ректора университета – и у этого деятеля на стенке – Пикассо, у ног – бигль³⁹, а на нем самом – английская домашняя куртка с поясом, я очень ласково отнесусь к собачке, вежливо – к Пикассо, но буду совершенно нетерпим, если речь пойдет об английских куртках на американских знаменитостях. А уж если мне эта личность вообще не очень понравится, то куртка свое добавит, и я наверняка сделаю вывод, что у этой личности кругозор так дьявольски быстро расширяется, что мне это не по душе.

Но продолжаем. С возрастом и Симор, и я стали, каждый по-своему, довольно нелепо одеваться. Немного странно (впрочем, пожалуй, не очень), что мы так скверно одевались: по-моему, когда мы были мальчишками, мы были одеты вполне пристойно и аккуратно. В самом начале наших платных выступлений по радио Бесси обычно покупала нам одежду у Де-Пинна на Пятой авеню. Как она впервые попала в это достойное и солидное учреждение, можно только догадываться. Мой брат Уолт, который при жизни был очень элегантным молодым человеком, чувствовал, что Бесси просто подошла к полисмену и спросила у него совета. Предположение вполне разумное, потому что наша Бесси, еще когда мы были детьми, обычно во всех самых запутанных делах искала совета у человека, который во всем Нью-Йорке больше всего напоминал Друидского жреца – я говорю об ирландце-полисмене на углу перекрестка. Можно даже предположить,

³⁹ Маленькая английская гончая — очень модная собака. (Примеч. перев.).

что найденный Бесси магазин одежды Де-Пинна тоже подтверждал представление обо всех ирландцах как об очень везучих людях. Но не только это. Приведу пример, не совсем уместный, но симпатичный: мою маму ни в коем случае нельзя было назвать усердным читателем. Но я сам видел, как она зашла в один из самых шикарных книжных магазинов на Пятой авеню, чтобы купить именинный подарок ко дню рождения одному из моих племянников, и вышла оттуда, даже выплыла, с великолепно иллюстрированной книгой Кэй Нильсон «К востоку от солнца, к западу от луны», и, зная Бесси, можно было с уверенностью сказать, что в этом магазине она вела себя как вполне Светская Дама, снисходя к суевившимся вокруг нее продавцам. Но вернемся к нашей юности, расскажем, как мы тогда выглядели. Чуть ли не с десяти лет мы уже стали самостоятельно покупать себе платье независимо от Бесси и *даже* друг от друга. Симор, как старший, отпочковался первым, но уж, когда мое время пришло, я с ним сквитался. Помню, что в четырнадцать лет я бросил магазин на Пятой авеню, как остывшую картошку, и перешел на Бродвей, — специально в лавку где-то на Пятидесятых улицах, где вся бригада приказчиков хотя и была, как мне казалось, более чем враждебно настроена, но зато, по крайней мере, чувствовала, что пришел человек, отроду понимающий, что значит врожденная элегантность. В тот последний, 1933 год, когда мы с Симором вместе выступали по радио, я каждый вечер появлялся в светло-сером двубортном пиджаке, с высоко подложенными плечами, в темно-синей рубашке, с голливудским «развернутым» воротничком, и в наиболее чистом из двух одинаковых канареечно-желтых галстуков, которые я вообще берег для торжественных случаев. Откровенно говоря, с тех самых пор я никогда ни в одном костюме не чувствовал себя так хорошо. (Не думаю, что человек пишущий может когда-нибудь окончательно отказаться от своего старого канареечно-желтого галстука. Уверен, что раньше или позже этот галстук непременно вынырнет в его прозе, и тут, пожалуй, ни черта сделать нельзя.) Симор, с другой стороны, выбирал для себя чрезвычайно пристойную одежду. Но главная загвоздка была в том, что ни одна готовая вещь — костюм и особенно пальто — не сидела на нем как следует. Наверно, он удирал, может быть, даже полуодетый и, уж конечно, без нанесенных мелом наметок, как только к нему подходил кто-нибудь из перешивочного отделения. Все его пиджаки то топорщились, то обвисали. Рукава либо закрывали средние фаланги пальцев, либо не доходили до кисти. Хуже всего дело обстояло с брюками, особенно сзади. Иногда становилось даже страшно, как будто зад от размера тридцать шестого был брошен, как горошина в корзину, в сорок четвертый размер. Впрочем, были еще и другие, гораздо более жуткие аспекты, которые следует здесь отметить. Симор совершенно терял всякое представление о своей одежде, как только она оказывалась на нем, — если не считать смутного, но реального ощущения, что он фактически уже не голый. И дело тут было вовсе не в инстинктивной, а может быть и благоприобретенной, антипатии к тому, что в наших кругах называют «одет со вкусом». Раза два я ходил с ним За Покупками, и мне помнится, что он покупал себе платье со сдержанной, но приятной мне гордостью, как юный «брахмачарья», молодой послушник-индус, выбирающий свою первую набедренную повязку. Да, странное дело, очень странное. Что-то постоянно случалось с одеждой Симора именно в ту минуту, как он начинал одеваться. Он мог простоять положенные три-четыре минуты перед дверцей шкафа, разглядывая свою сторону нашей общей вешалки для галстуков, но ты *знал* (если только ты, как дурак, сидел и смотрел на него), что стоило ему наконец что-то выбрать, как этот галстук был обречен. Либо узел, которому полагалось ладно сесть под воротник, сбивался в комок и чаще всего оказывался сбоку примерно на четверть дюйма, не прикрывая воротничка. А уж если узел галстука намеревался сесть на свое место, то полоска галстучного шелка неминуемо высывалась сзади из-под воротничка, как ремешок от бинокля у туриста. Но я предпочитаю больше не касаться этой запутанной и сложной темы. Короче говоря, из-за одежды Симора вся наша семья часто доходила почти до полного отчаяния. Мои описания, по правде говоря, далеко отстают от действительности. Много было разных вариантов. Скажу только вкратце и сразу закрою эту тему: можно всерьез расстроиться, если ждешь летним вечером, под пальмами отеля «Билтмор», в час коктейлей, и вдруг видишь, что твой полубог, твой герой взлетает по широкой лестнице, сияя от предстоящей радости, но ширинка у него не совсем застегнута.

Хочу еще на минутку остановиться на этой лестнице, то есть просто рассказать, не думая,

куда, к черту, она меня заведет. Симор всегда взлетал на все лестницы бегом. Он их брал с ходу. Мне редко приходилось видеть, как он по-другому всходил на ступеньки. И это приводит меня к рассуждению на тему «сила, смелость и сноровка». Никак не могу себе представить, что в наше время кто-нибудь (впрочем, мне вообще трудно кого-то себе представить) – за исключением ненадежных гуляк-докеров, отставных армейских и флотских генералов и всяких мальчишек, занятых развитием своих бицепсов, – кто-нибудь еще верит в устаревший, но очень распространенный предрассудок, будто бы поэты – народ хилый, хлипкий. А я готов утверждать (особенно потому, что среди читателей – и почитателей – моей литературной стряпни много и военных, и спортсменов, любителей свежего воздуха, «настоящих мужчин»), что не только нервная энергия или железный характер, но и чисто физическая выносливость требуются для того, чтобы создать окончательный вариант первоклассного стихотворения. Как ни печально, но хороший поэт часто до безобразия небрежно относится к своему телу, но я считаю, что вначале ему было дано тело вполне выносливое и крепкое. Мой брат был одним из самых неутомимых людей, каких я знал. (Вдруг я ощутил бег времени.) Полночь только близится, а мне уже захотелось соскользнуть на пол и продолжать писать в лежачем положении. Мне только что пришло в голову, что Симор при мне никогда не зевал. Вообще-то он наверно зевал, но я этого не видел. И дело тут не в воспитанности: у нас дома никому зевать не мешали. Я сам зевал постоянно – а ведь спал я больше, чем он. Но все же спали мы всегда слишком мало, даже в детстве. Особенно в те годы, когда мы выступали по радио и вечно носили в карманах, по крайней мере, по три библиотечных абонемента, истертых, как старые паспорта, не было почти ни одной ночи, – и это в школьные дни! – когда свет в нашей комнате выключался раньше двух или трех часов утра, кроме тех минут после Отбоя, когда наш Старший Сержант, Бесси, делала обход. Если Симор чем-то увлекался, что-то исследовал, он часто мог, даже в двенадцатилетнем возрасте, вообще не ложиться спать две-три ночи подряд, и по нему это ничуть не было видно. Но бессонные ночи, очевидно, действовали только на его кровообращение, руки и ноги у него холодели. Примерно в третью бессонную ночь он хоть раз подымал голову и спрашивал меня – не чувствую ли я ужасный сквозняк. (В нашей семье ни для кого, даже для Симора, не бывало просто сквозняков – только «ужасные сквозняки».) Иногда он вставал с кресла или с полу, смотря по тому, где он читал, писал или думал, и шел проверять – не оставил ли кто-нибудь окно в ванной открытым. Кроме меня, только Бесси всегда угадывала, когда Симор не спал. Она судила по тому, сколько пар носков он надевал на себя. В те годы, когда он вырос из коротких штанишек и носил длинные брюки, она вечно заворачивала его штанину и смотрела – надел ли он заранее две пары носков для защиты от ночного сквозняка. Сегодня я – сам себе Песочный Человек. Спокойной ночи! Спокойной вам ночи, бесчувственные вы, до противности необщительные люди!

Многие-многие люди моего возраста и с таким же заработком, пишущие о своих покойных братьях в такой очаровательной, полудневниковой форме, обычно никогда не заботятся о том, чтобы указать дату и место пребывания. Не хотят впускать читателя в творческий процесс. Я поклялся, что я так поступать не стану. Сегодня четверг, и я сижу в своем ужасном кресле. Сейчас ночь, без четверти час, а сижу я с десяти вечера и пытаюсь, пока облик Симора оживает на этих страницах, придумать, как бы мне так его изобразить и Спортсменом, и Атлетом, чтобы не слишком раздражать ярых ненавистников всякого спорта. По правде сказать, я понял, что ничего не могу рассказать, не попросив предварительно извинения, и это меня раздражает и огорчает донельзя; дело в том, что я работаю на кафедре английской литературы, и, по крайней мере, двое из наших преподавателей уже стали признанными и широко публикуемыми лирическими поэтами, а третий мой коллега – блистательный литературный критик, кумир всего Восточного побережья и довольно выдающаяся фигура среди специалистов по Мелвиллу. И вся эта тройка (как вы понимаете, я для них тоже не из последних) со всех ног и, по-моему, слишком на виду у публики, опрометью бросается к телевизору с бутылкой холодного пива, как только начинается сезон баскетбольных соревнований. Увы, этот маленький «академический» камешек никого особенно не ушибет, потому что я и сам бросаю его из-за толстой стеклянной стены. Ведь я тоже всю жизнь был отчаянным болельщиком за баскетбольные команды, и нет сомнения, что у меня

в мозгу есть участок, засыпанный вырезками из спортивных журналов, как птичья клетка – шелухой от зерен. Вполне возможно (и это будет последнее откровенное признание автора своим читателям), что одной из причин, почему я еще ребенком продержался на радио более шести лет, было то, что я мог рассказать Дорогим Радиослушателям о победе команды Уэйнера на этой неделе или произвести на всех огромное впечатление, объясняя, как Кобб в 1921 году (когда мне то было всего два года) дал решающий бой. Неужто меня до сих пор это волнует? Неужели я еще не предал забвению те часы, когда я после обеда убегал от Обыденщины в надземном поезде с Третьей авеню в надежное, как материнское чрево, убежище, за третьим полем стадиона, где шла игра в поло? Не верится. А может быть, оттого и не верится, что мне уже сорок и что, по моему, давно пора всем стареющим братьям писателям убраться с коррид и стадионов. Нет. Я знаю – ей-богу, *знаю*, – почему я не решаюсь вывести Эстета в роли Атлета. Годами я об этом не думал, но вот что я могу сказать. С нами по радио выступал один исключительно умный и очень славный мальчик, звали его Кэртис Колфилд, – потом он был убит во время одной из высадок в Тихом океане. Однажды он со мной и Симором забрел в Центральный парк, и там я вдруг обнаружил, что он бросает мяч так, будто у него две левых руки – словом, как большинство девчонок, – и я до сих пор помню, с каким выражением смотрел на него глубокомысленный Симор и как я ржал, вернее гоготал, по-жеребьячи, глядя на него. Как мне объяснить этот психоаналитический экскурс? Неужто я перешел на и х сторону? Повесить мне табличку с часами приема, что ли?

Скажи прямо: Симор *любил* спорт и всякие игры: и комнатные, и на стадионах, и сам играл либо замечательно, либо из рук вон скверно. И редко – кое-как. Года два назад моя сестра Фрэнни сообщила мне, что у нее сохранилось одно из самых Ранних Воспоминаний: будто она лежала «В Колыбели» (как некая Инфанта) и смотрела, как Симор играет в пинг-понг в соседней комнате. На самом деле «колыбель», о которой она упоминает, была старая потрепанная коляска на роликах, в которой Бу-Бу катала сестренку по всей квартире, и коляска подсакивала на всех порогах, пока не останавливалась там, где царило наибольшее оживление. Но вполне возможно, что в раннем детстве Фрэнни видела, как Симор играл в пинг-понг, а его незаметным и незапомнившимся партнером мог быть и я. Обычно, играя с Симором, я впадал в полное ничтожество. Казалось, что против меня играет сама многорукая Матьер Кали, да еще с ехидной улыбочкой, и без малейшей заинтересованности в счете очков. Он гасил, он резал мяч, он так по нему колотил почти через каждую подачу, как будто ожидал недолета, и потому было необходимо резать изо всех сил. Примерно три из пяти мячей Симора попадали в сетку или летели ко всем чертям мимо стола, так что, в сущности, противнику нечего было отбивать. Но он был так увлечен, что не обращал никакого внимания на эти мелочи, всегда удивлялся и смиренно просил прощения, когда его противник, не выдержав, громко и горько жаловался, что ему, черт подери, приходится лазать за мячами по всей комнате: под стулья, диван, рояль да еще в эти гнусные закоулки за книжными полками.

И в теннис он играл так же яростно и так же скверно. А играли мы с ним *очень часто*. Особенно, когда я учился в нью-йоркском колледже. Он уже преподавал в этом же заведении, и очень часто, в погожие дни, особенно весной, я сильно побаивался такой, слишком хорошей, погоды, потому что знал, что сейчас какой-нибудь юнец, как верный паж, падет к моим ногам с запиской от Симора, что, мол, день расчудесный и не сыграть ли нам партию-другую в теннис. Обычно я отказывался играть с ним на университетских кортах, так как боялся, что кто-нибудь из моих или же е г о приятелей – или, не дай бог, кто-то из его ехидных коллег, – увидит его, так сказать, в действии, поэтому мы обычно уезжали на корты Рипа или на Девяносто шестую улицу, на старый наш корт. И, совершенно зря, я придумал бессмысленную уловку – хранить ракетку и теннисные туфли не в колледже, в моем шкафчике, а дома. Тут было только одно преимущество. Обычно дома все выражали мне особое сочувствие, пока я переодевался для тенниса, и нередко кто-нибудь из моих братьев и сестер сострадательно провожал меня до самых дверей и молча ждал, пока подойдет лифт.

Во всех карточных играх без исключения, – будь то покер, винт, вист, кассино, свои козыри, Кинг, ведьма, – он был просто невыносим. На игру вроде «дурака» еще можно было смот-

реть. Обычно в «дурака» мы играли с близнецами, когда они были совсем маленькими, и Симор постоянно им подсказывал, намекал, чтобы они спросили – есть ли у него нужная им карта, а то и нарочно, покашливая, давал им подглядывать в свои карты. В покер он тоже играл фантастически. Когда мне было восемнадцать – девятнадцать, я, втайне, изо всех сил, но довольно бесплодно, старался стать «душой общества», настоящим «светским денди», и часто приглашал друзей играть в покер. Симор нередко участвовал в этих сборищах. Но надо было прилагать немало усилий, чтобы не догадаться, что у него руки полны козырей, потому что он сидел и ухмылялся, по словам моей сестры, как Пасхальный Кролик с полной корзиной крашенных яиц. Бывало и того хуже: у него была привычка – имея на руках флеш или даже флеш-рояль, а может и совсем чудесные карты, он ни за что не бросал вызов противнику, если тот ему нравился, хотя у того на руках были одни десятки.

В четырех из пяти уличных игр он был просто шляпой. Когда мы учились в начальной школе и жили на углу Одиннадцатой и Риверсайд-Драйв, там, где-нибудь в переулках, после обеда собирались команды (волейбол, хоккей на роликах), но чаще всего на довольно большой лужайке, где около памятника Кошуту выгуливали собак, мы играли в футбол или регби. В регби или хоккее Симор имел привычку, очень раздражавшую, как ни странно, товарищей его команды: он бил сильно, часто великолепно, а после такого удара вдруг останавливался, давая вратарю противника время занять выгодную позицию. В регби он играл очень редко и только, если в какой-нибудь команде не хватало игрока. А я играл постоянно. Я не против грубости, только здорово ее побаиваюсь, а потому у меня не было другого выбора, как играть самому. Я даже организовывал эти проклятые игры. В тех редких случаях, когда Симор тоже играл в регби, трудно было предсказать – будет ли это на пользу или во вред его команде. Чаще всего его первым из нас принимали в команду, потому что он был очень гибкий и словно родился для передачи мяча. Когда он оказывался с мячом посреди поля и не начинал вдруг сочувствовать нападающему из команды противника, тогда все шло на пользу его команде. Но, как я уже сказал, никогда нельзя было предсказать – поможет он выиграть своим или помешает. Как-то, в одну из счастливых минут, редко выпадавших на мою долю, мои товарищи по команде разрешили мне обежать мяч через линию защиты. Симор, игравший за противника, совершенно сбил меня с толку: когда я повел прямо на него мяч, у него стала такая радостная физиономия, словно судьба подарила ему неожиданную и необыкновенно счастливую встречу. Я остановился как вкопанный, и, конечно, кто-то сбил меня с ног, по нашему выражению, словно груды кирпичей.

Может быть, я слишком разговорился насчет всех этих дел, но остановиться невозможно. Как я уже сказал, Симор все же играл в некоторые игры блестяще. И это было даже непростительно. Я хочу этим сказать, что есть какая-то степень ловкости, умения в спорте или в играх, которая особенно злит тебя в противнике, которого ты в данную минуту безоговорочно считаешь «ублюдком», все равно каким – Несуразным, Хвастливым или просто Стопроцентным Американским Ублюдком, а это определение включает целую серию «ублюдков» – от такого, который с успехом побеждает тебя, несмотря на свой самый дешевый или примитивный спортивный инвентарь, до претендента на победу, у которого всегда заранее этакая нелепо-счастливая, сияющая физиономия. Но Симора можно обвинить только в одном, но очень серьезном преступлении, когда он здорово играл, не будучи в спортивной форме. Я имею в виду главным образом три игры: ступболл, «шарики» или бильярд (о бильярде расскажу дальше. Для нас это была не просто игра, а что-то вроде эпохи Реформации: мы затевали игру на бильярде, перед тем или после того как в нашей молодой жизни наступал какой-нибудь серьезный кризис). Кстати, к сведению непросвещенных читателей, ступболл – это такая игра, когда мячик бросают о ступеньки каменного крыльца или о стенку дома. Мы обычно играли литым резиновым мячиком и невысоко били им о какое-нибудь гранитное архитектурное «излишество» – весьма популярную на Манхэттене помесь не то ионическо-греческих, не то римско-коринфских колонн, украшавших фасад нашего дома. Если мяч отскакивал на мостовую или даже на противоположный тротуар и его не успевал на лету подхватить кто-нибудь из команды противника, то засчитывалось очко бросавшему, как в бейсболе; если же мячик ловили, – а это бывало чаще всего, – то бросавший выбывал из игры. Но главный козырь заключался в том, чтобы мячик летел высоко и стучался о

стенку противоположного дома, так чтоб никто не мог его перехватить, когда он от этой стенки отскакивал. В наше время многие умели бросать мяч так, что в противоположную стену он попадал, но редко кому удавалось бросить его так ловко, быстро и низко, чтобы противник не мог его поймать. А Симор почти всегда выбивал очко, когда участвовал в этой игре. Когда другие мальчишки нашего квартала выбивали такое очко, это считалось случайностью – счастливой или нет, смотря по тому, в твоей или в чужой команде это произошло, но если уж Симор промазывал, то всегда казалось, что это случайно. Как ни странно, ни один из соседских мальчишек не бросал мяч, как Симор, а это еще больше относится к нашей теме. Все мы, *как и он*, были не какими-то левшами, все становились боком чуть слева от меченого места на стенке и, развернувшись, сплеча бросали мяч резким движением. А Симор становился *лицом* к роковому участку стены и бил прямо вниз, броском, похожим на его некрасивый и всегда жутко неудачный «оверхенд» в теннисе или пинг-понге, – и мяч перелетал через его голову – он только чуть-чуть нагибался – прямо через зрителей, в «задние ряды». Но если ты тоже пробовал ему подражать, иногда без его указки, а то и под самым ревностным его руководством, ты либо сразу выбывал из игры, либо этот (проклятуший) мяч отскакивал прямо тебе в морду. Пришло время, когда никто, даже я, с ним в мяч играть не желал... И тогда он либо начинал довольно пространно объяснять одной из наших сестриц все тонкости игры, либо с необычайным успехом играл в одиночку, сам с собой, и мяч отлетал от противоположной стенки прямо к нему, да так, что он, не сходя с места, ловил его с необычайной ловкостью. (Да, да, я что-то чересчур увлекся, но прошло почти тридцать лет, а мне все еще эти наши дела кажутся безумно увлекательными.) И такую же чертовщину он вытворял, играя в «шарики». По нашим правилам, первый игрок катит или бросает свой шарик, свой «биток», вдоль какой-нибудь боковой улочки, там, где не стоят машины, стараясь бросить его футов на двадцать – двадцать пять, так, чтобы он откатывался с обочины. Вторым игроком старается ударить по этому шарiku, бросая свой с того же места. Удастся ему это очень редко – на пути его шарика немало мелких помех: тут и неровности на мостовой, и возможность ударить по краю тротуара, и попасть в кусок жвачки или в любой типично нью-йоркский мусор, – я тут не считаю обыкновенного неумения попадать в цель. А если вторым игроком промазывал на первом же ударе, то его шарик обычно застревал на самой уязвимой точке для второго, очередного, удара противника. Раз восемьдесят, если не девяносто из ста, Симор в этой игре побеждал всех. На длинных ударах он посылал свой шарик по дуге, как навесной мяч в бейсболе. И тут все его приемы были вне всяких норм и ни на что не похожи. Если все ребята нашего квартала били броском снизу, Симор бросал *свой* шарик «от локтя», даже от кисти, как пускают плоские голыши, «блины», по поверхности пруда. И тут брать с него пример было просто губительно, и твой шарик совершенно тебя не слушался.

(Кажется, я подсознательно, грубо подвожу весь разговор к тому, чтобы рассказать об одном случае. А ведь много лет я о нем и не вспоминал.)

Однажды к вечеру, в те мутноватые четверть часа, когда на нью-йоркских улицах только что зажглись фонари и уже включаются автомобильные фары – одни горят, другие еще нет, я играл в «шарики» с одним мальчиком по имени Айра Янкауер, на дальнем тротуаре переулка, выходившего прямо напротив входа в наш дом. Мне было восемь лет, я пытался подражать приемам Симора: бить, как он, сбоку, целить, как он, в шарик противника, – и неизменно проигрывал. Неизменно, но равнодушно. В этот сумеречный час нью-йоркские мальчишки похожи, скажем, на мальчишек из Тиффани, штат Огайо, которые слышат гудок далекого поезда, загоняя в хлев последнюю корову. В этот волшебный час, если и проигрываешь свои шарики, они для тебя – просто стекляшки, и все. По-моему, Айра тоже ощущал сумерки, как надо, – а значит, и для него выиграть только и значило – просто получить лишние шарики, вот и все. И в тон этому затишью и нашему равнодушному настроению меня вдруг окликнул Симор. Так неожиданно и славно было почувствовать, что в затихшей Вселенной есть еще третий живой человек, и особенно потому, что это был именно Симор.

Я круто обернулся к нему, и Айра, кажется, тоже. Яркие круглые лампочки только что зажглись под козырьком нашего парадного. Симор стоял на обочине, перед входом, раскачиваясь на пятках, засунув руки в карманы своей кожаной куртки, и смотрел на нас. Фонари под навесом

парадного освещали его сзади, и лицо его виднелось смутно, тонуло в тени. Ему было десять лет. По его позе, по манере держать руки в карманах, раскачиваться на пятках, словом, по некоему «фактору икс», я понял, что и он тоже до глубины души чувствует волшебную прелесть этого сумеречного часа. «А ты не можешь целиться не так долго? – спросил он, не сходя с места. – Если ты нацелишься и попадешь, значит, тебе просто повезло». Он сказал эти слова как-то доверительно, не нарушая обаяния этого вечера. Нарушил его я сам. Сознательно. Нарочно. "Что значит «повезло», если я *целился*? " – говорил я негромко (несмотря на курсив), но более раздраженным тоном, чем мне хотелось. Минуту он помолчал, потоптавшись по обочине, посмотрел на меня, я чувствовал – с любовью. "А вот так, – сказал он. – Ведь ты *обрадуешься*, если попадешь в шарик Айры? Да? Обрадуешься, верно? А раз ты обрадуешься, когда попадешь в чей-то шарик, значит, ты в душе был не совсем уверен, что попадешь. Значит, тут должно быть какое-то везение, случайность, что ли".

Он сошел с тротуара на мостовую, не вынимая рук из карманов, и пошел к нам. Мне показалось, что он задумался, и потому переходит темную улочку очень медленно. В сумерках он подплыл к нам, как парусная шхуна. Но оскорбленное самолюбие овладевает человеком быстрее всего на свете: он еще не успел к нам подойти, как я бросил Айре: «Все равно надо кончать, уже совсем темно», – и торопливо бросил игру.

От этого короткого «пентименто» – или как оно там называется – я сейчас буквально покрылся испариной с ног до головы. Хочу закурить, но в пачке ни одной сигареты, а вставать с кресла неохота. Господи, твоя воля, до чего это благородная профессия! Хорошо ли я знаю своего читателя? Что я могу рассказать ему, чтобы зря не смущать ни его, ни себя? Могу сказать одно: и в его, и в моем сознании уже уготовано место для каждого из нас. Я свое место в жизни, до последней минуты, осознавал всего раза четыре. Сейчас осознаю в пятый раз. Надо хоть на полчаса лечь на пол, отдохнуть. Извините меня, пожалуйста.

Сейчас пойдет абзац, подозрительно похожий на примечание к программе спектакля, но после строк, написанных выше, я чувствую, что мне этого театрального приема не избежать. Прошло три часа. Я уснул на полу. (Но я уже пришел в себя, дорогая Баронесса. О боже, что же Вы обо мне подумали? Умоляю Вас, разрешите позвонить лакею, пусть принесет бутылочку того самого редкостного вина из моих собственных виноградников, и я надеюсь, что Вы хотя бы...). Но я хочу – по возможности коротко объяснить, что, каковы бы ни были причины некоторой Путаницы в записях, сделанных три часа назад, я никогда в жизни не обольщал себя мыслью, что мои возможности (мои скромные возможности, дорогая Баронесса) позволяют мне безукоризненно хранить в памяти почти все прошлое. В ту минуту, когда я вспотел, вернее довел себя до седьмого пота, я не очень точно помнил, что именно говорил Симор, – да и его, тогдашнего, вспоминал как-то слишком бегло. Но вдруг меня осенила и совсем сбила с толку еще одна мысль: ведь Симор для меня – велосипед фирмы «Дэвега». Почти всю мою жизнь я ждал малейшего повода, не говоря уж о «предлагаемых обстоятельствах», чтобы кому-нибудь подарить мой велосипед фирмы «Дэвега». Спешу тотчас же объяснить, о чем идет речь.

Когда Симору было пятнадцать, а мне – тринадцать лет, мы как-то вечером вышли в гостиную, кажется, послушать передачу двух комиков и попали в самый разгар жуткого и почему-то зловеще приглушенного скандала. В гостиной находились только наши родители и братишка Уэйкер, но мне показалось, что еще какие-то маленькие существа подслушивают из надежного укрытия. Лес был весь ужасно красный, Бесси так поджала губы, что их и видно не было, а наш брат Уэйкер, которому, по моим соображениям, тогда было ровно девять лет и четырнадцать часов, стоял у рояля, босиком, в пижаме, заливаясь слезами. При таких семейных передрыгах мне первым делом хотелось нырнуть в кусты, но так как Симор явно не собирался уходить, то остался и я. Лес, стараясь сдержать свой гнев, сразу выложил Симору обвинительный акт. Этим утром, как мы уже знали, Уолт и Уэйкер получили ко дню рождения одинаковые, очень красивые и – не по средствам – дорогие подарки: два одинаковых белых с красным велосипеда со свободной передачей и двойным тормозом, словом, те самые велосипеды, которыми ребята постоянно восхищались, стоя перед витриной спортивного магазина «Дэвега» на Восемьдесят шестой

улице, неподалеку от Лексингтон-авеню и Третьей. Минут за десять до того, как мы с Симором вышли из нашей комнаты, Лес обнаружил, что в подвале нашей квартиры, где в целости и сохранности стоял велосипед Уолта, второго велосипеда, Уэйкера, не оказалось. Днем в Центральном парке Уэйкер отдал свой велосипед. Незнакомый мальчишка («какой-то прохвост, которого он видел в первый раз в жизни») подошел к Уэйкеру, попросил у него велосипед, и Уэйкер тут же отдал ему машину. Конечно, и Лес, и Бесси понимали «добрые, благородные побуждения» своего сына, но все же оба осуждали его поступок со своей, вполне логичной, точки зрения. Что должен был, по их мнению, сделать Уэйкер? Лес подчеркнуто повторил это специально для Симора: надо было позволить этому мальчику "*хорошенько, вволю, покататься* на велосипеде – и все!". Но тут Уэйкер, захлебываясь слезами, перебил отца. Нет, мальчику вовсе *не хотелось* «вволю покататься» – он хотел иметь *свой велосипед*. У этого мальчика *никогда* не было *собственного* велосипеда, а он всегда мечтал иметь свой собственный велосипед. Я взглянул на Симора. Он вдруг заволновался. По его лицу было видно, что он всех их очень любит, но стать на чью-нибудь сторону в таком сложном вопросе никак не может. Однако я знал по опыту, что сейчас в этой комнате чудом воцарится полнейший мир. («Мудрец вечно полон тревоги и сомнений, прежде чем что-либо предпринять, но оттого ему всегда и сопутствует успех»). Тексты Чжуан-цзы, книга XXXVI.) Не стану на этот раз подробно описывать, как Симор хотя и несколько путано, что ли, – мне трудно найти подходящее слово, – но все же настолько разобрался в самой сути дела, что через несколько минут все три противника уже мирились и целовались. Хотя мне трудно доказать то, что я хочу – это для меня дело слишком личное, – но, по-моему, я как-то все объяснил. Однако то, что Симор крикнул, вернее подсказал мне, в тот вечер, в 1927 году, когда мы играли в «шарики», мне кажется настолько важным и существенным, что придется еще немного на этом остановиться. Впрочем, стыдно сказать, но, на мой взгляд, сейчас самое важное и самое существенное только то, что сорокалетний братец Симора, весь напыжившись от гордости, радуется оттого, что ему подарили наконец велосипед «Дэвега», который он волен отдать кому угодно, – предпочтительно первому же, кто попросит. У меня такое ощущение, что я сам думаю, верней *размышляю*, *правильно* ли сейчас перейти от одних псевдометафизических тонкостей, хотя и чисто личных и мелких, к другим, хотя и общим и крупным. То есть, проще говоря, ни на миг не отвлекаться на всякие разглагольствования, столь присущие моему многословному стилю. Словом, пошли дальше: когда Симор на перекрестке подсказал мне, что не надо целиться в шарик Айры Янкауера, – не забывайте, что ему тогда было только десять лет, – то мне сдается, что он инстинктивно давал то же указание, какое дает мастер-лучник в Японии, когда он запрещает начинающему, слишком ревностному, ученику нацеливать стрелу прямо в мишень, то есть когда мастер-лучник разрешает, так сказать, Целиться – *не Целясь*. Я бы предпочел, однако, совсем не упоминать в этой малоформатной диссертации ни стрелков, ни вообще ученье Дзен, отчасти несомненно из-за того, что для изысканного слуха само слово «Дзен» все больше становится каким-то пошлым, культовым присловьем, хотя это имеет свое, впрочем, в значительной степени поверхностное оправдание. (Говорю, поверхностное, потому что Дзен в чистом виде несомненно переживет своих европейских последователей, так как большинство из них подменяет учение об Отрешенности призывом к полному душевному безразличию, даже к бесчувственности, – и эти люди, очевидно, ничуть не постеснялись бы опрокинуть Будду, даже не отравив себе сначала золотой кулак. Нужно ли добавить, – а добавить это мне, при моем темпе, необходимо, – что учение Дзен в чистом своем виде останется в целости и сохранности, когда снобы вроде меня уже уйдут со сцены.) Но главным образом я предпочел бы не сравнивать совет Симора насчет игры в «шарики» с дзеновской стрельбой из лука просто потому, что сам я отнюдь не дзеновский стрелок и, более того, не приверженец буддистского учения Дзен. (Кстати ли тут упомянуть, что корни нашей с Симором восточной философии, если их можно назвать «корнями», уходят в Ветхий и Новый завет, в Адвайта-Веданту и классический Даосизм? И если уж надо выбирать для себя сладкозвучное восточное имя, то я склоняюсь к тому, чтобы назвать себя третьесортным Карма-Йогом с небольшой примесью Джняна-Йоги, для пикантности. Меня глубоко привлекает классическая литература Дзен. Я даже имею смелость читать лекции о ней и о буддийской литературе «Махаяна» раз в неделю в нашем колледже, но вся моя жизнь не могла

бы быть более антидзеновской, чем она есть, и все, что я познал – выбираю этот глагол с осторожностью – из учения Дзен, является результатом того, что я совершенно естественно иду своим путем, никак не соответствующим этой доктрине. Об этом меня буквально умолял Симор, а он в таких делах никогда не ошибался.) К счастью для меня, да, вероятно, и для всех прочих, я считаю, что нечего припутывать Дзен к истории с шариками. Тот способ целиться, который мне тогда чисто интуитивно посоветовал Симор, можно описать нормальными и невесточными словами: это тот же способ, каким курильщик искусно бросает окурочек через всю комнату в небольшую корзину. По-моему, искусством этим отлично владеет большинство курильщиков-мужчин, но лишь в том случае, когда им совершенно наплевать – попадет ли окурочек в корзиночку или нет, или когда в комнате нет свидетелей, включая, так сказать, и самого метателя окурочка. Постараюсь как можно меньше пережевывать эту деталь, хотя и нахожу в ней большой вкус, но спешу добавить, – чтобы вернуться к игре в «шарики», – что Симор, метнув шарик, весь расплывался в улыбке, услышав, как звякнуло стекло о стекло, но видно было, что он при этом даже не интересовался, кто именно выиграл от этого удара. И факт остается фактом: почти всегда кто-нибудь другой подбирал шарик и вручал его Симору, если выиграл он. Слава Создателю, тема закрыта. Уверяю вас, тут моя воля ни при чем.

Думаю – нет, *знаю*, – что следующий эпизод будет последним моим «реалистическим» описанием. Постараюсь рассказать с юмором. Хочется перед сном как-то проветриться.

Наверно, выйдет что-то вроде Анекдота, пропади я пропадом! Ну и пусть! Когда мне было лет девять, у меня создалось очень лестное мнение о себе как о Самом Быстром Бегуне В Море. Добавлю, что это была одна из тех навязчивых, ни на чем не основанных идей, которые необычайно живучи, и даже теперь, в сорок лет, при моем исключительно сидячем образе жизни, я иногда воображаю, как я, в своем обычном штатском костюме, пролетаю мимо толпы прославленных, но уже запыхавшихся олимпийских стайеров и очень любезно, без тени снисхождения, машу им ручкой. Словом, в один прекрасный весенний вечер, когда мы еще жили на Риверсайд-Драйв, Бесси послала меня в кондитерскую за мороженым. Я вышел из дому в тот самый волшебный сумеречный час, какой я описал на предыдущих страницах. И еще одно обстоятельство в данном случае оказалось роковым: на мне были спортивные тапки – а для мальчика, который себя считал Самым Быстрым Бегуном В Море, такие тапки – все равно что красные туфельки для девочки из сказки Ханса Кристиана Андерсена. И как только я выскочил из дому, я превратился в настоящего Меркурия и пустился в «отчаянный» спринт вдоль длинной улицы до Бродвея. Я срезал угол Бродвея «на одном колесе» и помчался, *ускоряя* темп сверх всякой возможности. Кондитерская, где продавали мороженое «Шерри» – Бесси упорно не признавала ничего другого, – находилась в трех кварталах к северу, на Сто тринадцатой улице. Я пролетел мимо писчебумажной лавки, где мы обычно покупали газеты и журналы, ничего не видя, не замечая по дороге ни родных, ни знакомых. И вдруг, через квартал, я услышал, что кто-то, тоже бегом, меня преследует. У меня сразу мелькнула мысль, характерная для каждого жителя Нью-Йорка: за мной гонится полиция, очевидно, за то, что я виноват в Превышении Скорости на Не-Школьной улице. Я весь напрягся, стараясь выжать из себя предельную скорость, но ничего не вышло. Я почувствовал, как чья-то рука схватила меня за свитер, именно за то место, где должен был бы красоваться номер нашей команды-победительницы. В ужасе я остановился, как ошалевшая птица, подбитая в полете. Преследователем моим, разумеется, был Симор, и вид у него тоже был перепуганный до чертиков. "В чем дело? Что стряслось?" – крикнул он, задыхаясь и не выпуская мой свитер из рук. Я вырвался от него и в достаточно непечальных выражениях, бытовавших в нашем обиходе, – повторять их дословно я не стану, – объяснил ему, что *ничего* не стряслось, *ничего* не случилось, что я просто бежал и нечего *орать*. Он вздохнул с огромным облегчением. «Ну, брат, и напугал же ты меня! – сказал он. – Ух, ну ты бежал! Еле догнал тебя!» И мы пошли не спеша в кондитерскую. Странно – а может быть, и совсем не странно – было то, что настроение у того, кто стал теперь не Первым, а Вторым Быстрейшим Бегуном В Море, ничуть не испортилось. Во-первых, догнал меня именно ОН. А кроме того, я напряженно следил, как он здорово запыхался. Очень увлекательно было смотреть, как он пыхтит.

Вот я и кончил свой рассказ. Вернее, он меня прикончил. В сущности, я всегда мысленно

сопротивлялся всяким финалам. Сколько рассказов, еще в юности, я разорвал просто потому, что в них было то, чего требовал этот старый трепач, Сомерсет Моэм, издевавшийся над Чеховым, то есть Начало, Середина и Конец. Тридцать пять? Пятьдесят? Когда мне было лет двадцать, я перестал ходить в театр по тысяче причин, но главным образом из-за того, что я до черта обижался, когда приходилось уходить из театра только потому, что какой-нибудь драматург вдруг опускал свой идиотский занавес. (А что же потом случилось с этим доблестным болваном, Фортинбрасом? Кто, в конце концов, починил его возок?) Однако, невзирая на все, я тут ставлю точку. Правда, мне хотелось еще бегло коснуться кое-каких весомых и зримых подробностей, но я слишком определенно чувствую, что мое время истекло. А кроме того, сейчас без двадцати семь, а у меня в девять часов лекция. Только и успею на полчаса прилечь, потом побриться, а может быть, принять прохладный, освежающий, предсмертный душ. Да еще мне вдруг захотелось, вернее, не то чтобы захотелось, упаси бог, а просто возник привычный рефлекс столичного жителя – отпустить тут какое-нибудь не слишком ядовитое замечание по адресу двадцати четырех барышень, которые только что вернулись после развеселых отпусков во всяких Кембриджах, Ганноверах или Нью-Хейвенах и теперь ждут меня в триста седьмой аудитории. Да вот никак не развяжусь с рассказом о Симоре, – даже с таким никуда не годным рассказом, где так и прет в глаза моя неистребимая жажда утвердить свое «я», сравняться с Симором, – и забывать при этом о самом главном, самом настоящем. Слишком высокопарно говорить (но как раз я – именно тот человек, который это скажет), что не зря я – брат брату моему и поэтому знаю – не всегда, но все-таки *знаю*, – что из всех моих дел нет ничего важнее моих занятий в этой ужасной триста седьмой аудитории. И нет там ни одной девицы, включая и Грозную Мисс Цабель, которая не была бы мне такой же сестрой, как Бу-Бу или Фрэнни. Быть может, в них светится бескультурье всех веков, но все же в них что-то *светится*. Меня вдруг огорошила странная мысль: нет сейчас на свете ни одного места, куда бы мне больше хотелось пойти, чем в триста седьмую аудиторию. Симор как-то сказал, что всю жизнь мы только то и делаем, что переходим с одного маленького участка Святой Земли на другой. Неужели он *никогда* не ошибался?

А сейчас лягу, посплю. Быстро. Быстро, но неторопливо.

16-й день Хэпворта 1924 года⁴⁰

Перевод: И. Бернштейн

Несколько предварительных замечаний – сухо и по существу, в меру моих возможностей.

Первое. Меня зовут Бадди Гласс, и я много лет своей жизни, может быть, даже все сорок шесть, ощущаю себя чем-то вроде прибора, специально установленного, подсоединенного и временами приводимого в действие ради единственной цели – пролить немного света на короткую переменчивую жизнь моего покойного старшего брата Сеймура Гласса, который умер, покончил с собой, предпочел прекратить существование еще в 1948 году, тридцати одного года от роду.

Я намерен прямо вот сейчас, возможно, даже на этом же листе, начать дословно перепечатывать одно письмо Сеймура, которое я сам впервые прочел только четыре часа назад. Моя мать Бесси Гласс прислала мне его заказной почтой.

⁴⁰ Это — последнее произведение, которое напечатал поныне здравствующий Джером Дэвид Сэлинджер, кумир 60-х годов, ветеран второй мировой войны, один из самых ярких писателей Америки второй половины века. Напечатал в еженедельнике «Нью-Йоркер» в 1965 году. «Нью-Йоркер», достигая наших библиотек, сразу уходил в спецхран, и «Хэпворт» оставался у нас для чтения практически недоступен. А тех немногих, кто сумел его прочитать, он тогда оттолкнул неструктурированной формой и «странными» идеями. Сам же автор на этом поставил точку и избрал для себя дальнейшим молчание.

Сегодня пятница. В минувшую среду поздно вечером я сказал ей вскользь по телефону, что уже несколько месяцев пишу большой рассказ про некий вечер в 1926 году, на котором мы присутствовали вчетвером – она и наш отец и мы с Сеймуром – и который имел для нас довольно важные последствия. Между этим эпизодом и письмом Сеймура существует, мне кажется, некая чудесная связь. «Чудесная» – плохое слово, не спорю, но здесь оно как будто подходит.

И больше никаких комментариев, повторяюсь только, что намерен воспроизвести письмо Сеймура совершенно точно, слово в слово, до последней буквы, до запятой. Начиная прямо отсюда.

28 мая 1965 г.

Лагерь Саймона Хэпворта. Хэпворт-Лейк, Хэпворт, шт. Мэн. Хэпворта 16-го дня 1924 г. или вообще Бог весть когда.

Дорогие Бесси, Лес, Беатриса, Уолтер и Уэйкер!

Я буду писать за нас обоих, поскольку Бадди в настоящее время занят делами в другом месте и неизвестно когда освободится. Этот неуловимый, потешный, замечательный парнишка, как мне это ни забавно и ни печально, чуть не шестьдесят или даже восемьдесят процентов времени бывает занят делами где-нибудь в другом месте! Как вы, конечно, и сами знаете в глубине души и тела, мы по всем вам скучаем просто жутко. Мне очень стыдно, но не могу не желать и вам того же. Это до смешного приводит меня в отчаяние, и даже не очень-то до смешного. Ужасное безобразие, если все время чего-то добиваешься в себе, а потом начинаешь поглядывать, как на это реагируют другие. По моему убеждению, если с А. во время прогулки сорвало ветром шляпу, приятный долг Б. – поднять ее и вернуть А., не заглядывая ему в лицо и не ища на нем выражения благодарности. Боже мой, неужели я не могу научиться скучать по своим родным, не желая, чтобы и они скучали по мне в ответ? Для этого нужен характер потверже, чем у меня. Но Боже мой, с другой стороны грессбуха, вы ведь все такие ужасно обаятельные, разве таких забудешь. Как нам не хватает всех ваших живых, выразительных лиц! Я родился безо всякой защиты на случай длительного отсутствия тех, кого я люблю. Простой, упрямый, смехотворный факт состоит в том, что моя независимость – только на поверхности, не то что у моего неуловимого младшего брата и солагерника. При том что мне сегодня без вас особенно горько, даже, если разобраться, почти невыносимо, я еще использую предоставившуюся мне редкую возможность, чтобы поупражняться во вновь освоенных простых приемах письменного сочинения и конструкции фраз, приведенных и слегка развитых в той книжице, местами бесценной, а местами – вздор собачий, которую, как вы видели, я изучал не отрываясь в трудные дни перед нашим отъездом сюда. Хотя для вас, дорогие Бесси и Лес, это все ужасная тощища, но превосходное – или хотя бы сносное – построение фразы представляет кое-какой курьезный интерес для глупого юнца вроде меня. Я был бы рад за предстоящий год избавиться от напыщенности, которая грозит погубить мое будущее как юного поэта, домашнего ученого и скромного человека. Очень прошу вас обоих и, может быть, мисс Овермен тоже, если вам случится заглянуть к ней в библиотеку или повстречаться с ней где-нибудь, пожалуйста, пройдитесь холодным, непредвзятым взглядом по нижеследующим страницам и немедленно дайте мне знать, если обнаружите вопиющие или просто неряшливые ошибки в композиции, грамматике, пунктуации, а также погрешности против безупречного вкуса. Доведись вам случайно или намеренно увидеться с мисс Овермен, пожалуйста, попросите ее быть в этом отношении ко мне убийственно беспощадной и объясните ей дружески, что меня просто убивает пропасть, существующая между моим письменным и разговорным голосом! Очень неприятно и подло иметь два голоса. А также передайте этой милейшей невоспетой женщине мой неизменно теплый и почтительный привет. Как бы мне хотелось, чтобы вы, мои любимые, перестали раз и навсегда считать ее про себя старой гримзой. Никакая она не гримза. На свой обезоруживающий и скромный лад эта маленькая женщина обладает простой и отвагой не хуже какой-нибудь безымянной героини Гражданской или Крымской войны –

двух, по-моему, самых трогательных войн за последние несколько столетий. Бог мой, вы только попытайтесь представить себе, ведь для этой достойной незамужней женщины нет в этом столетии даже подходящего уголка! Текущее столетие для нее – одна сплошная вульгарная неловкость. В глубине души она была бы рада прожить остаток своих лет подругой и доброй соседкой Элизабет и Джейн, двух в разной мере очаровательных героинь «Гордости и предубеждения», а они бы обращались к ней за разумными и практическими советами. На самом-то деле она ведь даже и не библиотекарь в душе, к сожалению. Как бы там ни было, предложите ей, пожалуйста, какой-нибудь кусок этого письма, на ваш взгляд наименее личный или пошлый. И попросите не судить мои писания так уж строго. Честно сказать, они не стоят того, чтобы тратить на них ее терпение, убывающие физические силы и очень приблизительное чувство реальности. К тому же, честно сказать, хотя с годами я и научусь писать немного лучше и мои сочинения станут меньше походить на записки сумасшедшего, все-таки на самом деле они совершенно безнадежны. Каждый штрих пера всегда так и будет нести на себе знак моей неуравновешенности и избытка чувств. Ничего не поделаешь!

Бесси! Лес! Дети! Боже всемогущий, как мне вас не хватает в это славное досужее утро! Бледный солнечный свет сочится сквозь приятно подслеповатое грязное окно, а я лежу тут поневоле, и ваши смешные, живые, красивые лица, поверьте, всплывают у меня перед глазами, словно подвешенные к потолку на чудесных ниточках. Бесси, голубка! Мы оба живы-здоровы. Бадди ест великолепно, если только то, что подают, бывает съедобно. Сама по себе пища здесь не так уж плоха, но приготовлена без капли любви и вдохновения, любой стручок, любая самая простая морковь попадают к нам на тарелки лишенными своей крошечной растительной души. Конечно, положение могло бы в одночасье исправиться, если бы мистер и миссис Нельсон, повара, чей брак, как можно догадаться по отдельным признакам, – чистая пытка, попробовали бы вообразить, что каждый мальчик, которого они кормят в столовой, – их родной и любимый ребенок, кто бы его в этот раз ни произвел в действительности на свет. Однако если бы вам представилась хоть малейшая возможность потолковать пару минут с этой четой, вы бы убедились, что требовать от них этого – все равно что просить луну с неба. Они живут в атмосфере какого-то тупого равнодушия, перемежающегося припадками бессмысленной ярости, и это лишает их всякого желания убедительно и любовно готовить еду или хотя бы просто содержать гнутые вилки и ложки на столах в достаточной чистоте. Один вид их вилок часто приводит Бадди в бешенство. Он работает над этим своим недостатком, но возмутительная вилка есть возмутительная вилка. И я тоже не чувствую себя особенно вправе мешать проявлениям его крутого нрава, учитывая его возраст и предстоящую необыкновенную роль в жизни.

Я передумал: не заступайтесь перед мисс Овермен за мои писания. Пускай ругает и чиховстит меня за то, что я плохо пишу, сколько ее душешке угодно, это ей полезно и укрепляет ее жизненные позиции. Я перед этой доброй женщиной в несказанном долгу! Департамент просвещения учил ее не за страх, а за совесть. Но, к великому сожалению, единственное, о чем она способна рассуждать свободно и со вкусом, – это как я плохо пишу и как безобразно поздно ложусь спать. До сих пор не понял, почему это ее так огорчает. Боюсь, я по нечаянности ввел ее в заблуждение, когда был маленький: она приняла меня за очень серьезного мальчика, а я просто читаю подряд все, что подвернется. По моей вине она даже не подозревает, что на девяносто восемь процентов моя жизнь, слава Богу, совершенно не связана с таким сомнительным занятием, как погоня за знаниями. Мы с ней, бывает, перебрасываемся шуточками, когда я останавливаюсь возле ее стола или когда мы вместе отходим к каталожным ящикам, но это шуточки не настоящие, у них нет внутренностей. Очень утомительно поддерживать отношения, в которых нет внутренностей, обыкновенной человеческой глупости и общего знания (очень нужного и живительного, по-моему), что под кожей у каждого читателя есть мочевого пузырь и разные другие трогательные органы. Конечно, тут много чего еще можно сказать, но мне сегодня слегка не до этого. Сегодня я, кажется, слишком взволнован. И потом, вы, пятеро моих бесценных, так далеко, а на расстоянии слишком легко забыть, что я просто не выношу бесполезных разлук. Конечно,

но, здесь бывает очень хорошо и интересно, но мне лично кажется, что на свете есть такие дети – например, ваш замечательный сын Бадди и я, – которых в лагерь лучше все-таки отправлять только в случае самой безвыходной необходимости или раздоров в семейной жизни. Но позвольте мне поскорее перейти к более общим вопросам. Бог мой, с какой радостью я предвкушаю наше неспешное общение!

Большинство детей в лагере, могу вас обрадовать, такие славные и симпатичные мальчики, лучше просто не придумашь, особенно когда они не разбиваются так азартно на группировки ради популярности и сомнительного престижа. Почти все они, слава Богу, – истинная соль земли, надо только изловчиться поговорить с каждым из них поодиночке, в отсутствие их чертовых дружков. К сожалению, здесь, как и всюду на этой трогательной планете, пароль: подражание и престиж – предел мечты. Конечно, не мне беспокоиться об общем положении дел, но ведь я же не железный. Из этих чудесных крепких, во многих случаях очень красивых мальчиков мало кто достигнет зрелости. Большинство, по моему скорбному мнению, перейдет от молодости прямо в дряхлость. Ну можно ли на это спокойно смотреть? Сердце кровью обливается. И воспитатели тоже – только одно название что воспитатели. Почти всем им предназначено пройти по жизни, от рождения до смертного праха, сохраняя самые мелочные, жалкие взгляды на все, что происходит во вселенной и вне ее. Согласен, что это сказано сурово и жестоко. Но, по-моему, еще недостаточно сурово! Вы ведь считаете, что у меня доброе сердце? Но это неправда, да побьет меня в наказание Господь камнями и градом! Не проходит дня, чтобы я, слыша разные бессердечные благоглупости, слетающие с уст воспитателей, не пожелал бы втайне поправить положение, проломив виновнику голову какой-нибудь лопаткой или бейсбольной битой! Наверно, я не судил бы так беспощадно, если бы здешние ребята не были в глубине души такими трогательными и милыми. А самый пронзительно трогательный мальчик из всех, с кем мне доводится беседовать, это Гриффит Хэммерсмит. Ах, как сжимается у меня по нем сердце! Одно его имя сразу наполняет влагой мои глаза, стоит мне зазеваться и ослабить контроль над эмоциями; я здесь ежедневно работаю над своей эмоциональностью, но пока без особого успеха. Ей-богу, хорошо бы любящие родители подождали, пока их дети подрастут и повзрослеют, прежде чем давать им такие имена, как Гриффит, и тому подобные, которые только утяжеляют малышу бремя жизни. Мое имя Сеймур тоже было огромной неумышленной ошибкой, ведь взрослым и учителям было бы гораздо удобнее называть меня в неофициальной беседе каким-нибудь симпатичным уменьшительным вроде Чак, или даже Пип, или Конни. Так что эта маленькая трудность мне близко знакома. Ему, Гриффиту Хэммерсмицу, тоже семь, хотя я его старше на каких-то пустяковых пару недель. Ростом он самый маленький мальчик на весь лагерь, даже меньше, как это ни странно и ни печально, вашего замечательного сына Бадди, несмотря на солидную разницу в возрасте – целых два года. Бремя, доставшееся ему в этой жизни, поистине тяжело. Только поглядите, какие кресты приходится нести этому превосходному, славному, трогательному, умному парнишке. Приготовьтесь в порыве сострадания вырвать с корнем сердце из своей груди!

А. Он ужасно заикается. Это вам не то что какая-нибудь умилительная шепелявость – все его маленькое тело спотыкается на пороге разговора, воспитателей и остальных взрослых такая речь раздражает.

Б. Этому маленькому мальчику приходится спать на клеенке по тем же понятным причинам, что и нашему дорогому Уэйкеру, – тем же, да не совсем, если уж до конца разобраться. Мочевой пузырь юного Хэммерсмита потерял всякую надежду на любовь и снисхождение.

В. Он со дня открытия лагеря переменял девять (9!) зубных щеток, он их прячет или зарывает в лесу, как трех-четырёхлетний малыш, или засовывает в мусор под фундаментом коттеджа. И поступает так не для смеха или из мести и не ради удовольствия. Примесь мести тут, конечно, есть, но его она даже не радует, так подавлен и угнетен в семье его дух. Положение с ним очень сложное и неприятное, уверяю вас.

Он, юный Гриффит Хэммерсмит, немножко ходит за вашими старшими сыновьями хвостом, преследуя нас по всем углам и закоулкам. С ним очень интересно, мило и приятно водиться, когда он не скован своим прошлым и настоящим. Будущее же его – мне до слез горько признать – представляется совершенно ужасным. Я бы не глядя привез его после лагеря к нам, будь он сирота. Но у него есть мать, молодая разведенная дама с шикарно красивым лицом, слегка подпорченным суетой, эгоизмом и разными мелкими неудачами в жизни, хотя для нее, можно думать, не такими уж и мелкими. Сердце и чистая чувственность преисполняются к ней при знакомстве состраданием, даже несмотря на то, что она как женщина и мать просто ну никуда не годится. В прошлое воскресенье, отличный день без единого облачка, она вдруг объявилась и пригласила нас прокатиться с ней и Гриффитом в их шикарном «пирс-эрроу» с заездом в «Вязы» – немного перекусить. Мы ее приглашение с прискорбием отклонили. Слишком оно было кислое. Мне приходилось в жизни слышать разные неискренние, кислые приглашения, но это было всем кислятинам кислятина. Может быть, тебя, Бесси, позабавил бы такой насквозь фальшивый неискренний дружественный жест, но только я сомневаюсь: ты еще слишком молода, голубка! В глубине своей вполне прозрачной смешной души, и даже совсем не так глубоко, а более или менее на поверхности, миссис Хэммерсмит была раздосадована, что самые близкие друзья Гриффита в лагере – это мы; ее потрясаяще острый глаз мгновенно выделил и предпочел нам Ричарда Мейса и Дональда Уигмаллера, которые живут с Гриффитом в одном коттедже и ей гораздо больше нравятся. А почему – на то есть вполне понятные причины, только я не собираюсь их анализировать в обычном дружеском семейном письме. С течением времени я привыкаю к таким вещам, да и ваш сын Бадди, как вы, конечно, давно убедились, не дурак, несмотря на свой с виду совсем еще нежный юный возраст. Но все равно, когда молодая, привлекательная, обиженная судьбой одинокая мать, пользующаяся всеми социальными благами шикарной аристократической внешности, финансового достатка, кормежки навалом и пальцев в бриллиантах, выказывает такое нездоровое отношение прямо на глазах у сына, совсем еще несмышленишка, и без того страдающего от своего нервного и одинокого мочевого пузыря, – это совершенно непростительно и безнадежно. Безнадежно – это, конечно, слишком общо сказано, но я не вижу на горизонте никакого решения для прискорбных и деликатных проблем такого рода. Я, разумеется, работаю над ними, но, к сожалению, приходится учитывать мой возраст и очень ограниченный опыт в этой жизни.

Сперва, как вы знаете, нас по глупости поместили в разные коттеджи на том основании, что разлучать братьев и прочих членов одной семьи якобы очень полезно и расширяет кругозор. Но после одного довольно остроумного замечания, отпущенного вскользь вашим несравненным сыном Бадди, с которым я полностью солидаризировался, на третий или четвертый день у нас состоялось очень милое объяснение с миссис Хэппи, и я указал ей, как легко упустить из виду его совсем еще смехотворно юный возраст и трогательную потребность в человеческом разговоре и в находчивых ответах, и в результате было получено разрешение для Бадди после субботней проверки перебраться сюда своей собственной трогательной маленькой персоной, со всеми пожитками. Такому приятному обороту дела мы оба не перестаем радоваться и видим в нем простое торжество справедливости. Я ужасно мечтаю, что вы близко познакомитесь с миссис Хэппи, когда – или если – у вас образуется просвет или вы сами его подстроите, чтобы сюда приехать. Вообразите себе роскошную брюнетку, бойкую, музыкальную, с тонким, милым чувством юмора! Приходится напрягать все силы самоконтроля, а то бы так, кажется, и обнял ее – ходит такая по траве в нарядном модном платье! То, что она вдруг – раз! – и полюбила вашего сына Бадди, для меня настоящий подарок, и на глаза наворачиваются слезы, когда их совсем не ожидаешь. Одно из захватывающих удовольствий в жизни для меня – видеть, как молодая ослепительная красавица после непродолжительной легкой беседы над живописным пересыхающим ручьем вдруг ни с того ни с сего начинает понимать истинную цену этому замечательному парнишке. Господи, в жизни довольно подобных высоких удовольствий, надо только не хлопать глазами! Она, я имею в виду миссис Хэппи, и ваша большая поклонница, Бесси и Лес, она много

раз видела вас на подмостках нашего современного Вавилона, главным образом на Риверсайд, где они живут. Ей, как и тебе, Бесси, достались в наследство от природы безупречно стройные ноги с тонкими лодыжками, аппетитный бюст, свежий, аккуратный задик и две очень маленькие ступни с хорошенькими крохотными пальчиками. Вы ведь знаете сами, какая это редкая радость – встретить совершенно взрослого человека, у которого были бы при ближайшем рассмотрении по-настоящему красивые или хотя бы недурные пальцы на ногах; обычно, когда они перестают принадлежать детскому телу, с ними происходят ужасные вещи, вы согласны? Благослови ее Бог, прелестное дитя! Просто невозможно поверить, что эта пикантная милашка на пятнадцать (15) лет старше меня! Предоставляю на ваше, Бесси и Лес, собственное тактичное рассмотрение, доводить ли это до сведения младших детей, но если сохранять полную откровенность между детьми и родителями не только при личном теплом общении, но также и по почте – а я именно к таким отношениям стремлюсь всю жизнь с возрастающе малым успехом, – так вот, тогда я должен признаться не без юмора, что бывают моменты, когда эта умопомрачительная красotka миссис Хэппи, сама того не подозревая, возбуждает во мне всю мою беспредельную чувственность. Конечно, учитывая мой смехотворный возраст, это может показаться забавным, но, увы, только задним числом. Раз или два, принимая ее любезное приглашение зайти после занятий плаваньем в главный корпус выпить чашку какао или чего-нибудь прохладительного, я с удовольствием воображал, хоть и понимая, как это маловероятно, что я постучусь, а она откроет мне дверь совсем без всего. И это смятение чувств, повторяюсь, кажется смешным, только когда оглядываешься назад. Я еще не обсуждал эту неделикатную тему с Бадди, чья чувственность пробуждается в таком же раннем нежном возрасте, как в свое время и моя, но он и сам успел заметить, что я попал в чувственный плен к этому прелестному существу, и отпустил на сей счет несколько иронических замечаний. Бог мой, как я горжусь и дорожу своей близостью с этим скрытым гением и замечательным парнишкой, которому так просто зубы не заговоришь! С миссис Хэппи к осени будет покончено и забыто, но хорошо бы все-таки, дорогой Лес, ты признал, что чувственность мы с Бадди унаследовали от тебя вместе с предательской Венериной кромкой по краю твоей полной и чувственной нижней губы – как, впрочем, и наш несравненный младший брат Уолтер Ф. Гласс, в то время как юные Беатриса и Уэйкер Гласс, в высшей степени достойные личности, этой кромки не унаследовали. Обычно, как ты знаешь, я на разоблачительные признаки в человеческом лице просто плюю, так как они совершенно ненадежны и притом могут быть удалены или стерты Безжалостным Временем, но на выпуклую кромку по краю нижней губы, обычно чуть более темную, чем остальная часть губ, я совсем даже не плюю. Не буду говорить о карме, поскольку знаю и понимаю твою неприязнь к моему страстному случайному увлечению данной темой, но, честное слово, вышеупомянутая кромка – это почти то же, что кармическая ответственность; человек осознает ее и преодолевает – или же не преодолевает – и тогда вступает в честный бой, не ища и не давая пощады. Лично я безо всякого восторга предвижу, как милые телесные желания начнут день за днем отвлекать меня от дел на протяжении тех немногих счастливых лет, что отведены мне в этой жизни. Мне надо будет выполнить в этой жизни грандиозную работу, отчасти еще не вполне ясную, и я тысячу раз предпочту сдохнуть собачьей смертью, чем отвлекаться в решающую минуту на соблазнительные округлости и плоскости роскошной плоти. У меня, как это ни грустно и ни смешно, слишком мало времени. Я, конечно, буду неустанно работать над проблемой чувственности, но хорошо бы, дорогой Лес, ты, наш любящий отец и душевный друг, был для нас как открытая книга и без стеснений и утайки описал свои чувственные переживания в нашем возрасте. Мне довелось читать две-три книжки на эту тему, но они либо действуют возбуждающе, либо совсем не по-людски написаны, и от них никакого проку. Я не спрашиваю, на какие поступки толкала тебя чувственность, когда ты был таким, как мы теперь; гораздо хуже: я хотел бы знать, каким чувственным фантазиям ты втайне предавался, потому что иного органа, чем фантазия, у чувственности ведь нет. Убедительно прошу тебя ничего не стесняться. Мы земные мальчишки и не будем любить и уважать тебя меньше – даже наоборот! – если ты раскроешь перед нами свои самые ранние и самые чувственные грезы; я уверен, что они покажутся нам очень трогательными и милыми. Обязательно наступают такие минуты, когда младшим нужны совершенно откровенные и честные критерии.

К тому же ни твой сын Бадди, ни я, ни твой сын Уолтер совсем не из таких, у кого могут вызвать испуг и отвращение милые земные свойства человеческой природы. Наоборот, человеческая глупость и скотство задевают в нашей груди струны самого нежного сочувствия!

О, боги и малые рыбешки! Как радостно и приятно посреди суетливой лагерной жизни получить чуточку досуга для общения со своими родными! Вы, конечно, даже и не подозреваете, сколько у меня сейчас образовалось совершенно свободного времени, которое я могу употребить на нужды ума и сердца! Полное объяснение см. ниже.

Возвращаясь к моему доверительному и довольно самоуверенному описанию миссис Хэппи, которую вы, я знаю, смогли бы полюбить или пожалеть, — она сейчас изо всех сил тайно старается, чтобы ее малоудачный брак не испортил ей счастья и радостного труда вынашивания ребеночка. В настоящее время она беременна, хотя минует добрых месяцев шесть или семь, пока произойдет событие, которого она еще совсем не понимает. Для нее это все, от начала и до конца, ох какая нелегкая работа. Так ее жалко, бедняжку, с этим растянутым маленьким животиком и с головой, набитой разным умильным вздором, почерпнутым из дурацких медицинских книжек, чьи авторы всегда рассуждают одинаково плоско и доступно, вперемешку со сведениями, полученными от Вирджинии, подруги по колледжу, которая жила с ней вместе в общежитии и, как я понял, превосходно играла в бридж. Здесь, в лагере, должен с огорчением сказать, душевраздирающе несчастных семейных пар полно, но беременной ходит, по моим сведениям, одна только миссис Хэппи. Вот почему, за неимением под рукой вышеназванной Вирджинии, она привлекла в качестве собеседника — меня. То есть воспользовалась ушами семилетнего ребенка! На меня это наваливает гору забот, но по временам немного развлекает. Стыдно признаться, но она совершенно не отдает себе отчета в том, что слушатель ее излияний — ребенок. Она потрясающая застенчивая болтуня и, не попадись ей я, выбалтывала бы свои печальные секреты кому угодно еще, кто первый подвернется. Все, что она говорит, необходимо принимать с большой поправкой. Как она ни мила, честность и искренность ей совершенно не свойственны. Себя она считает очень любящей натурой, а мистер Хэппи, по ее мнению, человек бесчувственный — версия очень удобная в разговоре, но, к сожалению, это полнейший вздор. Видит Бог, мистер Хэппи далеко не сахар, но у него безусловно любящее сердце. С другой стороны, миссис Хэппи хотя и чувствительная особа, но сердце у нее, увы, холоднее ледышки. Так обманываться насчет себя самой! Даже зло берет — и в то же время нельзя тайно не возжелать к ее красоте. Ну неужели она не понимает, что иногда надо взять на руки такого малыша, как ваш сын Бадди, который оказался здесь без мамы и остальных любимых, крепко обнять и чмокнуть, чтобы отдалось по всему лесу? Ей, похоже, неизвестно, как отчаянно бывает нужен в этом огромном, бездушном мире обыкновенный нормальный поцелуй. Одной только обворожительной улыбки тут мало. И чашка ароматного какао с заботливыми пастилками тоже не может служить достойным заменителем, когда речь идет о том, чтобы прижать к груди и поцеловать пятилетнего малыша. Ей-богу, я подозреваю, что ее ждут в будущем серьезные опасности. К исходу лета я уже не смогу быть ей полезен как собеседник, и тогда этой милой красавице грозит моральная беда — нетрудно предвидеть небольшое падение, *degringolade*⁴¹, от простого кокетства и девчоночьей болтовни вниз. При таком, как у нее, недоборе любви и душевного тепла вполне может кончиться тем, что она безоглядно бросится на шею какому-нибудь привлекательному незнакомцу и не сумеет, из гордости и самовлюбленности, одарить своими прелестями действительно близкого человека. Меня это очень беспокоит. К несчастью, я в острые моменты разговора оказываюсь в ложном положении — разрываюсь между добрым, разумным, беспощадным советом и нехорошим желанием, чтобы она открыла дверь безо всего. Если у вас найдется минутка, дорогие Лес и Бесси, — и вы, малыши, тоже, — пожалуйста, помолитесь о том, чтобы мне достойно выбраться из этой дурацкой и досадной сумятицы. Помолитесь, когда будет с руки, но только своими словами, и непременно подчеркните, что я не могу добиться душевного равновесия, поскольку разрываюсь между

⁴¹ Скатывание по ступеням (франц.).

разумным бесспорным советом и простыми вожделениями тела и гениталий, несмотря на их детские размеры. И будьте совершенно уверены, что ваши молитвы, я убежден, даром не пропадут, – вы просто выразите их словами, и они будут приняты, как я вам объяснял один раз зимой за обедом. Если Бог захочет воспользоваться в этом деле мной, я могу принести милой, трогательной красавице необозримую пользу. Причина разлада между миссис и мистером Хэппи в том, что им не удалось стать до конца единой плотью. Если они проявят отвагу и получают толковые инструкции, как правильно себя вести, этого можно добиться запросто и сравнительно в два счета. Я бы сам показал, будь здесь Дезирэ Грин, очень смелая и открытая девочка для своих восьми лет, хотя я бы управился и без демонстрации. Не стесняйтесь молиться за меня по этому деликатному поводу! Уэйкер, старина, я в особенности рассчитываю на силу твоей замечательной невинной молитвы! Помни, что я не вправе уклониться от ответственности под предлогом, что мне всего лишь семь лет. Если бы я стал уклоняться от ответственности на таких несерьезных, никудышных основаниях, то я был бы врун и жалкий притворщик, пользующийся дешевыми, плоскими отговорками. К сожалению, я не могу говорить на эти темы с мистером Хэппи. С ним вообще не очень-то поговоришь, а на такие темы особенно, да и на другие тоже. Если бы даже и подвернулся подходящий случай для разговора, мне пришлось бы привязать мистера Хэппи к ближайшему стулу, чтобы он уделил мне все свое внимание. Он в прошлой жизни вил веревки не самого высокого качества где-то не то в Турции, не то в Греции, не знаю точно. И был казнен за гнилую веревку, из-за которой погибли какие-то высокопоставленные восходители; хотя на самом деле виновато тут было невероятное упрямство и зазнайство в сочетании с небрежностью. Как я обещал вам перед отъездом сюда, я прилагаю усилия, чтобы у меня пореже бывали эти прозрения, пока мы приятно и нормально проводим здесь лето. Так и так в девяти случаях из десяти если и позволишь им промелькнуть в голове, все равно оказывается пустая трата времени, как бы ни отнесся тот, про кого смотришь, – захочет ли обсудить по душам, или содрогнется от жути, или почувствует отвращение.

Ну и длинное же письмо у меня получается! Крепись, Лес! Я даю тебе разрешение прочесть только четверть. Причина такой длины письма в том, что на меня неожиданно свалилась уйма свободного времени, о чем я вам расскажу ниже. А пока в двух словах: я вчера сильно поранил ногу и лежу для разнообразия в постели – вот уж повезло так повезло! Догадываетесь, кто исхитрился получить разрешение находиться при мне для ухода? Ваш возлюбленный сын Бадди! Он должен возвратиться с минуты на минуту!

Мы получили еще несколько замечаний после того, как вы звонили из отеля «Ла Салль», чем нас безмерно обрадовали, хотя слышимость была паршивая. Кроме того, я куда-то задевал свои красивые новые часы, когда у нас прошлый раз было плавание; впрочем, завтра или сегодня после обеда все собираются нырять и искать их на дне, так что не беспокойтесь, если, конечно, они не пропитались безнадежно водой. Возвращаясь к замечаниям, почти все они – за постоянную неопрятность в содержании коттеджа, да еще целый букет за то, что мы не пели у костра и ушли со сбора без разрешения. Так и живем. Господи, надеюсь, вы чувствуете на расстоянии, как мы по вас скучаем, дорогие Бесси и Лес и три моих любимых карапуза! Мне бы так хотелось написать вам простое письмо, не отягченное бременем великолепных стилистических оборотов! Боюсь, если полностью выполнять высокие требования безупречного письменного стиля, я совсем перестану узнавать в написанном самого себя, вашего сына и брата. Здесь, кажется, проглядывает будущее проклятие моей жизни, но я приложу все старания и буду надеяться на почетное доброе перемирие.

Тысяча благодарностей за ваше забавное и чудесное письмо и несколько открыток! Лес, мы с облегчением и огромной радостью узнали, что Детройт и Чикаго оказались не очень утомительны. И также рады были узнать, что молодой мистер Фей был с вами в Чикаго в одной программе. То-то для тебя, Бесси, была радость, если ты все еще питаешь безобидную дружескую страсть к этому замечательному парню. Я целый год после того, как мы с ним так приятно и ве-

село болтали, оказавшись в одном такси под роскошным проливным дождем, собирался вдруг, ни с того ни с сего, написать ему письмо. Он очень умный и счастливо оригинальный артист, у него еще будет, пока он работает, много подражателей и просто плагиаторов, попомните мое слово. После доброты оригинальность – одно из самых потрясающих явлений природы, и такое редкое! Сообщайте нам, пожалуйста, в будущих письмах все ваши дальнейшие милые новости, чем мельче и незначительнее – тем интереснее. Новость насчет «Бамбалины» – превосходная и более чем просто важная! Вы уж постарайтесь хорошенько, умоляю вас! У нее такая прелестная мелодия. Если вы закончите запись, пока мы еще в лагере, сразу же пришлите сюда одну из первых пластинок, у миссис Хэппи на квартире есть граммофон в неважном состоянии, и я не постесняюсь воспользоваться нашей своеобразной дружбой ради такого дела. Не переставайте трудиться! Ей-богу, вы – замечательная, талантливая, великолепная пара! Я бы безгранично восхищался вами, даже если бы мы не были родными, можете мне поверить. Бесси, голубка, мы надеемся, черт подери, что ты снова в отличном настроении и не особенно злишься, что опять надо отправляться на гастроли. Если ты до сих пор не собралась сделать то, что клялась и божилась обязательно сделать для моего дурацкого спокойствия, пожалуйста, поторопись и выполни свое обещание. Это определенно киста, по моему нешуточному мнению, и квалифицированный хирург запросто прижмет ее или срежет – оглянуться не успеешь. В поезде по дороге сюда я разговаривал с одним симпатичным врачом, и он сказал, что их удаляют совершенно безболезненно: чик – и готово. Боже мой, человеческое тело такое трогательное, со всякими недостатками, опухольями и прыщиками, которые неизвестно почему вдруг выскакивают и проходят у взрослых. Вот еще один повод почтительно снять шляпу перед Господом Богом в трудный день; я лично не могу и не хочу думать, что Бог сам сводит всякие прыщи и нарывчики с человеческих лиц вплоть до какого-нибудь пятнышка. Я никогда не видел, чтобы Он занимался пустяками. Оставляю эту деликатную тему и просто шлю вам всем пятерым пятьдесят тысяч поцелуев. И Бадди бы тоже непременно ко мне присоединился, если бы был здесь. Это подводит, боюсь, к другой деликатной теме. Бесси и Лес, обращаюсь к вам вполне серьезно. Не обижайтесь, но вы совершенно, абсолютно и очень опасно заблуждаетесь, полагая, что он ни по ком никогда не скучает, кроме меня. Бадди, я имею в виду. Честно говоря, мне было бы гораздо спокойнее, если бы ты, дорогой Лес, больше не повторял мне по телефону эту обидную и совершенно ошибочную чепуху. Прямо ноги подкашиваются, когда твой родной, любимый, талантливый отец в телефонном разговоре высказывает такие несправедливые, неправильные и крайне неумные мысли. Замечательная личность, о которой идет речь, просто не носит свою душу нараспашку, как большинство других людей, включая тебя и меня. Первое и главное, что вам следует помнить об этом маленьком милом парнишке, – это что он будет всю свою жизнь стремиться поскорее плотно закрыть за собой двери, как только очутится в помещении, где имеется достаточный запас отточенных карандашей и вдоволь писчей бумаги. Я совершенно бессилен, да и не хотел бы, пожалуй, ничего тут изменить. Дело это давнее, и тут многократно затронута честь, уверяю вас! Вам, его нежным родителям, так или иначе не под силу облегчить его ношу, но, заклинаю, хотя бы не наваливайте на детские плечи дополнительный груз вашей укоризны. А во всем остальном он – самое сообразительное Божье создание из всех, кого я встречал, берет жизнь из первых рук, а не по рекомендации каждого встречного-поперечного. Он будет легко и деликатно направлять всех детей в нашей семье еще долго после того, как я совсем перегорю и стану бесполезен или просто сойду со сцены. Мальчику моих лет нехорошо так неуважительно говорить с любимым отцом, но в Бадди вы с Бесси совершенно ничего не смыслите. И давай-ка поскорее перейдем к менее щекотливым материям.

В субботу на прошлой неделе наш лагерь посетил некий столичный конгрессмен, однополчанин мистера Хэппи. Просто не на что смотреть, я давно не встречал такого неинтересного человека, лучше было бы вообще не упоминать о нем в личном письме. По всему лагерю распространился дух неискренности и порчи в благовидном облике; до сих пор воняет – не продохнуть. А как перед ним лебезил и притворно подхихикивал мистер Хэппи – просто нет слов! Я сумел столкнуться с миссис Хэппи у них на крыльце и убедительно просил ее по мере сил и возможно-

стей, пока длится эта малоприятная бодяга, не допускать, чтобы тошнотворный конгрессмен и заискивания мистера Хэппи вредно влияли на нее и ее чудесного крошечного зародыша. Она согласилась. Позднее, исключительно ради нее, я скрепя сердце подчинился просьбе и повелению мистера Хэппи прийти с Бадди после ужина к ним в коттедж кое-что спеть и показать для развлечения их гостя, вышеупомянутого конгрессмена. Вообще-то у меня нет ни малейшего права принимать непристойные приглашения за моего любимого младшего брата, я надеюсь втайне, что Всевышний сурово спросит с меня за преступный произвол; меня никто не уполномочил выносить скоропалительные решения, не посоветовавшись с этим умным парнишкой. Но так уж получилось, что мы с ним посоветовались уже после того, как приглашение было принято, и уговорились не надевать чечеточных ботинок с подковками, когда пойдем туда, но это дало нам только обманчивое и ложное облегчение. В разгар вечера мы согласились станцевать в мягкой обуви! И как на грех, мы оказались в превосходной форме, потому что аккомпанировала на аккордеоне миссис Хэппи, а трудно не быть в превосходной форме, если тебе из рук вон плохо аккомпанирует на аккордеоне великолепная красавица, – это и трогает, и смешит. При всей нашей крайней молодости, мы беспомощно пасуем перед великолепными бездарными красавицами. Я над этим работаю, но проблема крайне сложная.

Пожалуйста, умоляю вас, умоляю, не теряйте терпения и нежного внимания к этому письму за то, что оно так разрослось! Если почувствуете, что близки к ледяному пределу, сразу вспомните, сколько у меня сегодня оказалось свободного времени и как я нуждаюсь в общении с пятью отсутствующими членами моего родного семейства! Я не создан для долгих отсутствий, я никогда не притворялся, что силен в них. И потом, многие мои сообщения и вести обещают оказаться очень интересными, прекрасными и благими.

Как вы отлично знаете сами, в душе мы никогда не меняемся. Однако снаружи мы немножко загорели и стали выглядеть вполне как здоровые лагерные дети. Конечно, все это чертово здоровье нам очень даже понадобится. Недавно произошел такой малоприятный эпизод. Здесь всем давным-давно известно, что мы – дети знаменитых Галахер и Гласса и что мы сами, следуя вашему замечательному примеру, уже стали вполне умелыми и опытными эстрадными артистами; но теперь еще по всему лагерю распространились слухи, что мы оба, ваш маленький сын Бадди и я, с самого юного возраста беспробудно много читаем, а вдобавок обладаем разными способностями, умениями и приемами, не представляющими особой ценности, но связанными с серьезной ответственностью, принесенной нами из предыдущих существований, особенно из последних двух, нелегких. Ваш юный сын Бадди справляется со всем этим в целом отлично, а ведь тут требуется широкая грудь, можете мне поверить. Только представьте себе, если выберете минутку, какой смачный интерес, какую пищу для сплетен и злопыхательства дает парнишка пяти лет, если он – превосходный читатель и писатель, совершенствующийся день ото дня семимильными шагами, и к тому же еще, хоть и смехотворно маленький на первый взгляд, он потрясающе разбирается в человеческих лицах, масках и выражениях – видит тщеславие, всплески отваги, безобразное вранье! Вот сколько всего ему досталось на долю, малышу. Теперь представьте дальше, какой пышный цвет дадут эти слухи, даже частично просочившись и распространившись среди ребят и воспитателей. Так вот, именно это и произошло. К сожалению, как Бадди прекрасно понимает, во многом тут он сам по неосмотрительности виноват. Боже мой, до чего же веселый и славный спутник мне достался на ухабистом жизненном пути! Вот в двух словах весь этот дурацкий эпизод. Мистер Нельсон, болезненный обожатель сенсаций и нашептыватель слухов, единолично распоряжается, как вы уже знаете, в столовой на пару со своей женой миссис Нельсон, несчастной, сварливой и злобной особой. Столовая, когда там никого нет, – единственное на весь лагерь благословенное место, где можно хоть немного побыть одному. Бадди с самого начала присмотрел для себя этот укромный уголок. И во вторник на исходе знойного дня предложил мистеру Нельсону пари, что за двадцать минут, максимум за полчаса, запомнит наизусть книжку, которую тот читает. Если он это сделает, тогда мистер Нельсон, со своей стороны, в знак признания его заслуги позволит нам, братьям Гласс, пользоваться в сво-

бодное время этим пустым уютным сараем для чтения, письма, изучения языков и других очень насущных личных нужд, как, например, проветривание своих мозгов от чужих, бывших в употреблении мыслей, которые жужжат по всему лагерю, как назойливые мухи. Господи, до чего же я не выношу и не одобряю сделки со взрослыми – не важно, способны ли они отвечать за свои слова или же они люди нечестные! Этот замечательный, независимый мальчишка, не посвятив меня в свой ужасный план, взял и заключил сделку с мистером Нельсоном, хотя мы с ним не раз перед побудкой говорили о том, что желательно держать язык за зубами насчет некоторых наших свойств и способностей. Еще хорошо, что дело не окончилось полным провалом и проигрышем. Книга оказалась «Твердые древесные породы Северной Америки», авторы – Фоли и Чемберлин, очень скромные и непритязательные люди, я ими давно восхищаюсь, мне нравится их заразительная любовь к деревьям, особенно к буку и благородному дубу, они почему-то трогательно пристрастны к буку. Так что разговор у нас с Бадди получился не такой уж резкий и обидный – до слез, слава Богу, не дошло. Однако старший воспитатель Уайти Питмен из Балтимора, штат Мэриленд, закадычный дружок мистера Нельсона и большой зубоскал, кое-что пронюхал про демонстрацию Бадди и стал без зазрения совести спекулировать этим ради красного словца. Надо ему отдать должное, он потрясающе умеет набирать очки за счет кого-нибудь маленького – эдакий умный стервятник и разговорный паразит. И этот Питмен, тип двадцати шести лет от роду, не младенец, кажется, умудрился сказать вашему сыну Бадди при чужих людях, столпившихся вокруг: «Это ты ведь вроде у нас известный умник?» Ну можно такое говорить пятилетнему ребенку? Хорошо хоть Бог упас всю нашу семью от позора и неловкости: у меня не оказалось под рукой пристойного оружия в ту минуту, когда было сделано это возмутительное вздорное замечание. Однако позже, когда представился случай, я предупредил Роджера Питмена (таково полное имя, данное ему несчастными родителями), что не успеет стуситься ночная мгла, как я убью его или себя, если он еще раз осмелится при мне так разговаривать с этим парнишкой – или с любым другим пятилетним малышом. Я бы, надеюсь, в решающий момент все-таки справился с этим преступным порывом, но следует, увы, помнить, что струйка опасной неуравновешенности бежит по моим жилам, точно маленький бурный поток, и нельзя на это закрывать глаза; я не успел, по неразумию и к большой досаде, излечиться от нее за две предыдущие жизни. Простой дружеской молитве она не поддается. Тут от меня требуется упорная, неотступная работа, и слава Богу, а то бы я стал молиться какому-нибудь святому слабачку, чтобы он вмешался и навел за меня порядок там, где я набезобразничал. Тошно даже подумать. Однако язык человеческий легко может послужить в этой жизни причиной моего падения, если я вовремя не соберусь в дорогу. Я тут с самого первого дня пробую, как могу, многое списывать на счет вредного влияния людской злобы, страхов, вражды и нутряной неприязни ко всему незаурядному. Пожалуйста, не читайте мое чересчур поспешное признание вслух близнецам и позаботьтесь, чтобы оно не достигло прежде срока ушей Бу-Бу, но скажу вам честно сквозь потоки слез, бегущих по моему неуравновешенному лицу, что в глубине души не возлагаю чрезмерных надежд на человеческий язык, каким он известен нам сейчас.

Если предыдущая страница получилась очень уж досадно неразборчивой, вспомните, что я пишу со страшной, головокружительной сверхскоростью, тут уж не до красот почерка. Не успеешь дух перевести, как настанет время ужина, так что я пишу наперегонки со временем. Как ни возмутительно, но в малышовом коттедже полагается каждую ночь спать по десять часов, ровно в девять вечера вырубается свет и воцаряется тьма. Я несколько раз обращался по этому вопросу к мистеру Хэппи, но без толку. Господи, ну что за человек! Он если не доводит до бешенства, то вызывает истерический смех – одинаково пустая трата времени. Может быть, ты, милый Лес, позволишь себе обратиться к тебе лично, напишешь ему короткое любезное твердое письмецо, что, мол, для всякого, кто владеет хотя бы самыми элементарными навыками разумного дыхания, десять часов сна – это полнейшая чушь и насилие. У нас, конечно, есть фонарики, но пользоваться ими в постели страшно неудобно, освещение слабое и действует на нервы.

Ото всей души презираю себя за то, что описал вам только темную и унылую сторону ла-

герной жизни. При таком неправильном подходе осталось обойдено молчанием много чудесных вещей, с которыми все гладко и прекрасно. Вопреки моим вышеприведенным мрачным замечаниям каждый день щедро усыпан счастьем, телесными радостями, весельем и даже раскатами звонкого смеха. Показываются разные симпатичные звери, когда совсем не ждешь, как, например, бурнучки, неядовитые змеи, а вот оленей нет. Я позволяю себе сомнительную вольность послать тебе, Лес, несколько игл от мертвого (но не больного) дикобраза – может быть, они помогут тебе решить застарелую проблему с гнущимися и ломкими зубочистками. Природа – и вокруг, и прямо под ногами – ошеломительная. К моей радости и полному изумлению, ваш сын Бадди оказался настоящим натурофилом! Вот уж чего я от него никак не ожидал. Мне самому тоже нравится жизнь на лоне природы, но только до определенных пределов, в глубине души я на расстоянии от холодных, бесчеловечных нелепо-громадных городов типа Нью-Йорка или Лондона чувствую себя не в своей стихии. А Бадди, наоборот, в будущем непременно вырвется из большого города, это совершенно очевидно; пройдет всего несколько лет, и нам его нипочем не удержать. Видели бы вы его здесь пробирающимся через густые заросли, когда начальство хоть ненадолго предоставляет нас самим себе: как он ступает – легко, целеустремленно, неслышно, ну настоящий краснокожий лазутчик! Каждый вечер я смеюсь и плача извожу на этого упрямого ведра йода, смазывая с ног до головы все его бедное тельце, изувеченное шипами ежевики и другими зловредными колючками. Книжки про съедобные и несъедобные растения, некоторые отличные, а некоторые так себе, с удовольствием прочитанные нами перед отъездом сюда, пришлось очень даже кстати: благодаря им мы можем под покровом тайны готовить себе отличные кушанья из распаренной лебеды, молодой крапивы, дикого портулака и поздних нежных побегов коричневого папоротника, используя в качестве кастрюли кружку из столовой, и к нам нередко присоединяется трогательный карапуз Гриффит Хэммерсмит, у которого в благоприятной обстановке проявляется потрясающий, волчий аппетит. Да, чтобы не забыть по рассеянности. Бесси, голубка, Бадди просит прислать ему еще блокнотов, гладких, без линеек, а также яблочного пюре и кукурузной засыпки, он, можно сказать, ею одной и питается, когда есть возможность в тишине поесть в свое удовольствие. Заверяю вас, что кукурузная засыпка ему очень полезна, его детское тело, если хотите знать, вообще предрасположено к кукурузе и ячменю. Он сам вам скоро напишет, если будет удобная обстановка и подходящее настроение. Знали бы вы, как он сейчас занят! Сколько я его помню, он никогда еще так много не работал: написал шесть новых рассказов, местами смешных от первого до последнего слова, про одного англичанина, который возвратился из заморских стран, где с ним происходили удивительные приключения. Не могу вам передать, до чего отрадно глядеть на человека пяти лет от роду, который садится на свой милый, смешной тощий задик – и в два счета у него уже готов занимательный рассказ, написанный вдохновенно и с немалым искусством! Даю вам слово чести, вы еще о нем услышите; не проходит вечера, чтобы я мысленно не снимал перед вами шляпу в благодарность за то, что вы произвели его на свет; ваша роль в его рождении меня очень трогает и радует, тем более что тогда, после рождественских каникул, – помните? – на меня нашло отвратительное прозрение и открылось, что в прошлом существовании наша близость с тобой, Лес, если ты еще читаешь, была довольно поверхностной и омрачалась раздорами. Продолжаю не спеша. Теперь о моих писаниях. Я закончил двадцать пять (25) приличных стихотворений, о которых держусь довольно низкого мнения, потом еще шестнадцать, имеющих некоторые достоинства, при недостатке свободного дыхания, и еще десять, которые оказались бессознательными безнадежными подражаниями Уильяму Блейку, Уильяму Вордсворту и двум-трем другим умершим гениям, чьи внезапные кончины не перестают ранить меня как ножом. Общая картина моей поэзии довольно бедная и гнетущая. Глубоко убежден, что из всего написанного мною за лето единственное стихотворение, представляющее серьезный личный интерес, я так и не написал. Помните, когда вы, не думая о деньгах, звонили из отеля «Ла Салль», я рассказывал, как мы и остальные обитатели лагеря провели целый день в Уэл-Фишерис? По пути туда нас кормили отличными сытными сэндвичами в «Колборне», благопристойном широко известном отеле, где обычно с удовольствием останавливаются молодожены во время медового месяца. Прогуливаясь с Бадди и Хэммерсмитом по берегу озера, я заметил одну такую пару, они весело и самозабвенно резвились у воды. Я сразу сооб-

разил, что к чему, и вдруг всем существом ощутил потребность в гармонии с этими чужими мне, любящими людьми. Мне захотелось сочинить стихотворение про то, как опять, в какой-нибудь сотысячный раз, новобрачный из отеля «Колборн» плеснул водой в свою молодую жену. Я не раз видел собственными глазами, как брызгаются друг на друга парочки на Лонг-Бич и других общественных пляжах. Ты бы, Бесси, голубка, тоже наблюдала бы за ними с удовольствием, некоторым сочувствием и легкой полуулыбкой; однако ни в одном бессмертном поэтическом творении я не встречал этого мотива. Вот и приходится возмещать упущение мне. Давайте, однако, оставим эту колкую тему. Сообщаю исключительно для вашего сведения, и, может быть, еще передайте мисс Овермен, но только при твердом условии, чтобы дальше не пошло, потому что она, к сожалению, не обладает талантом помалкивать о том, что ей сказано по секрету, – так вот, мы продолжаем овладевать итальянским и повторяем понемногу после отбоя испанский. Это нахальный недвусмысленный намек, что нам очень кстати пришлось бы свежие батарейки.

Лес, я так упиваюсь возможностью писать, не прислушиваясь к этим чертовым звукам горна, что совсем теряю от восторга чувство меры. Если ты устал читать или просто тебе дальше неинтересно – не надо, не читай больше, я разрешаю ото всей души. Я сознаю, что и так злоупотребил твоим доброжелательством, отцовскими чувствами и прославленным веселым терпением. Бесси, конечно, не почтет за труд передать тебе вкратце содержание того, что еще будет написано ниже. А ты закури с наслаждением сигарету, брось мое дурацкое письмо, как горячую картофелину, и спустись в фойе той гостиницы, где вы сейчас живете, чтобы с чистой совестью и моим сердечным благословением развлечься хорошенько; партия в бильярд или в картишки будет, по-моему, самое оно, а?

Продолжаю с упоением, как Бог на душу положит. Мы пока еще не пользуемся особой любовью других ребят, живущих с нами в одном коттедже, а это Дуглас Фолсом, Барри Шарфмен, Дерек Смит мл., Том Лантэрн, Мидж Иммингтон и Рэд Силвермен. Том Лантэрн⁴²! Ну разве не замечательно прожить жизнь с таким именем? К сожалению, однако, этот юноша, кажется, решил никогда не возжигать своего светильника, так что его восхитительному имени грозит опасность пропасть зазря. Это слишком резкое суждение, я знаю. Мои суждения вообще недопустимо часто бывают чересчур резкими, это факт. И я над этим работаю. Но нынешним летом я, к сожалению, явно слишком часто даю волю резкости. Дай Бог тебе удачи, Том Лантэрн, зажжешь ты там в своем фонаре свет или нет! На верхнем этаже нашего довольно безобразного коттеджа живет один мальчик, настоящая соль земли! Его как ни хвали, ни превозноси, все будет справедливо, уверяю вас. Он часто в свободные минуты скатывается кубарем по здешним хлипким лестницам поболтать на досуге с вашими недостойными сыновьями и рассказать нам весело и открыто о своих друзьях, знакомых и врагах, которые остались у него дома в Трое, штат Нью-Йорк, – на самом деле это такая большая деревня под Олбани – и вообще о жизни и человечестве, которыми он, несмотря на обманчивую видимость, ото всей души восхищается. Его доблесть, я думаю, вполне способна разбить вам сердце – или, по крайней мере, оставить на нем болезненную шербинку; ведь просто чтобы сказать нам «привет», сколько этой доблести требуется! Мы же, я забыл упомянуть, в настоящее время подвергнуты остракизму. Этого паренька зовут Джон Колб, возраст – 8 1/2 лет, по праву он должен быть в средней группе, но там для него не нашлось места, вот как вышло, что нам выпала честь оказаться его соседями в нашем переполненном коттедже. Заклинаю вас: занесите это благородное, доброе имя на скрижали вашей памяти на теперешнее и будущие времена! Жаль только, стоит разговору затянуться больше чем на пять минут, и этот неустрашимый, деятельный мальчик готов просто заплакать от скуки: поднимаешь глаза – и, к своему недоумению, видишь, что его обаятельного, доброго лица уже перед тобою нет, вот смех-то! Я бы не знаю сколько лет жизни отдал, чтобы как-то помочь в будущем этому парнишке. Он любезно дал мне слово, даже не подозревая, почему я его прошу об этом, что, когда вырастет, не возьмет в рот ни капли виски и вообще спиртного, но, увы, у меня

⁴² Lantern — фонарь (англ.).

имеются неприятные основания сомневаться, что он его сдержит. В нем дремлет предрасположенность к утешительному алкогольному оглушению; ее, правда, можно преодолеть, если он сосредоточит на этом все душевные силы, подключив некоторые особые таланты; но он, боюсь, слишком добрый и нетерпеливый мальчик, чтобы все свои душевные силы направить на одно. У нас есть его адрес в Трое, штат Нью-Йорк. Если буду жив, когда подойдет решающее время, я без минуты колебаний ринусь в эту маленькую Трою, чтобы в случае нужды выступить на его защиту; для этого, возможно, потребуется и мне испить чашу, которая меня оглушит, но поймите: мы полюбили этого мальчика, не знаящего предубеждений. Господи, доблестный мальчик восьми с половиной лет – с ума можно сойти! Здесь заключена горькая ирония, но уверяю вас: доблестные люди гораздо больше нуждаются в защите, чем кажется. Целую твои невоспетые благородные стопы, Джон Колб из Трои, родной брат нежестокоего Гектора!

В остальном же мы прекрасно со всеми ладим, когда представляется возможность, принимаем участие в бесконечных спортивных играх и занятиях, порой даже с полнейшим удовольствием. Очень удачно сложилось, что мы на свой лад превосходные атлеты и отлично играем в бейсбол – пожалуй, самую упоительную и чудесную игру во всем Западном полушарии; даже злейшие враги не могут отрицать нашего скромного совершенства. Нам тут не из-за чего особенно заноситься, это не наша заслуга, а веселый дар из предыдущей жизни: в любой игре с мячом мы легко достигаем совершенства, почти даже не стараясь, а в играх без мяча, увы, никуда не годимся. Помимо спорта и коллективных игр у нас вообще тут чисто случайно набралось немало верных друзей до гроба. Но вы, в трудной роли наших любимых родителей, Бесси, пожалуйста, постарайтесь смотреть некоторым фактам в лицо и не прятать голову перед кое-какими просматривающимися истинами. Говорю вам вот сейчас прямо и определенно, а вы запомните и безо всяких ахов и охов сохраните в глубинах памяти впрок на будущее, что, пока не наступит конечный час наших жизней, уйма народу будет приходить в бешенство и кипеть злобой при одном появлении наших лиц на горизонте. При одном только виде наших лиц, заметьте, я уж не говорю о своеобразных и часто несносных наших личностях! Это было бы даже немного смешно, если бы за мою короткую жизнь мне не приходилось уже многие сотни раз наблюдать такую ситуацию с тоской и душевной мукой. Остается только надеяться, что, продолжая день за днем улучшать и совершенствовать свои характеры, успешно искореняя всякую подлость, кажущуюся заносчивость и избыточную эмоциональность, черт бы ее драл, а также и ряд других свойств, в корне никуда не годных, мы в конце концов перестанем с первого взгляда и даже просто понаслышке возбуждать в других людях столько ненависти и смертельной вражды. Я рассчитываю добиться хороших результатов – хороших, но не потрясающих: потрясающих результатов я, честно сказать, не предвижу. Только ни в коем случае не позволяйте из-за этого мраку затмить ваши души. Сколько зато на свете всевозможных радостей и утешений! Ну видели ли вы когда-нибудь других таких неустрашимых крепышей, как ваши два отсутствующих сына? Разве среди яростных вихрей и собирающихся бурь наши молодые жизни не остаются чудесным незабываемым вальсом? Может быть, даже, если вы на минутку постараетесь дать волю воображению, тем единственным вальсом, который сочинил Людвиг ван Бетховен на смертном одре! На этой заносчивой мысли я стою без стыда. Бог мой, чего только не напридумываешь, каких потрясающих вольностей не позволишь себе с простым недопонятым вальсом, если хватит отваги! За всю мою жизнь, клянусь, не было утра, когда бы я не слышал, пробуждаясь, двух чудесных ударов дирижерской палочки в отдалении! И мало музыки вдали, нас еще со всех сторон окружают приключения и романтика, заботливо насаждают интересы и увлечения; и никогда я не видел, благодарение Богу, чтобы мы оказались беззащитны перед равнодушием. Разве можно пренебрегать такими дарами? А что еще поверх этой груды сокровищ? Талант обзаводиться множеством считанных дорогих друзей, которых мы будем горячо любить и оберегать от бессодержательного зла до конца наших жизней, а они, со своей стороны, будут в ответ любить нас и никогда не предадут без горькой душевной муки, что, уверяю вас, гораздо лучше, почетней и отрадней, чем предательство вообще безо всякой муки. Надо ли говорить, что я упоминаю здесь об этих огорчительных пустяках, чтобы вы могли при надобности извлечь их из своей нежной памяти до или

после нашего безвременного ухода; а пока пусть они вас не печалят. Еще на светлой, бодрящей стороне грессбуха – не забудьте и посмейтесь – наша неуклонная обязанность, а часто и сомнительная привилегия – приносить с собой из предыдущих существований наш творческий гений. Трудно сказать, на что мы его употребим, но он неотступно с нами, хотя и дьявольски медленно созревает. В лагере, как я убедился, он обретает особенную непреодолимую силу после отбоя, когда дурацкие наши мозги послушно укладываются спать и в голове наконец-то воцаряется покой и полностью прекращаются бешеные хороводы; и вот тогда, в эти недолгие переходные минуты, можно видеть его сверкание в ослепительном свете, о котором я по секрету тебе рассказывал, Бесси, минувшей весной, когда мы сидели и болтали с тобой на кухне. То же самое сияние я наблюдаю и в душе замечательного малыша, которого вы дали мне в спутники и младшие братья. А когда оно становится невыносимо ярким, я засыпаю, твердо веря, что мы, ваш сын Бадди и я, точно такие же славные, глупые и земные люди, как и все остальные ребята и воспитатели в этом лагере, и так же заботливо одарены симпатичной, глупенькой, трогательной слепотой. Бог мой, представляешь, какие перспективы и возможности лежат перед человеком, твердо и непоколебимо знающим, что он в своей основе такой же заурядный и нормальный, как все! Немного неотступного преклонения перед выдающейся красотой и внутренней порядочности, и если еще твердо верить, что мы такие же нормальные и обыкновенные, как все люди, и что дело тут не в том, чтобы, как другие мальчишки, обязательно высовывать язык, когда пойдет прекрасный первый снег, – что нам тогда помешает сделать немного добра в этой жизни? В самом деле, что? – при условии, что мы употребим в дело все свои способности и будем по возможности соблюдать тишину?" Молчи! Иди вперед, но никому ничего не говори!" – как сказал несравненный Цзян-Самдуп. Совершенно справедливо, хотя очень трудно и никому не хочется.

Я не стесняюсь пропускаю то, что записано в грессбухе на темной стороне, замечу только, что, к сожалению, подавляющее большинство ваших детей, Бесси и ты, Лес, если ты еще не удалился вниз поразвлекаться, отличаются довольно мучительной способностью страдать от боли, которая, в сущности, вовсе даже не их боль. Бывает, что от нее как раз отделался совершенно чужой человек, какой-нибудь лежебока в Калифорнии или Луизиане, с которым мы даже не имели удовольствия ни разу встретиться и обменяться хотя бы двумя-тремя словами. Говоря не только за себя, но также и за вашего отсутствующего сына Бадди, я не вижу, как можно вообще не испытывать по временам некоторой боли, пока мы еще не осуществили всего, что нам дано и предназначено осуществить в теперешнем увлекательном воплощении. Жаль, добрая половина боли вокруг принадлежит другим людям, которые прячутся от нее либо же не умеют за нее твердо взяться! Зато могу вам обещать, дорогие Бесси и Лес, когда мы выполним все, что нам предназначено и дано осуществить, мы удалимся, на этот раз бодро и с чистой совестью, чего нам до сих пор никогда толком не удавалось. Опять же, говоря за вашего возлюбленного сына Бадди, который должен вот-вот возвратиться, еще обещаю вам, что один из нас обязательно, по тем или иным причинам, будет присутствовать при уходе другого; это вполне предрешено, насколько я знаю. Я не мажу картину будущего черной краской. Это произойдет не завтра и вообще еще не скоро! Я лично проживу, уж во всяком случае, не меньше, чем хороший телеграфный столб, то есть добрых тридцать (30) лет, если не дольше, – нешуточный срок. У вашего сына Бадди еще больше лет впереди, могу вас обрадовать. А пока в запасе столько времени, пожалуйста, Бесси, попроси Леса прочитать следующие замечания, когда – и если – он возвратится с нижнего этажа гостиницы или из другого веселого местечка, куда он, возможно, предпочел удалиться. Лес, очень прошу тебя, будь с нами терпеливее в свободные дни. Старайся по возможности не особенно огорчаться и не впадать в мрачность, когда мы оказываемся не очень похожи на других, обыкновенных мальчиков, может быть, на мальчиков из твоего детства. В частые минуты печали спешి вспомнить, что вообще-то мы самые что ни на есть обыкновенные и только становимся немного менее обыкновенными, когда происходит что-то важное и ответственное. Бог мой, я решительно отказываюсь ранить вас дальнейшими рассуждениями такого рода, но, по честности, не стираю ни одного из вышеприведенных общих малоприятных замечаний. Боюсь, что они остаются в силе. Да и вам мало было бы пользы, если бы я их и стер. В большой мере из-за моего

малодушия и мягкотелости вы дважды в предыдущих жизнях уклонялись от того, чтобы заранее взглянуть аналогичной правде в глаза; боюсь, что в третий раз я такого вашего страдания не вынесу. Отложенная боль – самая мучительная на свете.

Переменим тему, и я сообщу вам приятную и радостную новость. У меня лично от нее просто дух захватывает! Либо этой зимой, либо следующей, которая наступит оглянуться не успеешь, ты, Бесси, Лес, Бадди и нижеподписавшийся – мы все вместе отправимся на крайне важный и ответственный прием, равного которому по важности и ответственности нам с Бадди никогда больше не доведется посетить ни в обществе друг друга, ни поодиночке. На этом приеме, уже за полночь, мы познакомимся с одним очень толстым человеком, который сделает нам просто за разговором несколько прямолинейное деловое профессиональное предложение, связанное с нашими превосходными певческими и танцевальными талантами, и это еще далеко не все. Предложение полного господина нельзя сказать, что серьезно изменит нормальное, обычное течение нашего детства и ранней забавной юности, но поверхностный переворот, могу вас заверить, будет грандиозным. Однако это еще только половина. Лично мне, скажу от всей души, вторая половина гораздо больше по сердцу. Второе, что я видел, – это Бадди через много-много лет, окончательно лишенный моего сомнительного любящего присутствия: он сидит за громоздкой блестяще-черной шикарной машинкой и пишет как раз об этом вечере! Он курит, а по временам сцепляет пальцы и устало, задумчиво закидывает руки за голову. Он седой; Лес, он старше, чем ты сейчас! Вены у него на руках заметно выступают, и я ему об этом видении вообще ни словом не обмолвился, учитывая его детское отвращение к выступающим венам на руках у взрослых. Так что вот. Вы можете подумать, что эта картина до боли пронзила сердце случайного наблюдателя и он, лишившись слов, не в состоянии обсуждать ее со своей горячо любимой просвещенной родней. Так вот – ничего подобного! Мне надо только сделать один как можно более глубокий вдох – сразу помогает от головокружения. Больше всего пронзил мне сердце вид его комнаты. Это воплощение всего, о чем он мечтал маленьким! С чудесным окном прямо в потолке, которым он, я точно знаю, всегда любовался из прекрасного читательского далека. Да еще со всех сторон – великолепные полки, на которых размещаются книги, радиола, блокноты, наточенные карандаши, угольно-черная дорогая пишущая машинка и другие милые личные вещицы. Боже мой, он будет вне себя от счастья, когда увидит эту комнату, помяните мое слово! Это мое самое радостное и светлое прозрение в жизни и, кажется, верное безо всяких оговорок. Скажу не задумываясь, что вовсе не против, если бы оно оказалось в моей жизни последним. Однако те два крохотных манящих оконца, о которых я вам рассказывал в прошлом году, пока еще далеко не закрыты; наверно, еще годик или около того – и положение начнет меняться. Будь моя воля, я бы их без колебаний сам закрыл, ведь за все время только в трех или четырех случаях довелось увидеть что-то такое, ради чего стоило рисковать потерей нормального рассудка и благодатного душевного покоя и ставить в неловкое положение родителей. Но вы только попытайтесь представить себе, какая это радость – увидеть вашего сына Бадди, вдруг из пятилетнего парнишки, уже сейчас не способного равнодушно пройти мимо карандаша, в одночасье превратившегося в зрелого смуглолицего писателя! Вот бы мне когда-нибудь в отдаленном будущем возлечь на пуховом облаке, может быть, с крепким сочным яблоком в руке и прочесть от слова до слова все, что он напишет о том важном, решающем вечере, который нам предстоит! Первое, надеюсь, что этот одаренный малыш опишет, став зрелым смуглолицым писателем, – это кто где располагается в комнате в тот ответственный вечер перед самым нашим уходом из дому. Когда большая семья отправляется в гости или просто в ресторан, самое прекрасное – это нетерпеливые непринужденные позы всех в ожидании последнего копуши. Мысленно я умоляю милого поседевшего будущего писателя начать именно с прекрасной сцены расположения людей в комнате; по моему, это будет самое удачное начало! И вообще, я вас уверяю, увидеть картину этого вечера было для меня очень вдохновляющей радостью. Потрясающе, как свободные концы находят друг друга в мире, надо только упрямо ждать, набравшись порядочно терпения, гибкости и слепой силы. Лес (если ты уже возвратился из фойе), я знаю, ты честно развлекаешься неверием в Бога или в Провидение – или какое там слово тебя меньше раздражает и смущает, – но даю тебе

слово в этот знойный и очень памятный для меня день, что даже случайную сигарету невозможно прикурить без щедрого художественного согласия вселенной! Ну, может быть, «согласие» — слишком общо сказано, но чья-то голова должна кивнуть, прежде чем огонек спички коснется кончика сигареты. Это, конечно, тоже слишком общо, о чем я всем существом сожалею. Я убежден, что Бог вполне согласится носить человеческую голову, которая способна кивать, если это очень нужно какому-нибудь Его почитателю, так Его себе представляющему; но лично мне не нравится, чтобы у Него была человеческая голова, я, пожалуй, повернусь на каблуке и уйду, если Он наденет на плечи голову для моего сомнительного удовольствия. Это, разумеется, преувеличение; уж от Него-то я уйти бессилён, даже под страхом смерти.

Забавно, но я лежу один в пустом коттедже и, оказывается, плачу — или проливаю слезы, как вам больше понравится. Сейчас это пройдет, конечно, но все-таки печально и досадно, вдруг расслабившись, спохватиться и увидеть, каким ужасным занудой я был до сих пор семьдесят пять, а то и восемьдесят процентов своей жизни! Без стыда и совести вешаю на шею вам всем, и родителям и детям, такое ужасно длинное, скучное письмо, полное через край высокопарных слов и мыслей. Правда, в свою защиту могу сказать, что я не так уж сильно виноват, как кажется мельком с первого взгляда: среди множества всяких затруднений мальчику моего сомнительного возраста и жизненного опыта так легко впасть в соблазн выпренности, дурновкусия и неуместного позерства. Видит Бог, я с этим борюсь, но мне очень трудно, не хватает отличного учителя, к которому можно было бы обратиться с абсолютным доверием и самозабвением. А раз нет учителя, приходится его себе придумывать, что достаточно опасно, если родился малодушным, как я. Еще откровенно в свою защиту сообщаю, что лежу тут и целый день представляю себе ваши лица, Бесси и Лес, вместе с румяными незабываемыми рожицами детей, так что потребность быть вблизи вас становится самой настоятельной. «К черту ограничения, да здравствует освобождение!» — писал несравненный Уильям Блейк. Верно, но каково приходится хорошим семьям и добрым людям, которые принуждены слегка нервничать и не находить себе места оттого, что их любящий старший сын и брат бессовестно шлет к черту ограничения?

Причина, по которой я лежу в постели, довольно забавна, и я слишком долго тянул и не открывал ее, но, на мой личный взгляд, она не так уж интересна. Вчерашний день вообще изобиловал разными мелкими неприятностями. После завтрака все младшие и средние ребята в обязательном порядке отправлялись по ягоды — последняя (и то сомнительная) возможность в этом сезоне. И я там умудрился поранить ногу. К земляничным местам нас везли чертову пропасть миль в дурацкой расхлябанной, как бы старинной телеге, запряженной двумя лошадьми, хотя нужно было не меньше четырех. Из середины одного деревянного колеса торчал какой-то идиотский железный штырь, и он вонзился мне в ляжку — или бедро — на один с тремя четвертями или даже на два дюйма, когда мы толкали ее, бедолагу, застрявшую в грязи; накануне лило как из ведра, и дорога вся расквасилась — самое подходящее время ехать по ягоды. Ну и началась мелодрама: мистер Хэппи повез меня обратно в лагерь — это мили, наверное, три — на заднем сиденье своего не менее дурацкого мотоцикла. С этим связано несколько мимолетных забавных моментов. Ну, во-первых, должен честно признаться, мне очень не просто относиться к личности мистера Хэппи без язвительности и презрения. Я над этим работаю, но он вскрывает во мне целые залежи злых чувств, которые я-то считал, что давным-давно в себе изжил. В качестве слабого самооправдания замечу, что взрослый тридцатилетний мужчина не должен заставлять маленьких, слабосильных мальчиков толкать завязшую в грязи дурацкую бутафорскую телегу, для чего на самом деле нужна четверка или шестерка здоровенных коней-тяжеловозов. Моя злоба тут же подняла голову и нанесла удар, как ядовитая змея. Сидя на мотоцикле, прежде чем мы отъехали, я заявил ему, что мы с Бадди, как ему известно, хотя и любители пока что, но уже хорошо обученные певцы и танцоры, подобно нашим родителям, и что ты, Лес, наверняка взыщешь с него все убытки до цента, если от заражения, потери крови или гангрены я лишусь своей дурацкой ноги. Он сделал вид, что несколько не беспокоится и даже не интересуется таким ужасным вздором, и, конечно, это и был вздор; однако присутствия духа у него не прибавилось, и он так нерв-

но вел мотоцикл, что мы, пока доехали, два раза были на волосок от гибели. Хотя мое личное мнение – что все это просто смешно, да и только. Я, кстати, заметил, что в достаточно смешной или комичной ситуации у меня немного унимается кровотечение. С другой стороны, хотя я сам приписываю остановку кровотечения юмору, может быть, все дело было в том, что седло мотоцикла давило мне как раз на нужную точку: у меня эти точки очень упругие и приятно пульсируют. Но одно не подлежит сомнению: мистеру Хэппи было далеко не приятно видеть, что кровь постороннего лагерника, связанного с ним только фамилией в списке и деньгами, перемазала весь его новенький мотоцикл: заднее сиденье, спинку, колесо, щиток и шины с боков. Своей он ее считать не мог, для него даже кровь миссис Хэппи – не своя, как же ему ощутить родным чужое дитя с таким дурацким угловатым, некрасивым лицом?

Пока мисс Калджерри промывала и перевязывала мне рану, весь медпункт залило кровью; смех, да и только, хотя вообще-то там, если разобраться, стерильная чистота. Это молодая девушка неизвестного мне возраста, дипломированная медсестра, лицо у нее красотой не блещет, но имеется ладное выпуклое тело, которого спешно, пока еще лето, наперебой домогаются для физической любви почти все воспитатели и некоторые ребята из старшей группы. Вечная история, увы. Тихое существо, не имеющее своей воли и не способное принимать самостоятельные разумные решения, она под наружными наслоениями, в душе, растеряна и опасно возбуждена выпавшей ей ролью единственной имеющейся в лагере привлекательной женщины (поскольку миссис Хэппи – вне игры). Так она с виду вроде рассудительная, сдержанная девушка, распоряжается в медпункте как начальство и, кажется, не должна терять голову в самых острых ситуациях, но все это только жалкая поза. На самом деле, если сказать абсолютно честно, голову она потеряла, может, еще до того, как родилась, – по крайней мере, сейчас у нее головы на плечах нет. И если бы не мнимоначалственный голос, которым она строго распоряжается в медпункте и столовой, она бы уже угодила в лапы вышеупомянутых вожатых и старших ребят; все они – народ молодой, здоровый и очень грубый в небольших скоплениях и беспардонно лезут со знаками внимания к чувствительным девушкам, особенно которые не отличаются классической красотой. Положение очень тревожное и неприятное, но у меня руки связаны. По ней сразу видно, что она никогда в жизни не обсуждала откровенно такие темы ни со взрослыми, ни с маленькими, и тут к ней никак не подойдешь. Между тем остался еще целый месяц лагеря, и я бы лично, будь она моей дочерью, не поручился за ее безопасность. Конечно, проблема девственности очень деликатная, о критериях, которые я вычитал в соответствующей литературе, можно еще спорить и спорить, но речь сейчас не об этом. Сейчас речь идет о том, что эта девчонка, мисс Калджерри, лет, наверное, двадцати пяти от роду, не имеющая своей, независимой головы на плечах, а имеющая только мнимоначалственный и как будто рассудительный голос, – так вот, она поставлена в такие условия, когда для нее невозможно самой, предусмотрительно и с достоинством, решить такой важный вопрос, как ее собственная девственность. Таково мое просвещенное мнение; оно, конечно, не лучше и не бесспорнее, увы, чем просвещенное мнение любого другого человека. Приходится постоянно, день и ночь, быть начеку, не то разнообразие мнений на этом свете легко может свести с ума; я не преувеличиваю: в конце концов, сколько можно придерживаться дурацких неосновательных критериев, вроде они такие трогательные и человеческие, если посмотреть внимательно и с уважением, – и вдруг рассыпаются при резкой смене обстановки и действующих лиц! Ты много раз за мою жизнь спрашивала меня, Бесси, голубка, зачем я так тружусь, не давая себе роздыха, – вот затем и тружусь, в каком-то частичном смысле. Прежде всего, я у нас в семье самый старший мальчик. Подумай только, как было бы приятно, полезно и замечательно, если бы можно было иногда, открыв рот, произнести что-нибудь дельное, а не только изречь свое дурацкое неосновательное «просвещенное» мнение! К сожалению, я как последний осел понемножку плачу, когда пишу это. Хорошо еще, что для моих слез есть и кое-какие реальные причины. Если вы поняли меня так, что одни вещи, например сохранение или утрата девичьей невинности, – это личное мнение, а другие – это твердые, неоспоримые факты, то вы просто делаете хотя и напрашивающийся, но слишком произвольный вывод и на самом деле горько заблуждаетесь. Горько – пожалуй, слишком сильно сказано, но, уверяю вас,

все это далеко, далеко не так. Я никогда не встречал твердых, неоспоримых фактов, которые не состояли бы в самом близком родстве с личными мнениями. Представьте себе, например, если вы не против попутного объяснения, что ты, дорогая Бесси, приходишь домой после дневного спектакля и спрашиваешь у того, кто открыл тебе дверь, а именно у меня, твоего дурного сына Сеймура Гласса, выкупаны ли перед сном близнецы? Я от всей души отвечаю утвердительно. Мое четкое личное мнение, что я сам засунул этих резвых вертлявых голышей в ванну и проследил, чтобы они мылились, а не просто бултыхались в воде и заливали весь пол. У меня даже руки еще мокрые! Казалось бы, то, что близнецы выкупаны перед сном, – твердый, неоспоримый факт. Но ничего подобного! Не факт даже, что они дома. И вообще, если разобраться, имеются основания серьезно сомневаться, что к нашей семье в один прекрасный прошедший день присоединились двое славных близнецов с острыми язычками и забавными ушками! Ради сомнительного удовольствия считать что-либо в этом прекрасном, неуловимом мире твердым, неоспоримым фактом мы вынуждены, как покорные узники за решеткой, пользоваться сведениями, которые нам простодушно поставляют наши глаза, руки, уши и бедные трогательные мозги. По-вашему, это достоверные сведения? По-моему, нет. Они, конечно, очень умильные, но далеко, далеко не достоверные. Мы совершенно слепо полагаемся на свидетельства личных ощущений. Знакомо вам такое понятие – посредническая инстанция? Так вот, и человеческий мозг любезно служит для нас посреднической инстанцией. К сожалению, я от роду не способен чрезмерно доверять каким бы то ни было посредникам, и это, согласен, нехорошо с моей стороны, но я обязан, не пожалев минуты, вам в этом признаться. Здесь, однако, мы уже почти касаемся самой сердцевины моей дурацкой душевной сумятицы. Дело в том, что я хотя и не доверяю посредникам, личным мнениям и твердым, неоспоримым фактам, но при этом отношусь к ним с большой нежностью. Меня умиляет до слез храбрость людей, всю жизнь принимающих на веру эту милую несерьезную информацию. Господи, до чего отважны люди! Самый последний трус на земле и тот поразительно храбр! Представляете себе? Доверять всем этим несерьезным личным ощущениям! Но, с другой стороны, конечно, тут порочный круг. Я убежден, увы, что всем была бы большая непреходящая польза, если его разорвать. Только лучше бы не сию минуту. Без лишней спешки. Ведь даже от одной мысли об этом начинаешь чувствовать себя необозримо далеко от своих милых и родных. Но, к сожалению, в моем случае спешка неизбежна – ввиду краткости этого существования. За оставшийся срок, вполне щедрый, бесспорно, но в некоторых отношениях и довольно сжатый, я хочу решить задачу, но честно и притом не безжалостно. Тут я, однако, эту тему со всей поспешностью оставляю; я всего лишь дотронулся до одной из ее бесчисленных граней.

Мисс Калджерри наложила мне повязку – довольно плоховато, – ни на минуту не переставая при этом рассуждать своим мнимоавторитетным тоном, от которого, кажется, запил бы, если бы не умел немножко держать себя в руках, и отослала меня на таком смешном костылике в наш коттедж – дожидаться, когда придет врач из города Хэпворта, где он живет и практикует. Он, то есть врач, приехал уже после полдника, транспортировал меня обратно в медпункт и наложил на мою ногу одиннадцать (11) швов. Попутно возникла, к моей досаде, одна малоприятная проблема. Мне предложили обезболивающий укол, а я вежливо отказался. Начать с того, что я еще на мотоцикле у мистера Хэппи разорвал передачу боли от ноги к мозгу – исключительно в целях собственного удобства. Этим средством я не пользовался после прошлогоднего маленького происшествия, когда разбил губы и скулу. Бывает, научишься чему-нибудь интересному и совсем уже потеряешь надежду, что это хоть раз в жизни пригодится, а два – и подавно; но все-таки оно рано или поздно пригодится обязательно, надо только набраться терпения; я здесь даже два раза воспользовался морским беседочным узлом, а уж он-то, я был уверен, что пропадет зря. Я вежливо отказался от обезболивания, а врач решил, что я рисуюсь и мистер Хэппи у него под боком поддакивает. Тут я как последний дурак, какой я, конечно, и есть, вздумал им демонстрировать, что я действительно полностью разорвал болевую связь. Еще глупее и для них обиднее было бы, если б я прямо им в лицо сказал, что никогда не позволю себе и никому из детей в нашей семье поступиться своим сознанием ради каких-то пустяковых преимуществ; до тех пор

пока не получу других данных, сознание для меня представляет все-таки большую ценность. После непродолжительного, но неприятного горячего спора с мистером Хэппи я получил согласие доктора зашить рану, при том что я буду все понимать и сознавать. Знаю из прежнего опыта, что для тебя, дорогая Бесси, это до странности болезненная тема, но поверь: для меня нередко оказывается большим удобством иметь такое, шуточно говоря, непривлекательное лицо, которое может любить только родная мать, – с бесформенным носом и безвольным подбородком. Будь я мальчиком более или менее миловидным, с более или менее приятными чертами лица, они бы, я убежден, заставили меня сделать обезболивание. Тут нет ничьей злой воли, спешу тебя уверить: мы, люди, обладающие своим умом и собственными мнениями, реагируем на всякую встречающуюся кроху красоты; я первый к ней неравнодушен.

Когда операция по наложению швов – Бадди, ввиду его юного возраста, остаться со мной рядом и наблюдать за ней не позволили – была закончена, меня быстро отнесли обратно в наш коттедж и уложили в постель. Мне повезло: в изоляторе все кровати оказались заняты, несколькими мальчишками с высокой температурой и мне разрешено, пока там не освободятся места, лежать в своих коттеджах. Для меня это просто дар небес. Сегодня у меня первый абсолютно свободный, спокойный и во многих отношениях благоприятный день с тех пор, как мы сюда приехали, и для Бадди тоже, поскольку он получил у мистера Хэппи освобождение от всех линейек, чтобы ухаживать за мной. С этим освобождением чуть было дело не сорвалось, но мистер Хэппи все же предпочел его лучше освободить, чем вступать с ним напрямую в споры и разговоры, так как он, мистер Хэппи, чувствует себя при нем далеко не в своей тарелке. Между ними, смех сказать, очень даже неважные отношения – отчасти из-за проверки в прошлый понедельник. Во время проверки, которые я лично вообще считаю незаконными и недопустимо оскорбительными для каждого мальчика в лагере, мистер Хэппи явился к нам в коттедж и, пока мы стояли по стойке «смирно», принялся ругать Бадди за то, что у него не так заправлена кровать, как заправлял сам мистер Хэппи, когда служил в пехоте и каким-то чудом не проиграл для нас всю чертову войну. Он в моем присутствии позволил себе по адресу Бадди несколько совершенно безобразных оскорблений. Но я не спускал глаз с лица вашего сына, который, я знал, прекрасно может постоять за себя, и поэтому я не стал вмешиваться и заступаться. Этот парнишка, я знаю наверняка, способен за себя постоять в любой ситуации, и та проверка не была исключением. Мистер Хэппи стоит и бессовестно распекает нашего Бадди при товарищах по коттеджу и лагерю, и вдруг этот замечательный малыш показывает свой знаменитый номер: преспокойно закатывает свои чудесные, выразительные глаза прямо под темные красивые брови – бледный-бледный, ну просто неживой, жуткое, должно быть, зрелище для того, кто впервые это видит. А мистер Хэппи, я думаю, ничего подобного не видел за всю свою жизнь. Испуганный и смущенный (это мягко говоря), он сразу же повернулся, отошел и принялся инспектировать кровать малолетнего Иммингтона, а вашему самостоятельному сыну даже забыл записать очередное замечание!

Господи! Какой же он изобретательный и забавный парнишка для своих пяти лет! Говорю вам: соберите всю свою гордость и радуйтесь, что у вас такой малыш! Он сейчас уже с минуты на минуту должен вернуться, и, я думаю, ему непременно захочется приписать несколько строк, а пока очень прошу вас: не велите мне уговаривать его, чтобы он был добрее к мистеру Хэппи и осторожнее с ним обращался – тут не в осторожности дело, а в том, чтобы уметь, когда потребуется, пустить в ход свой талант и защитить себя и дело всей своей жизни от мимохожего врага, не причинив ему особого урона.

Сейчас я на короткое время с вами прощусь – может, на несколько дней или несколько часов. Я это письмо непременно еще допишу, хотя бы из сострадания и простого приличия; вы все, и родители и дети, необыкновенно хорошие и достойные люди, вы не заслужили иметь такого ненасытного сына, но что я могу поделать? Мы так скучаем по вас, просто нет слов. Но сейчас выдался редкий случай применить на практике малые возможности человеческого языка. Бесси, пожалуйста, позаботься о том деле, про которое я писал выше. А также, прошу тебя, расслабляй-

ся хорошенько между выступлениями во время турне. У тебя, когда ты усталая и неотдохнувшая, портится настроение и появляются горькие мысли бросить сцену. Не спеши с этим, заклинаю тебя. Куй железо, о котором мы с тобой раньше толковали, только когда оно уж совсем горячо. А если ты оборвешь выдающуюся артистическую карьеру в молодом двадцативосьмилетнем возрасте, не важно, сколько бы лет ты до этого уже ни выступала, это будет несвоевременное вмешательство в судьбу. Если бы своевременно, то судьбе, конечно, можно нанести сокрушительный удар, а вот если не ко времени, получаются главным образом ошибки, прискорбные и дорого стоящие. Вспомни, как мы с тобой говорили с глазу на глаз в тот день, когда в кухне устанавливали новую красивую плиту. А именно: в определенные часы, когда ты не на сцене и не занята тяжелой работой, старайся дышать исключительно одной левой ноздрей, а в прочих случаях быстро переходи на одну правую. Поначалу для того, чтобы дыхание пошло через правильную ноздрю, напому тебе, надо зажать кулак под противоположной подмышкой и мягко, сильно сдавить или просто полежать несколько минут на противоположном боку. Можно все это проделывать и без удовольствия, запрета тут нет, но все-таки попробуй, если тебя разбавляет злость, мысленно снять шляпу перед Богом за великолепную сложность человеческого организма. Разве трудно отдать дружеский благодарственный поклон такому несравненному художнику? Неужели не подмывает обнажить голову перед Тем, Чьи пути могут быть и неисповедимы, и совершенно понятны – смотря как Он пожелает? О Господи, ну и Бог же у нас! Как я тебе уже объяснял, когда мы с тобой любовались новым кухонным оборудованием, от этого приема с одной ноздрей можно запросто в одну минуту отказаться, как только научишься полностью и до конца доверяться Богу в том, что касается дыхания, слуха и других функций организма; однако мы всего лишь люди, и по части такого доверия в обычных, не отчаянных обстоятельствах у нас слабовато. Это свое прискорбное неумение безоглядно полагаться на Бога нам приходится возмещать собственными сомнительными измышлениями, только они вовсе и не наши, эти измышления, – вот что забавно; эти сомнительные измышления тоже – Его! Таково мое личное просвещенное мнение, но оно взято совсем не с потолка.

Если остальная часть моего письма покажется вам чересчур торопливой и сухой, прошу меня за это простить. Я намерен посвятить ее экономии слов и выражений; их избыток – самая слабая сторона моих письменных работ. Холодность и торопливость, не забывайте, – это только упражнение; на самом деле в моем отношении к вам, и родителям и детям, нет ни холодности, ни торопливости – какое там!

Да, чтобы не забыть, в оставшейся части моего письма умоляю тебя, Бесси, – ну просто коленопреклоненно! – петь с Лесом дуэт «Бамбалина» своим натуральным голосом! Не переходи ты на эту беспроектную распространенную манеру напевать, как будто качаешься посреди эстрады на качелях, держа над головой хорошенький пестрый зонтик; может быть, у какой-нибудь симпатичной певички вроде Джулии Сандерсон это получается приятно и мило, но ты человек с довольно бешеным, взрывным темпераментом, у тебя милая хрипотца в глубоком грудном голосе и бездна страсти. Лес, если ты уже вернулся, к тебе у меня тоже просьба. Пожалуйста, когда в следующий раз будешь записывать пластинку, постарайся изо всех сил проследить за тем, о чем я тебе говорил. Главную опасность и трудность представляют протянутые слоги, рифмующиеся со словом «май». Тут подстерегают опасные рифмы! В обычной обстановке, когда ты не поешь перед публикой и не споришь о чем-нибудь горячо или в сердцах у семейного очага, акцент у тебя уже совершенно не слышен, пожалуй, ни для кого, кроме меня, Бадди, Бу-Бу и разве что попадется кто-нибудь еще, несущий проклятие бескомпромиссного слуха. Пойми меня, пожалуйста, правильно. Лично я очень люблю твой акцент и нахожу его совершенно обаятельным. Однако речь не обо мне, а об огромных массах людей, которые не имеют ни времени, ни охоты вслушиваться в твой акцент без предубеждения; публика, как правило, находит французский, ирландский, шотландский, негритянский, шведский или еврейский акценты вполне приятными и забавными, но чистый и откровенный австралийский акцент как-то не особенно к себе располагает. Он даже, наоборот, производит гарантированно неблагоприятное впечатление.

Это печальный факт, в основе его – глупость и зазнайство, но надо не откладывая посмотреть правде в глаза. Если только можешь, не расстраиваясь, не напрягаясь сверх меры и не считая, что наносишь обиду и оскорбление милым, славным австралийцам, окружавшим тебя в детстве, пожалуйста, не допускай акцента в свои записи, хотя нам, твоим родным, он очень даже нравится. Ты на меня не сердишься? Пожалуйста, не сердись! Единственный мой личный интерес в этом важном деле – это чтобы сбылась твоя тайная, неотступная мечта добиться наконец потрясающего, оглушительного успеха. С искренними извинениями спешу оставить эту дерзкую тему – я ведь тебя люблю, старина!

Следующие краткие обращения – к близнецам и Бу-Бу. Но только, будьте так добры, попросите Бу-Бу, чтобы она сама их прочитала, без какой-либо помощи со стороны родителей, что ей вполне по силам. Эта славная черноглазая девчонка может преспокойно все прочесть, если постарается!

Бу-Бу, упражняйся писать целые слова! Алфавит сам по себе меня не устраивает. И, пожалуйста, не отнекивайся, как всегда. Не прячься опять за хитрыми отговорками насчет своего возраста. Ну что ты мне приводишь в пример Мартину Брэйди и Лотту Давилья или еще какую-нибудь знакомую девочку четырех лет, от которых не требуется вполне свободно читать и писать? Я же не их придира брат, а твой. И я тебе уже тысячу раз объяснял, честное слово, что у тебя есть все задатки настоящего ненасытного читателя, как Бадди и я; если бы не это, я со всем моим удовольствием махнул бы рукой и не стал к тебе приставать. Но для ненасытного читателя раннее овладение пером не менее важно, чем книгой. Среди прочих преимуществ вообрази, сколько нечаянной радости доставит твоему замечательному брату и мне в нашей временной ссылке написанная тобою открытка-другая! Если бы ты только знала, как мы восхищаемся твоим почерком и оригинальным словарем! Выведи на открытке два-три слова, по своему обыкновению печатными буквами, и беги с нею со всех ног к почтовому ящику в вестибюле или поручи одной из горничных на этаже – по своему выбору. А также, моя дорогая, милая, незабываемая мисс Беатриса Гласс, прошу тебя, старательнее работай над своими манерами и привычками как на людях, так и в одиночестве. Меня гораздо меньше беспокоят твои манеры на людях, чем твое поведение, когда ты совершенно одна в абсолютно пустой комнате; когда ты случайно заглянешь в одинокое зеркало, пусть в нем отразится девочка не только ослепительно черноглазая, но и очень хорошо воспитанная!

Уолт, мы получили от тебя весточку через Бесси. И были ей чрезвычайно рады, хотя, честно сказать, это от начала и до конца полнейшая чушь. Мы все норовим при случае прикрыться своим младенческим возрастом. На самом деле три года – не так уж мало и вовсе не причина, чтобы не выполнять те простые вещи, о которых мы с тобой говорили в такси по дороге на вокзал; мне просто смешно вспомнить, оглядываясь назад, какие примитивные речи и поступки приписывают трехлетнему возрасту! В глубине-то души ты сам, я думаю, больше кого-либо способен к здоровому смеху над этими выдумками. Если тебе, как мне передали, «слишком жарко, черт побери», упражняйся, то почаще по крайней мере носи чечеточные ботинки – например, когда сидишь за столом или когда прохаживаешься по номеру или по фойе той гостиницы, где вы в данное время живете; одним словом, пусть они будут на твоих замечательных летучих ножках не меньше двух часов в день!

Уэйкер, та же придиричивая злодейская просьба и к тебе по поводу жонглирования в жару. Если и тебе «слишком жарко, черт побери», жонглировать, хотя бы носи с собой в знойный день в карманах те предметы подходящих размеров, которые тебе наиболее сподручно подбрасывать и ловить. Я знаю, Бадди от души согласится со мной, что, если вы, наши несравненные малыши, вдруг возьмете оба и передумаете насчет своей будущей профессии, ничего плохого не будет. Однако, пока вы еще не пришли к такому решению, страшно важно, чтобы вы не отрывались от выбранных вами профессий дольше чем на два – два с половиной часа кряду! Чечеточные бо-

тинки и предметы для жонглирования – это как капризные ревнивые дамы сердца, которые не вынесут и дня разлуки с вами. Мы здесь тоже, видит Бог, не теряем форму, несмотря на многочисленные препятствия и неудобства. Если это хвастовство, пусть Бог в изначальной милости Своей меня жестоко накажет; но если я и хвастаюсь, то не по-черному, а просто говорю вам: что ваши старшие братья могут, то и вам, малышам, под силу; мы оба такие неуравновешенные, поверьте, что хуже ну просто некуда!

Бу-Бу, я страшно зол на себя за то, что написал тебе только об одном, да еще в таком тоне, что получилось неласково и нехорошо. А пристрастная правда такова: твои привычки и манеры с каждым днем становятся все лучше и лучше. Если я придираюсь к кое-каким мелочам, то лишь потому, что ты сама любишь, чтобы все было приятно и изысканно; ты же всегда просишь Бесси или меня читать тебе такие книжки, где и дети и взрослые – обязательно утонченные аристократы, обычно английские, и манеры у них – снаружи – безупречные, и одежда со вкусом, и обстановка вокруг красивая, и вообще все по виду – недостижимый высший класс. Господи, ну что за смешная, забавная девочка! Сердца старших братьев принадлежат тебе безраздельно! Ты – одна из горстки избранных, кому, видимо, Богом позволено ничего не додумывать до конца. Это прекрасный и бесценный дар, у меня и в мыслях нет презирать его, но что же поделать, если у тебя есть такой брат, как я. И мне ничего иного не остается, как предостеречь тебя. Если ты вырастешь, зная про себя, что твои прекрасные, изысканные манеры – это только внешнее, а когда рядом никого нет и никто не смотрит, ты можешь вести себя по-свински, тебе самой это будет крайне неприятно и понемногу разъест тебе душу.

Все, прекращаю дальнейшее тиранство! До скорого свидания, все! Шлем вам свои обнаженные сердца!

К большому моему облегчению и удовольствию, у меня оказалась еще одна стопка бумаги, о которой я даже не подозревал, а также я с радостью обнаружил, что будильник, который Бадди заботливо взял для меня на время у Гриффита Хэммерсмита, стоит незаведенный и показывает время за вчерашний или даже за позавчерашний жаркий день! Буду, однако, очень краток. Не только вас я замучил, но и у меня самого уже рука отнимается из-за такой непомерной длины письма, начатого почти на рассвете, с двумя краткими перерывами на еду. То-то здорово! До чего же я люблю, когда есть вдоволь свободного времени! Не так часто это в жизни бывает.

Лес, пока еще есть возможность и пока чертов горн не протрубил ужин, после чего подыдется суматоха, позволь мне от лица твоих двух старших сыновей обратиться к тебе с последней просьбой. Выскажу ее в двух словах. Если дальше мой стиль окажется слишком сжатым, скупым и холодным или вообще неприветливым, учти, что я и так уже занял чересчур много твоего времени и теперь лезу из кожи вон, чтобы больше не изматывать твою нервную систему.

Расписание твоих турне, дружище, касается меня лично с тех самых первых дней, как ты мне его доверил. Сейчас я положил его перед собой на одеяло и внимательно рассматриваю. Итак, читаем, что 19-го числа текущего месяца ты и восхитительная миссис Гласс, покорительница стадионов и первый тост всех непьющих, как заслуженно именуется она, этот истинный черт в юбке, покидает театр «Корт», да процветает он долгие годы, и отправляетесь в Нью-Йорк, в соответствии, как тут написано, с ангажементом в бруклинском театре «Олби». Эх, хорошо бы нам, вашему сыну Бадди и мне, поехать вместе с вами, а какие-нибудь другие, неизвестные мальчишки пусть бы воспользовались завидной возможностью на все лето избавиться от грохота и грязи городских улиц и от пыльной духоты вагонов, гостиничных номеров и других тесных помещений! Но оставим шуточки, и вот в двух словах моя просьба. Когда приедете, устройтесь, отдохнете, пожалуйста, загляни в городскую библиотеку, в наше районное отделение, и передай поклон и наилучшие пожелания несравненной мисс Овермен. И при удобном случае попроси ее любезно связаться с мистером Уилфредом Дж. Л. Фрейзером из дирекции,

чтобы мы могли поймать его на слове и воспользоваться его дружеским, сердечным и, быть может, скоропалительным предложением, которое он нам сделал в том смысле, чтобы прислать нам в лагерь любые книги, какие нам понадобятся. Конечно, не хотелось бы затруднять этой просьбой такого загруженного работой человека, как мисс Овермен, но ей одной только известен его летний адрес, нам он его, когда мы собирались уезжать, не сообщил, может, даже и нарочно, ха-ха! Если бы была возможность обойтись без спасительной услуги мисс Овермен, я бы с радостью ее пощадил – не очень-то приятно злоупотреблять ее свободным временем; в этом мире дружбу ну обязательно должны портить разные оглядки и корыстные интересы – порочная квадратура круга, хотя и не без смешной стороны. Словом, ты мог бы коротко напомнить ей, что мистер Фрейзер предложил нам эту необычную услугу сам, собственной персоной, как гром среди ясного неба, мы даже обалдели, честное слово. Сказал, что любые книги, какие мы попросим, вышлет нам либо собственноручно, либо через свой библиотечный абонемент – то есть намекнул, что кому-нибудь из родных или знакомых поручить нельзя: прикарманыт деньги, выданные на почтовые расходы. И чтобы больше не ходить вокруг да около, вот тебе и мисс Овермен приблизительный список книг, которые желательно отправить на наш теперешний сомнительный адрес. Мистер Фрейзер не упомянул, сколько именно книг он готов нам выслать, и я позволил себе слишком размахнуться по части количества, так что попроси, пожалуйста, мисс Овермен вмешаться и урезать его по своему любезному усмотрению. Список в сжатом виде выглядит так:

«Разговорный итальянский», автор – Р. Дж. Абрахам, симпатичный такой, строгий учитель, наш добрый знакомец со старых времен по испанскому языку.

Любые неузколобые – и узколобые – книги о Боге и вообще о религии, написанные авторами, чьи фамилии начинаются с любой буквы после «И»; на всякий случай и те, что на «И», тоже, хотя их, кажется, я уже все перебрал.

Любые замечательные, хорошие, просто интересные или даже прискорбно посредственные стихи, только бы не слишком знакомые и навязшие в зубах, а какой национальности поэт – безразлично. В Нью-Йорке у меня в ящике с неправильной наклейкой «спортивное оборудование» лежит довольно полный список уже изученных стихотворений – если только вы в последнюю минуту все же не отказались от нью-йоркской квартиры и не отдали всю мебель на хранение – вы забыли упомянуть об этом в письмах, а я от радости забыл спросить во время нашего чудесного телефонного разговора.

Еще раз – полное собрание сочинений графа Льва Толстого. Мистеру Фрейзеру это не составит лишнего труда – трудиться придется добрейшей сестре мисс Овермен, тоже замечательно независимой старой деве, которую мисс Овермен называет «моя маленькая сестричка», хотя она давно уже миновала расцвет своей юности. Она, младшая мисс Овермен, является владелицей собрания сочинений графа и, наверно, согласится опять нам его одолжить, зная теперь по опыту, что мы из всех сил страстно стараемся беречь книги, которые нам доверили друзья. Пожалуйста, оговори, но так, чтобы не обидеть этих чувствительных добрых женщин, чтобы не присылали «Воскресение» и «Крейцерову сонату» и, может быть, даже «Казаков» – нам перечитывать сейчас эти шедевры нет ни нужды, ни охоты. Не передавай им, потому что тут наши вкусы слегка расходятся, но нам особенно хочется возобновить знакомство со Степаном и Долли Облонскими, которые при прошлой встрече нас совершенно покорили, такие они живые и забавные, – это персонажи из «Анны Карениной», муж и жена, ну просто великолепные! Конечно, молодой думающий главный герой тоже очень интересный, как и его возлюбленная и будущая жена – прелестная девушка, если разобраться; но они еще совсем незрелые, а нам здесь гораздо нужнее общество очаровательного повесы, душой и печенкой – просто доброго человека.

Молитва Гайатри неизвестного автора, желательно с ритмичными словами оригинала, приложенными к английскому переводу; она такая поразительно красивая, возвышенная и успокои-

тельная! Кстати, тут я хочу кое-что добавить для Бу-Бу, чтобы не забыть. Бу-Бу, моя чудесная малышка! Выкинь ту временную молитву, которую ты просила меня тебе составить для чтения перед сном. А вместо нее предлагаю другую, если тебе понравится, она как раз обходит трудности со словом «Бог», которое в настоящее время служит для тебя камнем преткновения. Не существует такого закона, чтобы обязательно пользоваться этим словом, если оно временно служит камнем преткновения. Вот, попробуй новую: «Я, маленькая девочка, легла спать и сейчас засну. Слово Бог мне в настоящее время поперек горла, потому что им постоянно, хотя, возможно, что и от чистого сердца, пользуются мои подружки Лотта Давилья и Марджори Херзберг, а я их считаю довольно подлыми и врушками от начала и до конца. Я молюсь безымянному знаку совершенства, пусть лучше вообще не имеющему формы и всяких несуразных признаков, – совершенства, которое всегда с нежностью и любовью управляло моей судьбой и в те времена, когда мне было дано чудесное, трогательное человеческое тело, и в промежутках. Милый знак совершенства, подари мне, пока я буду спать, разумные, правильные наставления на завтра. Я могу даже не знать, в чем они состоят, пока еще не развилось мое понимание, но все равно я была бы очень рада и благодарна иметь их уже теперь, впрок. А пока я просто поверю, что эти наставления окажутся действенными, вдохновляющими и правильными, мне надо только научиться делать так, чтобы в душе у меня устанавливались полный мир и пустота, как объяснял мой самонадеянный старший брат». А в заключение произнеси «аминь» или просто «покойной ночи», что тебе больше нравится или что прозвучит искренне и естественнее. Это – все, что мне удалось для тебя придумать еще в поезде по дороге сюда, и я заучил слова, чтобы при первом удобном случае передать тебе. Но пользуйся ими, только если они тебе ни капельки не противны. И можешь свободно исправлять и улучшать эту молитву по своему вкусу. Но если она вызывает у тебя неприязнь и смущение, откажись от нее безо всяких сожалений и подожди, пока я вернусь домой и на досуге еще раз все обдумаю. Не считай меня непогрешимым! Я очень даже погрешимый!

Возвращаюсь к списку для мистера Фрейзера, в произвольном порядке.

«Дон Кихот» Сервантеса, опять оба тома, если можно. Этот человек – гений, которому просто так равных даже не подыскать! Я надеюсь, что эту книгу отправит лично мисс Овермен, а не лично мистер Фрейзер, так как он, боюсь, не способен послать гениальную книгу без своих личных замечаний и досадных высокомерных оценок. Из уважения к Сервантесу я предпочел бы получить его книгу свободной от лишних рассуждений и прочего никому не нужного вздора.

«Раджа-йога» и «Бхакти-йога», два крохотных умильных томика как раз подходящих размеров, чтобы носить в кармане обычным подвижным мальчикам вроде нас; автор – Вивекананда, индеец, один из самых увлекательных, оригинальных и образованных гигантов пера из всех, кого я знаю в XX веке; сколько буду жить, никогда не перестану питать к нему неисчерпаемую симпатию, вот увидите. Я бы запросто отдал десять лет жизни, может, и больше, за то, чтобы пожать ему руку или хотя бы обратиться к нему с коротким уважительным приветствием при встрече где-нибудь на улицах Калькутты или в любом другом месте. Он был прекрасно знаком с сочинениями гениев, упомянутых выше, гораздо лучше, чем я! Хочется надеяться, что он не счел бы меня слишком земным и чувственным! Это неприятное опасение постоянно преследует меня, когда в памяти всплывает его великое имя. Непонятно и очень грустно! Хотелось бы, чтобы между чувственными и не чувственными людьми в этом мире были более добрые отношения. Меня просто из себя выводят такие пропасти! Что само по себе уже знак моей неуравновешенности.

Для первого или возобновляемого знакомства в изданиях как можно более мелкого формата следующие книги таких гениальных – или талантливых – писателей, как:

Чарльз Диккенс, можно благословенно полное собрание, а можно и в любом другом трогательном виде. Бог мой, я приветствую тебя, Чарльз Диккенс!

Джордж Элиот, но только не полную; предоставьте, пожалуйста, отбор мисс Овермен или мистеру Фрейзеру. Мисс Элиот, если как следует разобраться, не особенно близка моему сердцу и уму. Предоставляя отбор мисс Овермен и мистеру Фрейзеру, я заодно получаю ценную возможность проявить признательность и уважение, как полагается человеку моего смехотворного возраста, и при этом ничем важным не поступиться. Отвратительная, конечно, мысль, почти расчетливость, но ничего не могу поделать. Стыдно признаться, но моя бесчеловечная нетерпимость по отношению к сомнительным советам меня самого очень беспокоит, я изо всех сил ищу такой подход, который был бы и человечным, и приемлемым.

Уильям Мейкпис Теккерей, тоже не полный. Попроси мисс Овермен, чтобы она любезно предоставила в этом всю свободу действия мистеру Фрейзеру. Вреда не будет, если судить по двум книгам У. М. Теккерея, которые я уже читал. Как и в случае с мисс Элиот, он превосходно пишет, но я все же, пожалуй, не смогу с бесконечной благодарностью снять перед ним шляпу, поэтому вот еще один подходящий бессовестный случай положиться на личные вкусы мистера Фрейзера. Я сознаю, что обнажаю свои недостатки и бессердечную расчетливость перед горячо любимыми родителями, маленькими братьями и сестричкой, но у меня связаны руки, и потом, у меня нет никакого уважительного права представляться человеком более сильным, чем я есть, ведь я далеко не сильный по человеческим меркам.

Джейн Остен, всю целиком или в любом виде и подборе, исключая «Гордость и предубеждение» – это у меня тут уже есть. Не потревожу ее несравненный гений своими сомнительными замечаниями; я уже один раз непростительно оскорбил чувства мисс Овермен, отказавшись обсуждать с нею эту потрясающую писательницу, в чем у меня не хватает простой порядочности раскаться. Скажу только, что очень рад был бы повидаться с кем-нибудь из обитателей Розингса, но решительно не могу давать оценки ее женственному таланту, такому забавному и великолепному и мне очень близкому; сделал несколько жалких попыток, но ничего стоящего.

Джон Беньян. Простите меня, если я становлюсь слишком краток и немногословен, просто я подхожу к скорому завершению своего письма. Честно признаться, я отчасти с предубеждением отнесся к этому автору, когда был моложе: мне показалось, что он слишком уж беспощаден к таким человеческим слабостям, как лень, жадность, и многим другим и не испытывает ни малейших мук сострадания и сомнения. А я лично встречал сколько угодно превосходных, милых людей на жизненном пути, всю предающихся лени, и, однако же, к ним всегда обратишься за помощью в беде, не говоря уж о том, как они умеют дружить с детьми, например, очаровательный бездельник Херб Каули, рабочий сцены, которого постоянно выгоняют из одного театра за другим! Разве он когда-нибудь подводил друга в беде? И разве его веселые шутки не помогают жить людям, даже случайным прохожим? Или Джон Беньян считает, что Бог не склонен принимать в расчет такие трогательные свойства на Страшном Суде, который, по моему просвещенному мнению, совершается постоянно при переходе из одного существования в другое? Перечитывая Джона Беньяна на этот раз, я намерен ближе и любовнее присмотреться к его неподдельному, славному таланту, но взгляды его, боюсь, так и останутся мне поперек горла. Слишком он суров, на мой вкус. Вот где полезно и пристойно перечитать в одиночку чудесную Святую Библию, чтобы сохранить про черный день собственный бесценный здравый ум. Иисус Христос говорит так: «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Все правильно, я не вижу ничего, против чего можно было бы возразить, наоборот! Однако Джон Беньян, хоть и крещеный христианский воин, по-видимому, полагает, будто Иисус Христос сказал другое, а именно: «Будьте безупречны, как безупречен Отец ваш Небесный!» Вот неточность так уж неточность! Разве о безупречности идет тут речь? Совершенство – совсем другое слово, оно отдано на благо рода человеческого во все века. Тут предусматриваются небольшие разумные отклонения. Господи, ну конечно же, я всей душой за допустимые отклонения, а иначе, считай, всей чертовой музыке конец! К счастью, по моему просвещенному мнению, основанному на со-

мнительной информации, которую поставляет ненадежный мозг, музыка никогда не чертова и конца у нее нет. А если покажется с досады, что конец, значит, просто пора собрать все силы и произвести переоценку – даже если ты по горло в крови или среди обманчивого, невежественного горя, все равно надо только остановиться и вспомнить, что совершенство нашего замечательного Бога все же допускает некоторые огорчительные отклонения, как, например, голод, преждевременные, на поверхностный взгляд, смерти, когда умирают дети, прелестные женщины и дамы, отважные упрямые мужчины и многие-многие другие, – абсурдные нелепости, если судить человеческим умом. Однако если я на этом не остановлюсь, то вообще не захочу честно перечитывать этим летом бессмертного писателя Джона Беньяна. Спешу перейти к следующему автору в моем беспорядочном списке.

Уорик Дипинг; вряд ли что-то интересное, но его горячо рекомендовал очень приятный случайный знакомый в библиотеке. Несмотря на то что часто напарываешься на ужасную гадость, я всегда был и буду против пренебрежения книгами, которые от души рекомендуют симпатичные незнакомые люди, – это и бесчеловечно, и рискованно, к тому же в ужасной гадости часто бывает своя прелесть.

Еще раз сестры Бронте – вот потрясающие барышни! Имейте в виду, что Бадди перед самым отъездом сюда как раз читал «Городок», книгу сдержанную, но захватывающую; а этот пламенный читатель, как вы знаете, совершенно не терпит, когда его отрывают в середине книги без совсем уж настоящей необходимости! Полезно также вспомнить о весьма раннем пробуждении его чувственности, а эти обреченные барышни подчас до того соблазнительны, прямо не знаешь, как устоять. Меня лично плотские соблазны Шарлотты раньше совсем не трогали, но теперь, оглядываясь назад, я ими очень даже приятно удивлен.

Китайская «Materia Medica», автор – Портер Смит; это старинная книга, которая теперь нигде не продается и, возможно, маловразумительная и бестолковая; однако я хотел бы по секрету перелистать ее и, если она ничего, дать вашему замечательному сыну Бадди в качестве приятного сюрприза. Вы не можете даже представить себе, сколько затаенных знаний о травах и разной растительности принес с собой, главным образом в квадратных подушечках пальцев, этот парнишка из предыдущих существований; такие знания не должны попусту пропасть, если, конечно, они не будут мешать делу его жизни. Я, который на два года его старше, в этих вопросах его невежественный старательный ученик! Мало того что он угощает Гриффита Хэммерсмита и меня чудесными кушаньями, но он вообще не способен просто так сорвать даже самый невинный цветок, а непременно должен рассмотреть его со всех сторон, понюхать корешки, посплюнуть и обтереть от земли; они словно бы что-то говорят этому мальчику и, надеясь на его чудесный слух, ждут от него отклика. К сожалению, немногочисленные книги на эту тему, обычно английские, изобилуют неточностями, глупыми выдумками, прискорбными суевериями и непременными вопиющими преувеличениями – это уж обязательно! Так что давайте мы, любящие его родные, обратимся с надеждой и верой к неподражаемому китайцам, которые, как и благородные индусы, отличаются широтой и открытостью взглядов по таким вопросам, как человеческое тело, дыхание, принципиальное отличие правой стороны от левой. Это обнадеживает, если, конечно, автор, Портер Смит, вложил в свою необъятную работу всю душу и тело, а не просто, как многие другие, побаловался с ученым видом, чтобы только захватить место в этой престижной области; но не будем его загодя поносить, а прежде подвергнем честной, беспристрастной проверке.

В объемах, подходящих для малоудобной лагерной обстановки, пришлите, пожалуйста, следующих французов для упражнения в языке или просто для удовольствия, смотря каковы у данного француза притягательные свойства. Пожалуйста, побольше Виктора Гюго, Гюстава Флобера, Оноре де Бальзака, вернее, просто Оноре Бальзака, так как он сам, совершенно необоснованно, прибавил себе аристократическую приставку «де» из смешных и трогательных побуж-

дений. В этом мире так широко распространена забавная страсть к аристократизму! И не очень-то она даже и забавна, если приглядеться, – таково мое просвещенное мнение. Как-нибудь в уютный дождливый денек, если будет охота, поразмыслите о том, что лежало в основе всех значительных революций от начала истории; и если в душе у каждого выдающегося реформатора рядом с желанием, чтобы было больше хлеба и меньше бедности, вы не найдете существующие едва ли не на равных, под разными хитрыми личинами, зависть, корысть и мечту пробиться в аристократы, тогда я с радостью готов держать ответ перед Богом за свой цинизм. К сожалению, простого решения я тут не вижу.

В меньших количествах и тоже по-французски, для практики или удовольствия, – избранные сочинения Ги де Мопассана, Анатоля Франса, Мартена Леппера, Эжена Сю. Пожалуйста, попросите мисс Овермен, чтобы она попросила мистера Фрейзера не вкладывать, ни намеренно, ни по ошибке, биографий Ги де Мопассана, особенно написанных Элизой Сюшар, Робертом Курцем и Леонардом Беландом Уокером; эти книги я уже прочел с горечью и болью сердца и не хочу, чтобы их с горечью и болью сердца читал в таком нежном возрасте Бадди. Как полностью чувственные натуры, боюсь, мы нуждаемся во всяком разумном, тщательном предостережении по поводу чувственности, но погибнуть от фаллоса, как от меча, ни ваш сын Бадди, ни я не имеем ни малейшего намерения, мы собираемся разобраться с этим вопросом, даю вам слово; однако я решительно не согласен рассматривать Ги де Мопассана в качестве примера злоупотребления чувственностью, как это ни соблазнительно. Не наделай он бед со своим мужским органом, он бы еще что-нибудь скверное натворил. Не доверяю я вам, месье де Мопассан! Ни вам, ни любому другому видному писателю, процветающему за счет постоянной низкой иронии! И это непростительное осуждение распространяется также и на вас, Анатоля Франса, великий мастер иронии! Мой брат и я, как и тьма других обыкновенных читателей, обращаемся к вам с величайшим доверием, а вы отвечаете нам щелчком в нос! Если это все, на что вы способны, будьте хотя бы любезны застрелиться или сожгите, сделайте милость, свое великолепное перо!

Прошу мне простить эту ненужную вспышку, она совершенно ничем не оправдана и достойна сожаления; я вообще чересчур резко осуждаю мировую иронию и щелчки в нос; я над этим своим недостатком, конечно, работаю, поверьте, но только не очень успешно. Оставим лучше эту огорчительную тему и перейдем снова к списку. Последний француз – Марсель Пруст, попросите мисс Овермен прислать его целиком. Бадди еще не имел случая схватиться с этим беспощадным гением нашего времени, но быстро набирает форму для такой встречи, несмотря на свой нежный возраст; я уже начал в недрах Центральной библиотеки понемножку готовить его с помощью прекрасных фраз вроде следующей из упоительного романа «*A L'ombre des Jeunes Filles en Fleurs*»⁴³, которую этот поразительный читатель предпочел запомнить дословно наизусть: «*On ne trouve jamais aussi hauts qu'on avait esperes, une cathedrale, une vague dans la tempete, le bond d'un danseur*»⁴⁴. Он в два счета все совершенно точно моментально перевел, до единого слова, кроме «*vague*», что просто означает океанскую волну, и был вполне пленен ее красотой! А раз он уже достиг возраста, когда может плениться красотой этого несравненного упадочного гения, значит, ему теперь нипочем всякие извращения и гомосексуализмы; они здесь, кстати, довольно широко распространены, особенно в средней группе. Я совершенно не вижу надобности подходить к этим вещам со слепым, лицемерным чистоплутьством. Но смотрите только, чтобы у мистера Фрейзера ни в коем случае не создалось впечатления, будто я прошу книгу Пруста для Бадди. Осторожно: опасные мели! С мистера Фрейзера вполне станется, учитывая юный возраст Бадди, воспользоваться этим, чтобы развлечь или заинтересовать гостей в светской застольной беседе, он ведь очень любит быть центром всеобщего внимания! А если это

⁴³ «Под сенью девушек в цвету» (франц.).

⁴⁴ «Никогда не увидишь такого собора, такой волны в океане, такого антраша на балетной сцене, высота которых отвечала бы твоим предвкушениям» (франц.).

случится, поверьте мне, пострадавшей стороной в результате окажемся мы, так как будут сведены на нет все наши тайные старания держаться в опасных, бессердечных общественных местах как обыкновенные скромные мальчики. Мистер Фрейзер – человек очень добрый, и всегда готов помочь, и широко образован, но при этом совершенно не умеет держать язык за зубами, можете мне поверить. И тут дело даже не столько в тщеславии, сколько в раннем отказе от индивидуальности. Этот мыслящий, широко образованный человек способен безо всякого стеснения использовать в своих интересах, для занимательного разговора, независимую детскую личность! К глубокому прискорбию, хорошие люди подчас не прилагают особых стараний, чтобы осуществить свое предназначение и понять, за что они несут в жизни ответственность, а довольствуются тем, что паразитируют на других и высасывают из них соки. Мистер Фрейзер часто бывает ужасно приятным в обращении и неизменно внушает мне симпатию, но я решительно не согласен, чтобы он использовал моего младшего брата – или какого-нибудь еще скрытого юного гения, – чтобы на нем паразитировать! Ничего, кроме огромного вреда, из этой показухи выйти не может! Любой ценой изо всех сил старайтесь, чтобы ваш мальчик как можно дольше пользовался божественным правом человека оставаться никем!

Продолжаю список в произвольном порядке.

Все-все, полностью, сочинения сэра Артура Конан Дойла, кроме книг, не связанных напрямую с Шерлоком Холмсом, как, например, «Белый отряд». Ох и повеселитесь же вы и мысленно обхохочетесь, когда узнаете, что со мной приключилось недавно в этой связи! У нас был час водных процедур, и вот я преспокойно плаваю в озере, у меня в голове – ни одной мысли, только вспоминаю с сочувствием о том, что мисс Констэбл в Центральной библиотеке безумно любит все написанное великим Гёте. И вдруг, в эту мирную минуту, меня как громом поразила одна мысль, прямо брови на лоб полезли. Я, определенно, понял, что люблю сэра Артура Конан Дойла и не люблю великого Гёте! Плаваю себе, ныряю, а сам ясно сознаю, что даже вроде бы вообще не испытываю к великому Гёте никаких теплых чувств, между тем как моя любовь к сэру Артуру Конан Дойлу через его сочинения – неоспоримый факт! Никогда еще ни в какой воде мне не доводилось совершать более важного открытия. Я чуть было даже вообще не утонул от радости, что передо мной мелькнул краешек правды. Вы только представьте себе на мгновение, что это значит! Это значит, что каждый человек – мужчина, женщина или ребенок, – допустим, после двадцати одного года, ну самое большее после тридцати, решаясь на ответственный шаг в своей жизни, должен сначала посоветоваться с определенными людьми, живыми или умершими, которых он любит. В список таких людей, запомните ради Бога, ни в коем случае не следует включать тех, кем просто восхищаешься до безумия. Если это лицо или творения этого лица не внушили вам любви, неизъяснимой радости и негасимого сердечного тепла, его следует безжалостно вычеркнуть из списка! Существуют, надо думать, еще и разные другие списки, где ему найдется вполне почетное место, но этот список – исключительно по любви. Господи, какой он сможет служить надежной и грозной личной защитой от обмана и лжи себе и близким или просто знакомым в легкой беседе или горячем споре с самим собой! Я уже составил на досуге несколько вариантов такого списка личных советчиков, включая самых разных людей. В качестве характерного примера, который, я уверен, вам очень понравится, кто, по-вашему, в моем списке единственный певец изо всех, кого можно услышать на граммофонной пластинке или лично? Энрико Карузо? Боюсь, что нет. За исключением членов моего родного семейства, чьи голоса неизменно чаруют меня, единственный певец, голос которого я положу руку на сердце могу назвать моим любимым без боязни солгать или вполне сознательно обмануть самого себя, – это мой несравненный друг мистер Баблз из танцевального дуэта «Бак и Баблз», когда он негромко напевает себе под нос в гримуборной рядом с вашей. Этим я вовсе не хочу обидеть Энрико Карузо или Эла Джолсона, но факт остается безжалостным фактом! Я ничего не могу тут поделать! Стоит обзавестись таким авторитетным списком, и он тебя свяжет по рукам и ногам. Лично я, честное слово, когда вернусь в Нью-Йорк, кроме как в гостиную или ванную не выйду из своей комнаты, не прихватив его с собой в нескольких экземплярах. К чему это может привести, по совести сказать, не знаю, но если не умножится ложь в мире – и то уже неплохо. В худшем случае выяснится, что я тупица и дурак, лишенный, если разобраться, хорошего тонкого

вкуса, но, может быть, все-таки это, слава Богу, не так.

Двигаясь быстренько дальше – пожалуйста, пришлите мне какую-нибудь честную книгу про мировую войну во всем ее бесстыдстве и корысти, только чтобы автор по возможности не был похваляющийся или ностальгирующий ветеран или предприимчивый газетчик без особых способностей и без совести. И хорошо бы в ней не было никаких превосходных фотографий. Чем взрослее становишься, тем больше с души воротит от превосходных фотографий.

Пожалуйста, пришлите мне следующие исключительно гадкие книги, может быть, обе в одном пакете для удобства упаковки, а также для того, чтобы не замарать ими произведения гениальных, талантливых и просто увлекательно-ученых авторов. Это – «Александр» Алфреда Эрдонны и «Начала и рассуждения» Тео Эктона Баума. Постарайтесь, если это не будет стоить слишком больших усилий ни вам самим, ни моим добрым друзьям-библиотекарям, выслать их как можно скорее. Это бесценно глупые сочинения, с которыми я хочу, чтобы Бадди хорошенько познакомился перед тем, как на будущий год идти в школу – первый раз в этой жизни. Не спешите презирать глупые книжки! Один из самых быстрых и надежных способов, правда довольно кружной и малоприятный, научить такого толкового маленького мальчика, как Бадди, чтобы он не закрывал глаза на глупость и гадость в мире, – это дать ему почитать стопроцентно глупую и гадкую книгу. Можно будет поднести ему ее на серебряной тарелочке, как бы говоря без слов, без сердечной печали и бешеного гнева: «Вот тебе, юноша, две ловко сочиненные, исключительно бесстрастные и скрытно порочные книги. Обе написаны выдающимися лжеучеными, людьми высокомерными, корыстными и втайне тщеславными. Лично я дочитывал их книги со слезами стыда и досады на глазах. Коротко говоря, даю тебе в руки ценные образчики того, что представляет собой зловонная чума интеллектуализма и лощеной образованности в отсутствие таланта и сострадательной человечности». Больше бы я упомянутому юноше не добавил ни полслова. Вы, возможно, найдете, что я опять сужу слишком резко. Было бы глупо и смешно отрицать это. Хотя, с другой стороны, вы, возможно, не вполне сознаете, как опасны такие писатели. Давайте немного проветрим в доме, подвергнув их по очереди простому и краткому рассмотрению. Начнем с Алфреда Эрдонны. Профессор одного из главнейших университетов Англии, он написал эту биографию Александра Македонского в легкой, непринужденной манере, занимательно, несмотря на большой объем, то и дело поминая на ее страницах свою жену, тоже видного профессора в одном из главнейших университетов, и своего милого песика по кличке Александр, и своего учителя, старого профессора Хидера, также немало лет кормившегося за счет Александра Македонского. И старый и молодой специалисты неплохо пожил за счет Александра Македонского, крупно зарабатывая в свободные от преподавания часы пусть не деньги, но, уж во всяком случае, славу и престиж. И тем не менее Алфред Эрдонна пишет об Александре Македонском так, словно это еще один милый песик, лично ему принадлежащий, видите ли! Сам я вообще-то не в восторге от Александра Македонского, как и от любого другого неизлечимого милитариста, но как смеет Алфред Эрдонна заканчивать свою книгу в таком нагло-снисходительном тоне, будто бы он, Алфред Эрдонна, если разобраться, выше Александра Македонского просто потому, что и он, и его жена, и, может быть, даже песик имеют возможность паразитировать на нем и относиться к нему свысока! Он и благодарности-то к Александру Македонскому ни малейшей не испытывает за то, что тот когда-то жил и дал ему, Эрдонне, приятную возможность жить-поживать в свое удовольствие за его, Александров, счет. И не за то я ругаю этого лжеученого автора, что он вообще не любит героев и героизм и даже посвятил отдельную главу Александру и Наполеону как героям, показывая, сколько вреда и идиотского кровопролития причинили людям герои. Подобный взгляд в зародыше мне, признаться откровенно, очень близок, но необходимо соблюдать два условия, чтобы выступить с такими смелыми, неоригинальными мыслями. Думаю, стоит немного остановиться на этом вопросе; а вас прошу, пока я рассуждаю, хранить терпение и вашу слепую любовь! Еще потребуется и нечто третье.

1. Гораздо убедительнее осуждать героев и героизм, если сам способен на героические по-

ступки. Если ты сам к героизму не способен, все равно можешь с честью высказаться на эту тему, надо только рассуждать крайне аккуратно и вразумительно и постараться употребить в дело все свои таланты и способности и, может быть, с удвоенным рвением молиться Богу, чтобы не сбиться на какую-нибудь пошлость.

2. Вообще желательно из общих соображений иметь перед глазами модель человеческого мозга; если нет настоящего муляжа, вполне подойдет половинка очищенного грецкого ореха. Но в таком деле, как героизм и герои, важно своими глазами видеть, что человеческий мозг – всего лишь несложное трогательное приспособление, совершенно не дающее возможности понять человеческую историю и подсказать, когда какую роль, героическую или наоборот, подошло время играть со всем пылом своего сердца.

3. Он, я имею в виду Алфреда Эрдонну, не отрицает, что учителем великого Александра Македонского в отрочестве был Аристотель. И ни разу нигде не винит и не упрекает Аристотеля за то, что тот не научил Александра не быть великим! Вообще ни в одной книжке, которые я читал на эту интересную тему, нигде ни слова о том, чтобы Аристотель просил Александра накидывать на плечи мантию величия лишь иногда, а от величия в любой иной форме с омерзением отворачиваться, точно от экскрементов, если вы простите мне такое сравнение.

Здесь я с удовольствием оставляю эту малоприятную тему. Я совсем разнервничался и к тому же потратил все время, которое собирался посвятить сомнительному и очень вредному, бездарному, бездушному сочинению Тео Эктона Баума. Но только повторяю: я не гарантирую своего душевного покоя, если Бадди пойдет в школу и вступит на долгий, трудный путь формального образования, не ознакомившись с этими зловредными, самодовольными и совершенно заурядными произведениями.

Продолжаю, так сказать, вприпрыжку. Пожалуйста, пришлите какую-нибудь умную книгу о человеческом вращении или кружении. Если вы вспомните (а заодно и я, как всегда с любовью), по меньшей мере трое из ваших детей, совершенно независимо друг от друга и никем не наученные, имеют привычку раскручиваться на месте с пугающей скоростью, а после такого поразительного занятия тот, кто кружился, часто, хотя и далеко не всегда, получает решение или ответ на какой-нибудь не очень важный вопрос. Я тоже не раз с успехом по разным пустяковым поводам прибегал к этому приему в библиотеке, надо было только найти уголок, скрытый от постороннего невооруженного глаза. Теперь-то я знаю, что по всему миру есть люди, которые так делают, даже отчасти и милые шейкеры. Также имеются основательные сведения, что святой Франциск Ассизский, совершенно потрясающий человек, однажды попросил другого монаха немного покружиться, когда они очутились на важном перекрестке и не знали, куда свернуть. Тут, конечно, сказалось византийское влияние на лирику трубадуров, но, во всяком случае, я не убежден, что таким средством пользуются только в одном месте на земном шаре. Сам я, правда, в ближайшее время собираюсь от него отказаться и переложить ответственность за решения на другую часть моего духа, но сведения на эту тему все равно будут очень полезны, так как другие наши дети могут по каким-то личным соображениям сохранить эту привычку и в зрелом возрасте, хотя я сомневаюсь.

И наконец, в заключение списка (слава Тебе, Господи!) буду благодарен за любую книгу на английском языке двух вполне дельных писателей – братьев Чэн, а можно и каких-нибудь других достаточно одаренных и высоко замахнувшихся трогательных авторов, которым выпало сомнительное счастье писать на религиозные темы после таких величайших, ни с кем не сравнимых гениев, как Лао-цзы и Чжуан-цзы, уж не говоря про Гаутаму Будду! По этому делу к мисс Овермен и мистеру Фрейзеру можно обращаться без особой опаски, я уже их подготовил неоднократными разговорами, но, конечно, деликатность не может быть лишней! Ни мисс Овермен, ни мистера Фрейзера сроду не мучили вопросы о Божестве и извечном хаосе во Вселенной, так

что оба они на мой страстный интерес к подобным вещам бросают каменно-неодобрительные взоры. Хорошо еще, что, несмотря на эту неприязнь, они относятся ко мне тепло и без раздражения, так как достоуважаемый Эдгар Семпл сказал мистеру Фрейзеру, что якобы у меня есть задатки будущего первоклассного американского поэта, что в конечном счете совершенно верно. И они все ужасно боятся, как бы мое страстное преклонение перед Божеством, близким и не имеющим образа, не опрокинуло милую тележку с яблоками – мою поэзию, а это не так-то глупо; существует определенный небольшой, вполне оправданный риск, что я окажусь совершеннейшим неудачником и разочарую всех родных и знакомых – очень серьезная и неприятная вероятность, у меня даже влага опять выступила на глаза, как только я об этом открыто подумаю. Было бы, конечно, замечательно и весело, если бы можно было точно знать в каждый день данного чудесного воплощения, в чем конкретно и очевидно состоит сейчас твой постоянный долг! Но, к глубокому моему сожалению и тайной радости, мои краткие прозрения до смешного мало способны мне в этом помочь. Правда, всегда сохраняется крохотная возможность, что возлюбленный Бог твой, не имеющий образа, вдруг нежданно-негаданно подарит тебе бесценное повеление: «Сеймур Гласс, сделай то-то!» – или: «Сеймур Гласс, мой юный, неразумный сын, поступи так-то!»; но такая возможность меня лично совсем не вдохновляет. То есть это, разумеется, неправильно сказано. Она меня очень даже вдохновляет, когда я с упоением свободно обдумываю ее; но в то же время я ужасно, бесконечно страшусь ее всеми глубинами моей сомневающейся души! Грубо говоря, получать чудесные личные повеления непосредственно от Бога, не имеющего образа или же украшенного внушительной чудесной бородой, – все равно это же почти то же самое, что пользоваться положением любимчика! Пусть только Бог возвысит одного человека над другими и одарит его щедрыми преимуществами – значит, пробил час оставить навеки Его службу и – приветик! Это звучит очень резко, но я эмоциональный и откровенно земной мальчик, переживший немало столкновений с теми, кто заводит любимчиков, и я этого просто не выношу. Пусть Бог дарит чудесные личные повеления нам всем – или никому! Если ты, Господи, набрался терпения и читаешь это письмо, имей в виду, что я совершенно не шучу! И нечего подслащивать мой жребий! Не делай мне никаких поблажек, не давай чудесных личных повелений, не подсказывай кратчайших путей. Не жди, что я буду вступать в какие-то там элитарные сообщества, если вход в них не открыт настежь для всех и каждого! Ты же помнишь, правда, что я оказался способен полюбить Твоего поразительного, благородного Сына Иисуса Христа только на том приемлемом основании, что Ты не сделал из Него любимчика и не одарил Его полной свободой выбора на всю Его земную жизнь. Появись у меня хотя бы самое слабое подозрение, что Ты дал Ему свободу выбора, и я тут же с великим прискорбием вычеркну Его имя из короткого списка людей, которых безоговорочно уважаю, даже при всех Его многочисленных и разнообразных чудесах, которые, наверно, в тех условиях были необходимы, но все-таки, на мой просвещенный взгляд, остаются очень сомнительным средством, а также серьезным камнем преткновения для порядочных, милых атеистов вроде Леона Сандхейма или Микки Уотерса: первый – это лифтер в гостинице «Аламак», а второй – симпатичный бродяга без определенных занятий. Глупые слезы, понятное дело, уже бегут по моим щекам – ведь ничего нельзя поделать! Очень любезно и славно с Твоей стороны, Господи, что мне позволено придерживаться своих ненадежных методов, как, например, твердо ограничиваться одним только человеческим умом и сердцем. Бог мой, Тебя не разберешь, слава Богу! Я люблю Тебя еще больше! Мои сомнительные услуги всегда в Твоем распоряжении!

Сейчас я капельку отдохну, милые Лес и Бесси и остальные любящие жертвы моего натиска. В коттедже пусто. Через дальнее окно над кроватью счастливого Тома Лантэрна льется трогательное солнечное сияние, если, конечно, оно не у меня в мозгу, это трогательное сияние. Пусть окончательного ответа нет, все равно иногда просто глупо отворачиваться от света, из какого бы окна он ни лился.

Последние краткие штрихи в заключение прерванного книжного списка для мисс Овермен и мистера Фрейзера:

Пришлите, пожалуйста, что-нибудь про колоритных, алчных Медичи, а также и про милых наших трансценденталистов. Еще пришлите два экземпляра сочинений Монтеня, по возможности без нескромных карандашных помет на полях, – во французском издании и в Коттоновом английском переводе. Вот симпатичный, неглубокий, обаятельный француз! Шляпы долой перед каждым одаренным и обаятельным человеком, Господи, ведь их так мало!

Пожалуйста, пришлите, что найдется интересного про человеческую цивилизацию догреческих времен, воспользуйтесь моим списком древних цивилизаций, я его оставил в кармане бывшего моего плаща, который разорвался на плече и смешной Уолт еще отказался выходить в нем на улицу.

Да, вот что несказанно важно. Пожалуйста, пришлите любые книги о строении человеческого сердца, которые я еще не читал; довольно полный их список последний раз лежал в верхнем ящике моего комода не то под носовыми платками, не то рядом с револьверами Бадди. Очень полезны будут оригинальные точные рисунки сердца, хотя и на грубые подобию этого несравненного органа, самого тонко устроенного в человеческом теле, тоже всегда интересно смотреть; но вообще, если разобраться, рисунки не особенно важны, ведь они только отражают одни физические свойства, а самых важных не нанесенных на карту участков вообще не затрагивают! К великому сожалению, увы, самые важные участки можно неожиданно увидеть лишь в те редкие, мимолетные, потрясающие мгновенья, когда оживают все твои силы и тебе вдруг столько всего открывается... Но если нет таланта к рисованию, как, например, у меня, то совершенно непонятно, как поделиться увиденным с близкими и интересующимися. Довольно малоприятное положение, это еще мягко говоря! Надо бы, чтобы о том, как выглядит со всех сторон этот замечательный, ни с чем не сравнимый орган человеческого тела, стало известно всем, а не только сомнительным юнцам вроде нижеподписавшегося.

Кстати о теле, видимом или не видимом невооруженным глазом, – пришлите, пожалуйста, что-нибудь о том, как образуются роговые ткани. Найти такую книгу будет трудно, а то и вовсе невозможно, так что пусть ни мисс Овермен, ни мистер Фрейзер особых усилий не прилагают. Но если все-таки книга на эту животрепещущую тему обнаружится, не сомневайтесь, здесь ее проглотят с неослабным интересом, особенно про то, как образуется костная мозоль, соединяющая две части сломанной человеческой кости, пока она срастается; как мозоль это все понимает – просто удивительно и достойно глубокого восхищения! Знает, когда начать, когда остановиться, безо всякой сознательной подсказки от мозга пострадавшего. Вот вам еще одно потрясающее приспособление, которое приписывается почему-то «Матери Природе». При всем моем глубоким почтении я уже много лет слышать не могу, как ее незаслуженно превозносят.

В феврале этого незабываемого года я имел огромное удовольствие поболтать в течение чудесных пятнадцати минут с одной очень милой женщиной из Чехословакии. Такая дама в дорогом строгом туалете, но с трогательной грязью под ногтями. Дело было в главном корпусе библиотеки примерно через месяц после того, как почтенный Луис Бенфорд в ответ на мою письменную просьбу быстро и любезно сделал мое скромное присутствие там возможным. Дама сказала, что она мать молодого дипломата, это очень похоже на правду. В разговоре она упомянула своего любимого поэта Отокара Брезину, чеха, и настоятельно посоветовала мне его почитать. Может быть, у мистера Фрейзера найдется какая-нибудь его книга – увы, в английском переводе. Очень возможно, что это хороший поэт, его хвалила прекрасная женщина, правда, при ближайшем рассмотрении очень нервная и издерганная, но у нее в душе светится чудесная одинокая искорка! Мистер Брезина имеет в ее лице горячую обаятельную поклонницу! Благослови Бог прекрасных дам в дорогах, строгих туалетах и с трогательно грязными ногтями, поклоняющихся талантливым чужестранным поэтам и украшающих библиотеки своим изящным, печальным присутствием! Бог мой, наша вселенная совсем не такая пустяковая вещь, как кажется!

В заключение, уже решительно под самый конец, я был бы чрезвычайно признателен, если вы обратитесь с просьбой к мисс Овермен, чтобы она попросила миссис Хантер, можно по телефону, если это удобно, разыскать для меня «Журнал Дублинского университета» за январь 1842 года, «Джентльменский журнал» за январь 1866 года и «Северо-британское обозрение» за сентябрь 1866 года, так как в указанных номерах всех трех довольно старых журналов имеются статьи о моем, честно говоря, самом дорогом в прошлой жизни друге, правда только по переписке, сэре Уильяме Роуане Гамильтоне! Мне теперь не часто это дается, и, надо признать, слава Богу, но все-таки я иногда, через долгие промежутки времени, еще вижу перед собой его дружелюбное, одинокое, приветливое лицо! Но только, заклинаю, ничего не говорите об этом мисс Овермен! Ее автоматически враждебная реакция на такие вещи вполне естественна; в тех редких случаях, когда я сдуру, не подумав, что-нибудь брякну о перевоплощении, она так и шарахается в досаде и тревоге. Есть еще и другая причина, почему с ней лучше не вдаваться в подробности, а именно: прошлая жизнь – к несчастью – отличная тема для бессовестной светской болтовни. Хотя мисс Овермен, как правило, не использует нас с Бадди на потеху знакомым и сослуживцам (она – женщина достойная, привыкшая щадить чужие чувства и считаться с людьми), но при этом, стоит ей узнать что-нибудь интересное или чуточку необычное, она обязательно проболтается мистеру Фрейзеру или любому другому хорошо одетому образованному господину с прекрасной седой шевелюрой; она к таким мужчинам слегка равнодушна и сразу немного влюбляется, если они с ней любезны и внимательны и говорят шуточные комплименты – не важно, искренние или нет. Конечно, это довольно безобидная маленькая слабость, но, если ей потакать, может стоить дорого. Так что просто попросите мисс Овермен, чтобы она позвонила миссис Хантер и узнала у нее, можно ли без особых сложностей разыскать названные журналы, а зачем – не говорите и, может быть, заодно еще попросите, как бы между прочим, прислать нам какое-нибудь легкое чтение, из того, что за последнее время ей самой особенно понравилось. От этого пахнет бессовестным заискиванием, но ее вкус в легком чтении действительно превосходен, поэтому я скрепя сердце все-таки предлагаю вам такую уловку. Нет нужды говорить, что я всецело доверяюсь в этом и во всем остальном твоей деликатности и такту, Бесси, голубка. Кроме того, мы были бы признательны, если бы вы вложили в большой конверт веселые картинки «Мистер и миссис» и «Мун Маллинс» и, пожалуй, пару номеров «Варайети», которые уже прочли. Господи Иисусе, каким жерновом на шее и обузой я для вас становлюсь и сколько со мной забот! Дня не проходит, чтобы я не сокрушался из-за своего отвратительного требовательного характера. Да, кстати, пожалуй, вам стоит предостеречь мисс Овермен, что мистер Фрейзер вполне может разозлиться и схватиться за голову из-за такого количества книг, которые мы просим, хотя он ни разу не оговорил, сколько самое большее книг он готов нам прислать за время нашего отсутствия. Пожалуйста, попросите мисс Овермен объяснить мистеру Фрейзеру, что мы оба день ото дня читаем со все возрастающей невероятной скоростью и готовы в два счета отослать обратно любую ценную книгу, если ее нужно срочно вернуть, – были бы деньги на марки. Трудностей, боюсь, возникнет уйма. Мистер Фрейзер несомненно очень щедрый, добрый человек и с удивительной терпимостью относится к дурным чертам моего характера, но в его щедрости есть одна маленькая загвоздка: он любит созерцать признательность на лицах тех, кого он персонально облагодетельствовал. Это вполне человеческая черта, не приходится ожидать и бесполезно желать, чтобы она в одночасье исчезла с лица земли, но вы все-таки попомните мои слова. Я лично считаю, что мистер Фрейзер хорошо если пришлет хотя бы две или три книги из всего списка! Господи, вот смеху-то, с ума сойти!

Догадайтесь, кто сейчас вошел в коттедж, улыбаясь от уха до уха? Ваш сын Бадди! Он же У. Дж. Гласс, выдающийся писатель! Поразительно, как он всегда тут как тут, этот парнишка! Вижу, он хорошо сегодня поработал. До чего бы мне хотелось, чтобы вы все сейчас были здесь, прямо живьем, и могли бы видеть его прекрасную, трогательную, слегка загорелую рожицу; во многих отношениях, дорогие Бесси и Лес, вы платите слишком огромную цену за наше здешнее счастливое лето на лоне природы. Au revoir! Бадди вместе со мной шлет вам самые искренние

пожелания дальнейшего крепкого здоровья и приятного существования во время нашего затянувшегося отсутствия.

Остаемся ваши любящие сыновья и братья Сеймур и У. Дж. Глассы, связанные навеки духом и кровью и неисследованными глубинами и камерами сердца.

В спешке, поскольку я тороплюсь поскорее дописать это письмо, а также от радости, что после семи с половиной часов отсутствия в коттедже вдруг снова появился ваш потрясающий сын Бадди, я чуть было не упустил некоторое количество последних просьб, совсем пустячное, будем надеяться. Как уже было сказано, есть довольно большой неблагоприятный шанс, что мистер Фрейзер, когда получит весь мой список, погрузится в бездну отчаяния и раскается в своем дружеском предложении, которое он тогда неожиданно для себя самого мне сделал; однако вполне может быть, что я по отношению к нему грубо несправедлив; на тот радостный случай, если я действительно допустил несправедливость, хотя очень сомневаюсь, пожалуйста, попросите мисс Овермен напомнить ему, что эта наша окончательная последняя просьба на предстоящие шесть месяцев – по самой меньшей мере! После того как кончится это счастливое лето, остаток текущего незабываемого года мы посвятим исключительно работе со словарями, не отвлекаясь в этот ответственный период времени даже на поэзию; откуда следует, что мистер Фрейзер не будет иметь удовольствия – или, вернее, беспокойства – еще целых шесть блаженных месяцев видеть в публичных библиотеках американского Вавилона наши юные надоедливые лица. Кто не обрадуется такой перспективе, за исключением разве что – кого? В связи с вышепомянутыми шестью месяцами очень прошу вас, как наших любимых родителей, братьев и сестру, прочесть за нас несколько сжатых убедительных молитв. Я лично очень надеюсь, что за то решающее время, которое нам предстоит пережить, с меня сойдет несколько слоев неестественного, напыщенного фразерства и неживые, лишние слова отлетят от моего молодого тела, как мухи! Ради этого стоит постараться, весь мой будущий синтаксис поставлен на карту!

Пожалуйста, не сердись на меня, Бесси, но вот тебе мое окончательно последнее слово о том, надо ли так рано бросать сцену. Еще раз прошу ничего не делать раньше срока. Наберись терпения и спокойно подожди хотя бы до октября, а тогда оглядись хорошенько, какие есть возможности: октябрь – месяц благоприятный. Кроме того, пока я не забыл, Бадди просит, чтобы вы обязательно выслали ему несколько таких больших блокнотов – знаете, безо всяких линеек. Он будет писать в них свои неотразимые рассказы. Только смотрите ни в коем случае не присылайте в линеечку, как эта бумага, на которой я сегодня целый день с удовольствием пишу вам послание, – он такие презирает. Кроме того, хотя я не рискнул говорить с ним откровенно на эту тему, но, по-моему, он будет очень рад, если вы пришлете ему среднего зайку, так как большой у него потерялся, когда проводник утром собирал постельное белье; но, пожалуйста, ни слова об этом в ваших письмах, просто запакуйте среднего зайку, например, в коробку из-под обуви или в какой-нибудь пакет и отправьте по почте. Я знаю, что могу в этом отношении, как и во всем, вполне положиться на тебя, Бесси, – ей-богу, ты замечательная женщина, и я тебя люблю! Кроме блокнотов в линеечку еще не присылайте ему для рассказов блокнотов на очень тонкой, чуть не папиросной бумаге, как луковая шелуха, он такие блокноты выбрасывает в мусорный контейнер у крыльца нашего коттеджа. Это, конечно, расточительство, но, пожалуйста, не поручайте мне вмешиваться, дело слишком деликатное. Должен признаться, что и мне не всякое расточительство чуждо, есть виды расточительства, которые даже, наоборот, возбуждают в моей душе восторг. И потом, имейте в виду, что львиная преданность орудиям своего литературного труда, поверьте, послужит в конце концов его достойному и счастливому вызволению из этой пленительной долины слез, смеха, искупительной человеческой любви, тепла и учтивости.

Еще пятьдесят тысяч раз вас целуют две язвы и чумы Седьмого коттеджа, которые вас любят.

Сердечно ваш

С. Г.

Перевела с английского И. Бернштейн.